

Михаил Садовский

ШКАФ, ПОЛНЫЙ ВРЕМЕНИ

Михаил Садовский

ШКАФ, *полный* *времени*

КНИГА РАЗМЫШЛИЗМОВ

Евразия Экс-пресс
Москва 2009

Садовский М.

Шкаф, полный времени. Книга размышлизмов. – М.: Евразия Экспресс, 2009. – 392 с.

Книга «размышлизмов» М. Садовского «Шкаф, полный времени» основана на беседах писателя с соавторами, друзьями — выдающимися людьми страны второй половины XX — начала XXI века: В. Мурадели, Л. Кассилем, К. Молчановым, В. Берестовым, Л. Афанасьевым, С. Кацем, Н. Тимофеевой, Н. Дуровой, В. Коккинаки, Т. Бегельдиновым и многими другими.

СОДЕРЖАНИЕ

Шкаф, полный времени	6
«Магистраль»	12
Вано	26
«Давай закурим»	48
История одного автографа	62
Летчики	72
Возвращение	88
За что меня убили?	100
Сева	108
Быть знаменитым... некрасиво?	118
Вечный вопрос... без ответа	130
Валистов Белистов	140
«Герои не ищут наград»	154
Зига	164
Признания чеширского кота	174
Тая, Таюшка, Таюша...	182
Зяма	200
Привилегия памяти	214
Слава	228
«Дорогой Зозулечка!»	242
Длинная история коротких стихов	256
Цена ошибки	268
Вася и Федя	273
«Все сначала и по руке»	288
Тезка	294
«Разведчик может век молчать»	304
Ушац, Ушац, Ушац	314
Никто не забыт, ничто не забыто?	326
Точка на портрете	334
Об авторе	353

ШКАФ, ПОЛНЫЙ ВРЕМЕНИ

С возрастом стало ясно, что календарь не только не определяет времени, но и не даёт представления о нём...

Открытие это настолько ошеломляет каждого уже много веков, что можно только диву даваться, почему нам с детства не внушают этого, как остальные школьные истины.

Разве только потому, что умозрительно этот парадокс освоить невозможно. С течением жизни каждый сам находит примеры «бессмертия» и своего соприкосновения с ним... но, мне кажется, что стоит представить читателю несколько примеров «машины времени»... Не зря же, в самом деле, так много и упорно мечтают о ней, а она, оказывается, давно существует! Более того, мы с ней знакомы и пользуемся ею довольно часто...

Арнольд Ильич Гессен подзабыт основательно во времена всеобщей поножовщины, безумств накопительства, ограбления и новояза. А в семидесятые годы его книга «Всё волновало нежный ум» и его имя были широко известны, хотя относились к ним, как и ко всякому явлению, по-разному. Именно явлению...

Плеяда российских пушкиноведов великолепна, и нет нужды доказывать это. Среди этих учёных немало удивительных популяризаторов — известных, любимых, почитаемых, читаемых... и вдруг возникает Арнольд Гессен со своей книгой, посвящённой творчеству юного поэта...

Арнольд Ильич никогда не претендовал на роль пушкиноведа и даже не намекал на это, а, насколько я мог понять из моего общения с ним, писал свои книги... для себя! Как дневник, то есть настолько искренне, насколько это позволяли его мироощущение и душа, потому что всякий пишущий дневник в глубоком подсознании

рассчитывает на прочтение его страниц когда-нибудь... потом... пусть даже не формулируя этого, не признавая себе в горьких раздумьях о неизбежном конце, но это истинно так... Ибо если не для кого писать, то не напишется! Мне представляется, что на закате своей жизни Гессен почувствовал необходимость сформулировать: что для него Пушкин (наверное, чтобы понять, что он есть сам), и он поделился своими мыслями о поэте с друзьями, то есть с нами...

Но главное, его почтенный возраст наложил такой отпечаток достоверности на все его работы, что они изначально, необъяснимо, интонационно как бы подразумевали: это было именно так! Я знаю, я... (почти) видел это! Можно придаться к этому «почти», а можно поверить в него, ибо... представьте себе: когда ему было семь, он целовал руку Анны Петровны Керн! Да, да, той самой Анны Керн, которой Пушкин написал «Я помню чудное мгновенье, / Передо мной явилась ты...» — один из величайших шедевров мировой лирики... И когда мальчик Гессен прибавил к своим восьми годам ещё восемьдесят (!), то написал первую книгу о Пушкине «Всё волновало нежный ум»... Он как будто сам удивлён тем, что сделал, и в автографе, на титуле подаренного мне экземпляра, пишет именно с восклицанием: «Эта книга написана в возрасте 88 лет!». Книга о Пушкине, о том, что волновало его нежный ум, о его юношеских увлечениях... Она написана человеком, который (пусть в самом детском возрасте) целовал руку любимой женщины великого Поэта — женщины необыкновенной, поклонение которой вдохновило гения на стихи, обессмертившие её имя.

Её любил сам Пушкин... и Гессен дотянулся до него через протянутую руку Анны Керн...

Я не могу не поддаться магии этого прикосновения с того самого дня, как получил в своей молодости эту книгу... И все эти обстоятельства помогли или даже просто сделали так, что у меня, как и у каждого, впрочем, в душе возник свой Пушкин. Арнольд Ильич не рассказывал мне о Пушкине — больше о том, как случилось, что он целовал руку Анны Петровны, о том, как затихла московская улица, устланная соломой, перед её домом во время последней болезни, чтобы не тревожить умирающую... Известные факты, но я почерпнул их не из книг, а услышал из уст человека, видевшего и пережившего это! Достоверность рас-

сказанного распространяется и на другие книги писателя, но для меня с той же мерой правды очевидца! Я сотни раз пожимал руку Арнольда Ильича Гессена, а он-то (!) целовал руку Анны Керн, которую не однажды целовал Пушкин!!! И время спрессованно, и я вижу Александра Сергеевича, и слышу его (выдуманный мной) смех, и... перемещаюсь в пространстве! И принимаю из руки Гессена написанную им книгу, а этой рукой... и снова замыкается волшебный круг, в который я пленён, и не намерен из него выбираться!

А действительно, написана книга в то время, когда со дня рождения поэта прошло 170 лет!!! Разве? Всего сто семьдесят...

Гессену за девяносто. Он никогда в своей жизни прежде не писал книг. Он много повидал. Он делится с нами (Бог с ними со всеми — со мной!) тем, что пронёс в душе через десятилетия, что дорого ему... и это остаётся во мне и дарит мне удивительную возможность... Керн, Пушкин... Я по-другому воспринимаю их с тех самых пор, я по-другому воспринимаю жизнь!..

Арнольд Ильич плотный, невысокий, удивительно спокойный, с благородной эспаньолкой и глазами, раскрытыми тебе издалека. Пожатие его руки энергично и скупое... ведь эта ладонь, как филлера, держит и пропускает сквозь себя ниточку истории...

Во время моих жизненных передраг, переездов, перемещений кто-то «оставил себе на память» другие книги Гессена, подаренные мне, может быть, на память обо мне оставил? А эта, первая, «Всё волновало нежный ум», со мной, где бы я ни был... И уж буквально всегда со мной в кожаном специальном чехле «Евгений Онегин». Вероятно, с тех пор... Мой советчик, доктор, камертон, духовник... во всех жизненных ситуациях...

Мне кажется, что время, когда я пытался издать в «Детгизе» свою книжку, значительно дальше, чем пушкинское время, а было это в те же годы тесного знакомства с Арнольдом Гессеном. И надо было издать книжку, ибо «Детгиз» — Академия детской литературы, как назвал его какой-то чиновник от литературы или расторопный партийный бонза. Проще сказать: издал там книгу — другая тебе мерка. Но как это сделать, если ты новичок, не член Союза (писателей, конечно), не чей-то близкий родственник из «влиятельных»? О, святая наивность, великолепная и бесконечная! Я просто несу свою рукопись в редакцию — и всё! Несу — и всё!

Меня напутствует мой первый рецензент (самый первый в жизни), читавший мои, случайно попавшие в издательство «Детский мир» (впоследствии «Малыш»), стихи, — Ирина Сергеевна Орловская... Минуем долгий и спотыкающий путь рукописи в издательстве из одной редакции в другую... но, наконец, о чудо! После почти двух лет ожидания полрукописи в работе: проиллюстрирована моя сказка, и уже вот-вот грядёт сигнал (сигнальный экземпляр), и он приходит, и вдруг — звонок из редакции с просьбой приехать...

«Вас хотел видеть Самуил Миронович Алянский!» — говорит мне заведующая редакцией и редактор моей книги Леокадия Яковлевна Либет...

Алянский? Меня? Да я даже не мечтал взлететь на такую высоту! Он главный редактор — а я и не бывал в том конце коридора, где его кабинет и кабинет легендарного директора «Детгиза» Константина Пискунова... Я только здоровался с ними, когда встречался в коридоре, хотя они меня, конечно, не знали, здоровался, как здороваются в деревне: все со всеми... Я же ещё даже не автор издательства... только на подходе первая книжка...

Растерянность и какие-то смутные предчувствия в длинной дороге по коридору... пропала книжка... снимут её в последний миг... а послали меня наверх, чтобы убедительнее был отказ, и автор «не возникал»... сверху проще отбивать... И нет момента опомниться — всего пятисекундное ожидание в «предбаннике», открывающаяся дверь, и круглолицый, ослепляющий Самуил Миронович протягивает мне руку и усаживает рядом с собой, близко — колено в колено, и смотрит прямо в глаза, и говорит совсем не о чиновничье-практических делах, а о духовном: о стихах! О сказке! О том, что же я сделал: он объясняет мне, что я написал сказку в стихах!.. И до меня смутно доходит смысл его похвалы и слов по делу: что надо это продолжать — потому что я заморожен временем, и только одно в моей голове: он близко знал Блока... Куда уж ближе: был его другом, человеком, которого умирающий Блок допустил к себе! Даже мать не допустил — только жену Любовь Дмитриевну и его, единственного, Алянского Самуила Мироновича... «...И сразу мир предстанет странным./ Закутанным в цветной туман...»

Нет, Самуил Миронович ничего не говорит мне о Блоке — почему-то о Михаиле Светлове, но опять тот же переворот времени, его

спрессованность, которая не добавляет тяжести и не давит, а наоборот, открывает купол дыхания и пространства... Какие-то полвека! Ерунда! Сейчас я выйду в коридор и встречу Александра Александровича и поздороваюсь с ним, как с любым в этом детгизовском коридоре на третьем этаже, как в деревне «все со всеми», потому что если здесь Самуил Миронович — и Блок тут рядом...

Самое удивительное, я думаю, в этом волшебстве и колдовстве то, что совершенно не важно, сколько времени разделяет нас: ту эпоху, которая перемещается во времени, и меня, считающего реальностью своё сегодня. Возможно, я перемещаюсь туда — здесь нет ни назад, ни вперёд, а лишь сближение навстречу друг другу...

А всё, что говорил Алянский, всплывает назавтра со стенографической точностью и остаётся — откуда, из какого года? Разве это важно? Если возникает строка стихотворения, она остаётся в мире, и всё! Строка, а не дата её волшебного возникновения!..

С Сергеем Митрофановичем Городецким мы идём по Большой Никитской, Моховой, Охотному ряду, через Красную площадь куда-то в Замоскворечье, где он живёт... Идём с ним Варваркой в том времени, когда он пишет новый текст либретто «Ивана Сусанина» Глинки взамен Розеновского, пушкинских времён, и он читает мне стихи оттуда, из тех лет, и строки полны Ярилами, Панами, и ощущения сдвига времени нет... Ему восемьдесят... с хвостиком, наверное, и он переместился не во времени, а в памяти, захватив меня с собой... Этот сиреневый неописуемый вечер, вылепленный из запахов, силуэтов храмов, шума оголённых осенних ветвей и горьковатой влажности надречного воздуха... Мне было там вольготно, в той эпохе, в которую (тут уж несомненно) я погрузился три часа назад во Вспольном переулке, у Патриарших, в квартире Евдоксии Фёдоровны Никитиной, а Городецкий оторвал меня от волшебных фамилий, обретших плоть: Рюрик Ивнев, Александр Квятковский... и замерших автографами на стенах, где все вместе, — от Ахматовой до Самойлова...

Высокий, сухой Городецкий в какой-то странной шапке (ах, да, мы же в другой эпохе!)... вышагивает степенно и смотрит на меня сверху маленькими остренькими глазами, и строки дышат в такт широким шагам, растягиваются, как меха горна или огромной гармонии... с придыханием и присвистом голоса запыхавшегося человека...

Разве у времени есть непреодолимый рубеж? Разве не мы его выдумали, этот рубеж, погрузив своё существование в рамки привычной обыденности?.. Может быть, лишь боль и утраты определяют местонахождение нашего «я», но — это календарь, который никак не определяет времени...

И примеры снова стоят в очередь, но суть не в этом....

Совсем недалеко до печей Освенцима, качающихся теней декабристов (кстати, изображённых Пушкиным) на Кронверке и колесниц Нерона и Калигулы... Они все в одном нашем шкафу, и разве важно, что на какой полке?..

Заботит совсем другое: как мы это храним и как предполагаем распорядиться богатством...

«МАГИСТРАЛЬ»

Оглянемся назад. В середине пятидесятых, после смерти величайшего тирана всех веков и народов, наступила «оттепель» (по меткому названию повести Ильи Эренбурга). В эту пору засверкала сначала в литературной среде Москвы, а потом и в кругах широкой интеллигенции, особенно молодой, «Магистраль» — литературное объединение.

Территориально «Магистраль» располагалась в устье площади трёх вокзалов, в здании клуба ЦДКЖ (Центрального Дома культуры железнодорожников), построенного, как гласит литературная легенда, на деньги подпольного миллионера господина Корейко. Возглавил это литобъединение, принадлежащее железнодорожникам, выдающийся литературный педагог, поэт Григорий Михайлович Левин.

Разумеется, начальники от литературного процесса в МПС (Министерство путей сообщения — ох, и любили же у нас аббревиатуры) предполагали, что участниками этого литобъединения станут машинисты, инженеры, проводники и стрелочники — они не могли представить, что состав литераторов, мягко говоря, сильно расширит свои рамки, и процессом этим они управляли с большим трудом, с помощью парткома и месткома.

Очень скоро начальство поняло свою оплошность, но было поздно — закрыть литобъединение в такое «оттепельное» время неких послаблений и игры в демократию оказалось невозможно. Как же попадали в «Магистраль» студенты, начинающие писатели, литературно одарённые люди разных специальностей, совершенно не связанные ни с железной дорогой, ни с МПС? Очень разными путями.

Например, автор этих строк (не считите за нескромность — о себе всегда достовернее) в самом начале 60-х, когда делал

самые первые, даже не шаги в литературе, а лишь поползновения опубликоваться, не придумал ничего лучше, как пойти со своими стихами в «Литературную газету». Абсолютная наивность и полное непонимание, «что» и «как» происходит в мире литературы, не оправдывают, но так было... В редакции газеты на Цветном бульваре на 4-м этаже «абитуриенту» сказали, что если это первый раз, и вообще нигде не печатался, надо сначала показать свои гениальные опусы литконсультанту на 6-м этаже...

Я уже уходил, когда в спину мне прозвучал вопрос, направлявшей меня женщины: «Вы Окуджаву знаете?» Я пожал плечами, отрицательно мотнул головой, вспомнил Остапа Бендера на кинофабрике и поехал на 6-й. Там в обозначенной комнате сидели и сладко потягивали сигареты два молодых симпатичных человека. Они представились мне: Булат Окуджава и Владимир Максимов. Это мне ничего не говорило. А уж моя-то фамилия им — и подавно. Молодые люди почитали тут же мои стихи и дружно заявили:

— Это у нас, — они подчеркнули это слово — «у нас», но я ничего не понял, — не напечатают, не пропустят...

— А что делать? — поинтересовался наивный «абитуриент».

— Вы Гришу Левина знаете? — спросил Окуджава.

— Нет, — утвердил я.

— А литературная среда у вас есть? Общение?

— Нет.

— А про «Магистраль» слышали?

— Нет, — ответы мои были однообразны, но искренни.

— Вот, вам к нему надо, в «Магистраль», к Григорию Михайловичу Левину. Поедете до площади трёх вокзалов, в ЦДКЖ, вход с переулка, занятия по воскресеньям и четвергам, и скажете, что вас Булат прислал — чтоб ему ясно было, а так не примет. Вам нужна литературная среда, там, у Гриши, вы многое поймёте.

Не буду подробно описывать встречу с Григорием Левиным (это чуть позже) и моё вступление в первый литературный круг. Скажу только, что Булат Окуджава оказался совершенно прав: здесь, вокруг этого бескорыстного эрудита и энтузиаста, собрались десятки людей, ставших вскоре яркими ячейками литературной мозаики последующих десятилетий.

В ущерб своему времени и здоровью Григорий Михайлович занимался судьбами ВСЕХ, кто к нему приходил и в кого он поверил, не взирая на нездоровье, хроническое отсутствие денег, времени и, вообще-то говоря, небольшие возможности, в том смысле, что он не занимал никаких официальных постов, его главными аргументами были: доброе имя, эрудиция и фамилии людей, уже оперившихся в «Магистрали».

Читатель, если вы — любитель поэзии, имена, которые сейчас прочтёте, скажут вам очень много, если нет — постарайтесь запомнить их и найти книги, подборки этих авторов в разных журналах и газетах — они доставят вам радость. Для меня эти имена звучат, как несмолкаемый, хорошо знакомый, радостный аккорд. Не по алфавиту или какому другому принципу, а как подсказывает память, делюсь с вами.

В «Магистрали» занимались Булат Окуджава, Нина Бялосинская, два Виктора — Гиленко и Забелышинский, Саша Аронов, Алла Стройло, Владимир Львов, Елена Аксельрод, Эльмира Котляр, Наталья Астафьева, Владимир Леванский, Павел Хмара, Хулио Матеу, Владимир Леонович...

Люди приходили и уходили, появлялись редко, когда выби-
рались на простор литературы, но никто из побывавших тут, на занятиях, не прерывал уже никогда своей связи с этим сообществом и, конечно, Григорием Левиным. Я старался не пропускать заседания и присутствовал, как «вольнослушатель» — так определил мой статус руководитель, потому что никакого отношения к железной дороге я не имел. Это «вольнослушательство» длилось года полтора... Но вот однажды, придя на занятие, Григорий Михайлович начал читать моё детское стихотворение:

Книжка, книжка записная,
Наша память запасная...

А потом и другое:

С красивым новым бантом
По улице хожу,
Красивый новый бантик
Всем людям покажу...

«Всё! — толкнул меня в бок Виктор Гиленко. — Теперь примут в члены!» Он оказался пророком. Григорий Левин читал стихи из только-только вышедшей моей первой детской книжки. Я ещё не успел её подарить ему — он всё, что касалось литературы, знал первым и хранил в памяти, а против стихов, которые ему понравились, устоять не мог. Теперь, став полноправным участником «Магистрали», я не пропускал занятий — и как можно было! Почти на каждое Григорий Михайлович приводил с собой кого-нибудь из друзей-поэтов. У кого-то вышла новая книжка, кто-то собирался сдать в издательство новую рукопись и приходил прочитать её на публике, выслушать мнения квалифицированных людей. А попасть в «Магистраль», чтобы обсудить своё произведение, считалось честью — здесь было искреннее, заинтересованное отношение к произведениям, а не к анкетам авторов, как в Союзе писателей, где надо было взвешивать каждое слово и определение, прежде чем его обнародовать. А что касается уровня обсуждений — все знали: в «Магистрали» обсудить свои стихи очень полезно.

Опять же наберитесь терпения, читатель, потому что фамилии людей, которые вы сейчас увидите, — это прекрасная песня — и снова, как подсказывает память, здесь побывали со своими стихами Виктор Урин, Белла Ахмадулина, Наум Коржавин, Валентин Берестов, Николай Панченко, Евгений Винокуров, Александр Балин, Олег Чухонцев, Борис Чичибабин, Роман Левин, Семён Сорин, Евгений Евтушенко, Павел Антакольский, Семён Кирсанов... Всех упомянуть нет возможности, да простят они меня.

Когда Евгений Евтушенко в «Огоньке» времён Виталия Коротича составил и публиковал антологию русской поэзии XX века — это была антология стихов и поэтов Евгения Евтушенко, которые ему понравились, но далеко не антология русской поэзии.

Каждое занятие в «Магистрали» превращалось в прекрасный литературный вечер, и все эти вечера не имели лишь одного — конца. Уже поздно, уже мы все разобрали свои пальто и плащи из гардероба, потому что служителю пора уходить и закрывать свой «отдел», уже пришёл не однажды вахтер, сторожащий вход, и предупредил, что закроет дверь и никого не

выпустит, но и это никого не пугает... разве можно передать хоть каким-нибудь способом притягательную силу поэзии в кругу милых сердцу людей... Это был единственный недостаток «Магистрали» — недостаток времени. Недостаток постоянный и неисправимый. Особенно это чувствовалось, когда мы шли куда-то выступать. Все читали по многу, все читали долго, наши поэтические вечера затягивались неимоверно... но публика, знала нас, была закаленная, не только не протестовала, но, наоборот, была благодарна! Такая атмосфера объединяла всех нас... еще не были убиты все надежды...

Фигура Григория Михайловича в любом нашем собрании и поэтическом начинании была, конечно, центральной... собственно говоря, не то что бы центральной, а безусловно необходимой. Трудно объяснить, почему, но без него все меркло, становилось мало интересным и мало значительным.

Вот простые житейские примеры.

Григорий Михайлович задерживается, не успевает к началу занятий. Обычно он всегда опаздывает, и, бывает очень на много, но его терпеливо ждут... а сегодня он предупредил и просил начинать без него... и мы начинаем... Кто-то занимает место за столом лицом к аудитории и... «пошли» стихи... Сегодня по плану, по договоренности в прошлый раз, читает N. И всё, как всегда... и нам интересно... но невольно ловишь себя на мысли, что ждешь Григория Михайловича... и он, наконец, приходит! Слава Богу! Вот теперь-то и начинается всё. «Читайте, читайте!» — говорит он... и мы разойдёмся совсем уж невозможно, недопустимо (с точки зрения вахтера и начальства, которому доложат назавтра) поздно... но разве это плохо?! Главное — что он пришёл! И праздник занятия состоялся!

Он непрактичен и доверчив. Он мечтает составить сборник из произведений магистральцев и договаривается о публикации... Но год проходит за годом... сборника нет и нет... Другим это удастся... Другим литобъединениям... Они находят какие-то лазейки в издательства. Или договариваются с ведомством и его типографией... И тут есть ведомство, владеющее «Магистралью», пусть хотя бы и формально... Но сборника нет... он не напечатан! Почему же становятся известными стихи из него!? Как это происходит?! Кто ответит на это? Недаром же в совет-

ское время существовала иезуитская формула: «Настоящий талант всегда пробьётся!» Как? Что? Куда? Где свои, где чужие? Сквозь кого и куда пробиваться?

Зато на неприятности и пакости начальство было щедрым и третировало Григория Михайловича по любому поводу... Вот ругательная статья об Окуджаве... и уже косо смотрит партком и выговаривает Левину, что «это ведь ваш опять отличился!» А разве анонимка не повод?

И он отбивался, как умел, а умел плохо... честно говоря, иногда казалось, что трусил, а может быть, просто пасовал перед невежеством и хамством... Обидно и тоскливо становилось, когда мы видели его в огорчении по этим причинам...

Иногда он призывал кого-то одного на беседу... «на консультацию» — обычно по средам... и говорил с глазу на глаз то, чего не скажешь публично, где за два часа беседы с ним понималось и приобреталось так много, такое неоценимо важное... оставалось оно в тебе навсегда... И я до сих пор благодарен ему за эти беседы... за всё... за всё, что он делал.

Вот мы едем с Григорием Левиным — человек пять или шесть — домой к поэту Виктору Урину... Это не квартира — это музей... в «Дворянском гнезде», в писательском доме у метро «Аэропорт»... Все стены, потолок, даже двойные входные двери исписаны автографами побывавших здесь... от Ахматовой и Пастернака... до нас — неизвестных... А вдруг потом... вдруг станет известным... да наверняка... ведь это «Гришины ученики»...

Сосновый стол из половых досок. Он ничем не покрыт. На нем рубанок. Мы снимаем стружку — вот и чистая, гладкая, невероятно вкусно пахнущая поверхность, на которую выставляется водка и нехитрая закуска — нас предупредили, и мы запаслись... А теперь начинается незабываемое: звучат «Египетские ночи» Пушкина... Мы в это время, под чтение, пишем свои темы и опускаем их в шапку, она по кругу доходит до хозяина, сидящего во главе стола... Он встаёт... запускает руку в шапку... достаёт бумажку... Всё медленно и театрально... Читает тему... поднимает голову, прикрыв глаза веками... миг молчания... и вдруг на наших глазах начинается чудо импровизации... и следующая тема догоняет первую... и не рвется нить повествования, несмотря ни на что — разные темы, люди, почерки,

мысли — Урин прекрасен! Он — Творец! И мы все потрясены его даром... его квартирой-музеем, его вышитой им самим картой СССР с маршрутами двух путешествий на машине вдоль всей невероятной, непроходимой, непостижимой страны... И Григорий Михайлович счастлив. Его глаза за толстыми стеклами очков совсем поголубели и, по-моему, увлажнились... он с нами... в наших восторгах, преданности поэзии, уважении к этому дому и его хозяину...

А сегодня наш путь в Парк культуры им. Горького, на открытую эстраду, где в воскресный дождливый осенний день нас слушают «полторы старушки»... Но никто не огорчен и не обижен — это «надо»... А потом мы уже не замечаем, что на влажных от дождя скамейках мало людей, и увлечённо, и опять долго, выступаем...

Зато в следующий раз нас принимает музей А. С. Пушкина в Хрущевском переулке на Пречистинке и его основатель и директор, замечательный человек Александр Зиновьевич Крейн... И здесь, в этом доме, в этом зале, мы знакомимся с такими людьми! И попадаем в такой мир!.. Это всё подарки Григория Михайловича... он знает все литературные «точки» Москвы... его знают и привечают везде... и не представляют одного, без вечной надёжной свиты учеников...

Во Вспольном переулке мы переносимся на полвека назад: в этом доме и квартире Евдоксии Федоровны Никитиной, где с тех пор, как завел обычай покойный хозяин, ее муж, происходят по средам заседания — в огромной комнате со стенами-книжными стеллажами, овальным столом посредине, а в центре его с блюдами крошечных бутербродов и пахучим чаем в стаканах с подстаканниками... Может быть, тут остановилось время!? Потому что рядом сидит Рюрик Ивнев, а вот пришел Сергей Городецкий... следом появляется сам Александр Павлович Квятковский!.. Боже!.. Спасибо Григорию Михайловичу — сюда попасть не просто: не придёшь ни с улицы, ни по звонку... только постоянный член этих собраний может, имеет право привести сюда нового человека, и только с условием, что новичок должен представить какой-то вид искусства, а если оно, это искусство, фиксируется на бумаге, холсте и прочем, оставить след... здесь... Рукопись, рисунок... автограф... и это всё будет храниться на необъятных стеллажах в папках по дням и годам расставленных...

Особо почетные гости расписываются на свободном уголке поверхности квартиры в любом месте: от входной двери до розетки люстры! (как они туда добирались?!) Надо только суметь найти это свободное, хоть крошечное, пространство!.. Здесь столько интересных, знаменитых людей уже побывало...

Бескорыстие Григория Михайловича выражается в радости, которую он не умеет скрыть при похвале его подопечного... здесь ли, в другом ли месте... А мы читаем свои стихи — иначе нельзя — это входной взнос в историю собраний этой комнаты... которой гордилась Россия...

Нас порой разводит жизнь... мы заняты своими судьбами... семьями, но у нас ещё одна семья... Здесь, в квартире Левина и его жены Инны Миронер, прекрасной переводчицы, ещё один поэт подрастает: сын Володя, следом дочка Леночка... и мы приходим на дни рождений... в Новый год... Какие праздники мы еще отмечали? Наш праздник — собраться вместе и упить-ся строками стихов...

Нас иногда раздражает неприспособленность Левина ни к чему... только к стихам... но это всё окупает... и мы счастливо становимся такими же фанатичными, забывающими обо всем, когда звучат строки, когда он рядом, когда с ним необыкновенно хорошо в его мире, его атмосфере, его счастья поэзии...

Он мало пишет. Не умеет «пробивать» свои книги и публикации... но именно это и есть Левин:

Хорошо, когда человек,
Уходя, оставляет песню...
Пусть не громкая, но своя,
Людям дарит он соловья...

Это же не декларация — это Левин, который один и может спросить наивно отрезвляюще про ландыши, которые продают весной на привокзальной площади:

Почему продают,
А не просто дают?!.

Ну, кто рискнет ответить на его вопросы?

Почем нежность?
Почем красота?
Почем радость?
Почем чистота?

И это в задолбанной постановлении съездов и пленумов ЦК партии стране!

Может, он оттого и писал мало?

Мы все прошли его школу мужества, школу дружбы и преданности, а только при таком образовании и возможна литературная работа...

Григорий Михайлович переезжает на новую квартиру — из тесно-двухместносовмещенной хрущобы (прошу не принять за опечатку, особенно корректоров), повторю: из теснодвухместносовмещенной квартиры — читать неудобно, трудно, а жить как? Особенно писателю с таким архивом?! Левин уезжает в новый писательский дом в Останкино... Это далеко от меня... Здесь, около метро Проспект Вернадского, в этом тесном домишке, столько хороших моих старших друзей: Берестов, Груби-ян, Левин... — они все разъезжаются... Жаль...

Я прихожу помочь... что? Собрать рукописи и книги... паковать. Весь пол в двух комнатах, из которых уже увезли мебель, усеян листками и листочками, вырезками из газет, брошюрами, папками...

— Осторожно, осторожно! — кричит своим сорванным сиплым голосом Левин. — Осторожно! Не наступите! Это всё очень нужные бумаги! — я замираю на пороге... сажусь на короточки и начинаю подбирать листок к листку... — Что вы делаете! — кричит Левин. — Я же потом ничего не найду! — я в полном недоумении и не понимаю, как быть. Что можно найти сейчас в этом хаосе, на полу, многослойно усеянном бумагами... Но Левин стремительно бросается на колени, вылавливает нечто из массы и протягивает мне: — Вот, посмотрите! Я хотел вам показать! — я потрясён и ошеломлён... мне уже никак не добраться до содержания... Как ему удалось поймать это здесь, в обвальном беспорядке!!! Он знает и помнит каждую бумажку «в лицо»! Левин Григорий Михайлович! И все они важны ему равно: и список со стиха Анны Андреевны Ахматовой, и листок

рукописи неизвестного еще никому его ученика, в котором он, великий педагог, зажег свет завтрашнего утра...

Он тяжело переживал неудачи своих учеников. Еще тяжелее — несправедливости, обрушенные на них ошетиненной властью... старался помочь... Силы его были невелики, но его ходатайства с помощью литавторитетов и литгенералов в чиновных кабинетах иногда пробивали бреши в круговой обороне власти от мыслящих самостоятельно, не по её указке... Левина уважали все, за себя он не просил никого...

Моя бойня в Союзе писателей беспрецедентна... он знает, какие авторитеты — прекрасные писатели — давали мне рекомендации и хлопотали за меня... но на Приёмной комиссии неизменно — «чёрные шары». «Не может быть, чтоб это был антисемитизм, — уверяют меня доброхоты, — вы посмотрите, сколько евреев в Союзе писателей! Не может быть!» Они тоже писатели. Может быть, тень падает и на них? Тогда надо идти спросить об этом власть придержащих — но не многие на это способны. «Вы же знаете, кто там сидит и всем заправляет!» — извиняются они передо мной. Но я не извиняю. А Левин ничего не говорит, может быть, только потихоньку сквозь зубы: «сволочи»... Он вообще не умеет воевать... но он не умеет предавать принципы, они у него в жизни те же, что и в стихах...

Небрит, неряшлив, мятый воротничок и жеванный галстук? Нет, мы смотрим на него другими глазами — любящими этого человека. Элегантен, стремителен, строен, изящен в каждом жесте, ритме, повороте строки, изобретателен в рифме и гурман в слове, и взгляд, взгляд прозрачен, чист, откровенен — превосходен: только влюбиться...

И вот надпись мне на подаренной последней книжке: «Дорогому Михаилу Садовскому, наконец-то прошибшему бюрократические рогатки. Свежим ветром повеяло! Григорий Левин». И приписка чуть ниже: «И на память о безвременно погибшем сыне. А есть ли время?»

Был девяносто четвертый год...

У книги посвящение: «Светлой памяти моего сына — поэта Владимира Ивелева». Эта смерть заслонила всё в последнюю часть жизни Григория Михайловича, свела его самого раньше срока в могилу...

И вот он в ненавистном доме — Доме литераторов, в зале, где юбилейные банкеты чередуются с панихидами... и его гроб на том же столе, за которым пили вчера... и наверняка, его враги тоже... И я не могу перенести этого кошунства, стоя в почетном карауле рядом с его прекрасной и родной головой, и я не могу видеть белый свет в этот чёрный день... Но сквозь слёзы преломляются и впадают в мой взгляд лица друзей его, ставших моими с того самого первого дня, когда я переступил порог ЦДКЖ, построенного согласно литературной легенде на деньги подпольного миллионера господина Корейко... Они вокруг, они рядом, и ещё сотни людей, друзей, сердец... Утешением звучат мне «Евангельские мотивы» — его стихи последней книги, названной так потому, наверное, что они были мотивами всей его прекрасной жизни.

Мне хочется привести их все здесь в подтверждение своих слов и в оправдание того, что я так долго к этому вёл вас, читатель...

Но форма требует вовремя остановиться... и эту точку пусть поставят три стихотворения Григория Левина, как заповедь на его памятнике.

Всей земной премудростью владея,
Я б одну поставил выше всех:
«Несть ни эллина, ни иудея».
Позабыть об этом — смертный грех.

Всем людским стенаньям чутко внемяя,
И чтоб дух людской не обеднить,
Не затем ли Бог сошел на землю,
Чтобы всех людей объединить?

Той любви нетленного запаса
До конца веков не исчерпать.
Кроткий лик всеведущего Спаса
Как на сердце прочная печать.

Разве той любви у нас не хватит,
Чтобы рознь людскую перевозмочь?
Всяк кулик свое болото хвалит,
Только в том болоте жить невмочь.

Мир не мог бы вырастить злодея,
Воспитать не мог бы палача,
Начертав на ножнах от меча:
«Несть ни эллина, ни иудея».

*«Умерли искавшие души младенца»
Матф., 2.20*

Не умерли искавшие души,
Нас обмануло древнее преданье.
Как в старину, живи — едва дыши,
И прячь от всех в душе свое страданье.

Не умерли искавшие — живут!
Живут и ждут назначенного часа,
Когда их вновь на службу призовут,
Но так, чтоб в этот раз никто не спасся.

Да что там час назначенный — чтоб плоть
Губить во сне, проникнув вглубь жилища,
И души-то они — спаси Господь —
И нынче всюду рыщут — души ищут.

Чтоб тем же страшным ядом отравить,
Духовный взор, чтоб ослепить навеки,
Им душу б только, душу погубить,
Душа — всего главное в человеке.

Им рабский дух в младенца бы вдохнуть,
Слепое бы вдохнуть повиновенье,
И ненависть тайком бы вдунуть в грудь, —
Само в свой срок созреет преступленье.

При этом все приёмы хороши,
От них не скрыться, никуда не деться,
Не умерли искатели души —
Так берегите же своих младенцев.

*«Блаженны нищие духом»
Матф., 5.3*

Я в споре с древней истиной опять,
Которую веками люди пели.
Довольно нищих духом восхвалять,
И так уже от них мы претерпели.

Смиренные, они терпели зло,
В неведеньи своём не распознали,
Какое наказание людям шло,
Они опомнились уже в финале.

Тогда, седые разорвав волосы,
Поверглись в прах и бестолку вопили,
Но били неумолчные часы,
И лишь першило в горле их от пыли.

Довольно нищих духом воспевать!
Нам нужен дух взыскующий, упорный.
Нам нужно правду, правду добывать,
До самого добратся нужно корня.

Кто духом нищ, тот облегчает злу
Его неумолимое движенье.
Я разгребу застывшую золу,
Я уголёк раздую в нетерпенье.

Познания бессмертный уголёк.
Всеведенья. Огонь духовной пищи.
Пусть мы повержены — но — видит Бог,
Что и поверженные — мы не нищи!

ВАНО...

По-разному сливаются реки. Широко и вольно, как Волга и Кама, незаметно и буднично, как Яуза и Москва-река... но в этом скромном месте, недалеко от Таганки, стоит архитектурный памятник сталинского времени — высотный дом на Котельнической набережной... на месте котельнической слободы старого московского посада, на месте лепившихся друг на друга по крутым склонам приречного холма одно- двух- трёхэтажных домиков, барачков, халуп со страшными и по форме, и по содержанию дворами — рассадниками клопов и хулиганья. На этом месте, почти в центре столицы, вырос в самом начале пятидесятых, при жизни их вдохновителя и по его приказу, один из десяти запланированных и семи построенных в Москве высотных домов (со смертью вождя их строительство прекратилось — успели только семь). В этот дом, из которого был виден близлежащий за поворотом реки Кремль, вселяли советскую элиту, знать, знаменитостей... здесь жили артисты, писатели, художники, композиторы...

Власть заботилась о своём лице и престиже — не последнюю скрипку в этом хлопотливом создании лица играла «советская творческая интеллигенция». Приходится пользоваться терминологией тех времён, прошу прощения, а иначе ничего не расскажешь... Проще говоря, жили в этом доме многие замечательные люди, любимые публикой всех слоёв, замечательные творческие люди, пока чудом уцелевшие от когтей режима, но он держал их всех на виду... подбросил вверх, как кошка пойманную, придушенную, но ещё не убитую мышь, подбросил и уж не боится потерять — никуда не денутся...

Сливаются реки и становятся одним целым, и не различить в потоке общем «своей» и «чужой» воды.

По-разному сходятся люди. Каждый старается самим собой остаться, хоть идут по жизни вместе... да не всегда это — по желанию... Бывает очень неравнозначны сошедшиеся величины... порой от этого трагедии случаются, порой счастье выпадает...

В доме этом, на Котельнической, жил Ваню Ильич Мурадели, настолько непонятый, неоценённый, закрытый людям, распевавшим его песни, что оторопь берёт от удивления и несправедливости... по-моему, вопреки общему мнению и кажущемуся преуспеиванию — загубленная жизнь, растоптанный властью талант...

Должен заранее оговориться, что читателю, может быть, покажется — слишком часто автор употребляет «я» да «я», но не вижу другого способа рассказать о нём, о человеке, ставшем столь близким мне, таким дорогим... что не верю в его отсутствие на земле, рядом... До сих пор просыпаюсь внезапно утром оттого, что кажется, звонит телефон, и я сквозь полусон ещё слышу его голос:

— Здравствуй, дарагой! Почему вчера не званил, что случилось? Забалел? Я валнавался! Наташка, гаварит: «Пазвани! Пазвани!» Звани, пажалюста! Не прападай так на целый ден... генацвале... харашо, что в порядке... жду тэбя севодна...

Это он с таким акцентом, когда очень волнуется, а так... говорит он красиво, правильной русской речью, по-московски акает, а уж выступает публично или в застолье (тамада, конечно) так, что заслушаешься... Он — то, что теперь называют «публичный политик»... таким его знают люди... И в творчестве, и в жизни... если для такого титана это не одно и то же...

Однако по порядку.

Я знал песни Ваню Мурадели, пел их...

Но знакомство с композитором Ваню Мурадели будто заново произошло далеко от Москвы в рыбацком посёлке на берегу Азовского, ещё не изуродованного плановым хозяйством, моря, когда в нём было полно рыбы!.. Как и во всяком организованном советском хозяйстве, было место, где собирались люди. Для рыбаков — это, конечно, берег, на котором лежали перевёрнутые вверх дном с зимы колобухи, сушились сети, бродили гуси и утки, играли дети, загорали в сезон приезжие дачники, а вблизи, на воде бухты, закрытой косой, качались кормилицы фелюги, дожидаясь своего часа путины. Тут стоял

врытый в песок, изъеденный ветром, волной, солнцем, просоленный, и потому не гниющий, кривой столб, а на нём хрипчатый громкоговоритель-колокольчик — рог изобилия советской власти... Недаром же говорили: нечего есть, в магазине пусто — повесь авоську на репродуктор...

Колокольчик не умолкал никогда, и вольно или невольно, скорее невольно, люди воспитывались властью, поскольку память и сознание буквально забивались всем советским необходимым: новостями, достижениями советской промышленности, сельского хозяйства, международной политики, науки и искусства... Вот именно этот глашатай прогресса и прохрипел новую песню Мурадели «Бухенвальдский набат»... Надо сказать, в нашей немаленькой компании с явно профессионально-музыкальным «креном», песня всем оказалась и по душе, и по вкусу, и по сердцу... Война не так далеко ушла... каждому было что и кого вспомнить и помянуть...

«Какой он из себя, что смог написать такую мощную песню?» Моё воображение рисовало его могучим, атлетом... Наивно, конечно, я и тогда понимал это, но так вот...

Сильная песня. Сильный человек только мог родить такую... и призыв «Берегите мир!» тогда звучал по-другому. Совсем по-другому... «Берегите, берегите, берегите мир!» Это было наше общее желание.

Мурадели, Мурадели, какой-то странный небожитель, наверное... С одной стороны «Москва — Пекин», «Партия наш рулевой», «Едем мы, друзья, в дальние края» — это по радио и телевизору с утра до ночи, а мы-то без принуждения, здесь на рейде, выйдя на баркасе ночью по лунной дорожке, распевали от сердца «Высоко летят под облаками и курлычут журавли над нами» и «Тропинка школьная моя, веди от самого порога», и «Опять иду я Подмосковьем, где пахнет мятою трава»... Извините меня, авторы стихов, я не забыл про вас, это песни потеряли ваши имена, потому что все стали НАРОДНЫМИ, безымянными — ни композитора, ни поэта — гордитесь!.. Кто сильно заинтересуется, найдёт ваши имена в сборниках и песенниках...

Что ни песня — вслух и для всех! Потом стали говорить «шлягер» — враньё всё это на немецкий лад! «Шляген», значит: бить! И били и бьют песнями по мозгам, по душам, по карманам!..

А эти все из другой «оперы» — эти песни не били, они за нас говорили — все! И пели их с энтузиазмом неподдельным, настоящим. Их и называли «массовые песни советских композиторов», и песенники выпускали миллионными тиражами, а всё не хватало...

Если бы смогли мы перенести свои души туда, обратно, назад на полвека, то и не дискутировали бы о том: правда это или не правда! Так было! А смелым сегодня задним числом совсем другая стезя — им веры нет ни тогда, ни сейчас... это моё убеждение, простите.

О том, чтобы увидеть этого замечательного человека, — я уж не говорю, познакомиться с ним! — я даже и не то, что не мечтал — не мыслил. Всё равно, что о встрече с марсианином думать в те годы, когда ещё и Гагарин не летал... Но имя-то знали все. Ваню Мурадели. Конечно, знали.

Прошло лет шесть. На мои стихи многие композиторы уже писали свои вокальные сочинения, было и несколько известных песен... Всё это так или иначе звучало, издавалось... И вот заведующий редакцией музыкального издательства Ростислав Бойко, сам очень интересный композитор и мой соавтор, позвонил мне и попросил принести стихи для хорового цикла... побольше, чтобы можно было отобрать... Я думал: он для себя просит... отдал и забыл... а через полгода примерно он при встрече сказал мне, как бы мимоходом: «Помнишь, я у тебя стихи просил? — и не ожидая ответа: — Мурадели цикл хоров написал... Я заказал ему... очень неплохо получилось. Интересно... позвони ему... вот телефон... служебный...»

Что? Кто?! Мурадели? Какой Мурадели? Может, я не понял? Но другого Мурадели нет...

— А! — сказал мне в трубку женский голос. — Да, да, меня предупредили о вашем звонке. Ваню Ильич просил вас заехать. Вам удобно завтра в час дня — у него приём начинается, а сегодня депутатский день — он занят... Меня зовут Анна Моисеевна... я его секретарь... пожалуйста... адрес знаете? ...

О своих чувствах и переживаниях умолчу — это в другой раз. Может быть, доживу до мемуаров, а сейчас о нём, о Мурадели.

В приёмной председателя Союза композиторов Москвы было не то что многолюдно — тесно, люди ждали приёма.

Очевидно, я от волнения был совершенно зелёного цвета, потому что Анна Моисеевна прежде всего поинтересовалась, как я себя чувствую и не дать ли мне валерьянки... Она тут же отправилась в кабинет, через несколько мгновений распахнула дверь и громко объявила: — Проходите, Ваню Ильич ждёт вас. — Я был смущён до предела, мне было неудобно перед этими ожидавшими приёма людьми. Я вообще ещё не перевёл дух и не готов был предстать перед самим Мурадели!

— Дарагой! — услышал я с порога. — Как харашо, что вы зашли! Спасибо! Генацвале! Прахади, прахади! — он вышел из-за стола, положил мне руку на плечо, прижал к себе и сказал совершенно по-другому, не торжественно и очень серьёзно: — Спасибо тебе за стихи, дорогой. Я очень старался. Говорят, получилось... твой друг, Слава Бойко, замечательный парень, он мастер... — Мурадели поднял палец. — Сказал, что издавать будет... хочу тебе показать... Знаешь, что приходи ко мне, пожалуйста, домой — вот телефон... наверное, в десять буду дома. Не поздно? Раньше не получится... заседания... а... сейчас не могу... люди ждут... извини... ты видел... договорились? Ах, как хорошо, что ты такой молодой!..

Я ничего не понял. Только слова его запечатлелись навсегда, и лишь потом они приобрели смысл и цвет. Я испытывал неловкость, проходя мимо ожидавших в приёмной, — почему они так провожают меня взглядами, я сомневался — не спутал ли Мурадели чего-нибудь, зачем ему хоры для детей а` cappella, и на мои стихи? Видно, от сомнений такого рода мне никогда не отделаться...

Дверь в квартиру открыла Наталья Павловна... оказывается, её я встречал прежде, только не знал, что это жена Мурадели, она приезжала в издательства, на Радио по делам мужа... грузная, простое русское лицо... А в глубине прихожей уже звучал голос:

— Кто пришёл? — я назвался. — Захади, дарагой! Наташка! Это же тот самый великолепный поэт! Я тебе о нём говорил! — от таких слов я снова впадаю в тихую панику (не привык ещё к гиперболизированной цветистой речи Ваню), а на пороге комнаты появляется могучая фигура человека в борцовской белоснежной майке, тренировочных синих брюках и с сокрушающей

улыбкой... И я включаюсь — у меня внутри возникает «Бухенвальдский набат»! Мелодия сливается с обликом автора — всё становится на свои места. Я начинаю успокаиваться под его рукой, лежащей на моём плече, под его взглядом на меня сверху вниз (и в прямом и в переносном смысле), под его вопросами вперемешку о доме, о детях, о книжках, о гонорах... о задумках... — Понимаешь, вчера особенно много народа было... все просят, все просят... работать надо... помогать людям надо... Одна женщина пришла прямо с чемоданом с вокзала — ночевать нигде, сын одно очко в институт не добрал, одна воспитывает... Опять Мурадели... Ты не приходи больше в кабинет — только домой, а то подумают люди, что я рабочее время на свои пустяки трачу! Ладно?..

Так начиналось знакомство. Дружба, на которую невозможно было не ответить. К сожалению, она длилась всего несколько лет... до его последнего, трагического, мига на земле... Но каждый день этих лет, интенсивного, я бы сказал, общения просторен и поместителен, как сам талант Мурадели — во всём: и в творчестве, и в стремлении жить...

Это произведение (хоры без сопровождения для детского хора) оказалось удачей композитора: «Ручей», «Бродят шорохи», «Облака», «Глядится в лужи застеклённые красавица весна»... Красивые мелодии и такое прозрачное хоровое изложение... такое удобное и напевное голосоведение... это был совершенно неизвестный Мурадели. Он очень мало до того писал для детей, а чисто хоровой музыки, хоров без сопровождения совсем, по-моему, не сочинял... Возможно, с годами у него накопилось столько невысказанной нерастроченной нежности, чистоты, столько воспоминаний, связанных с детством, семьёй, родителями, что возникла необходимость поделиться... Он словно выплеснул на ходу, чуть качнувшись, из полного сосуда свежего, ароматного напитка...

Во время записи на Радио «Десяти картин» Детским хором Соколова (Детским хором Института художественного воспитания Академии педагогических наук под управлением профессора Владислава Соколова — это он так длинно официально назывался)... ребята устали... они переволновались — сам Мурадели придёт на запись... Его присутствие в любой аудитории,

на концерте, в театре придавало значимость происходящему — он был «высокий гость»! А тут половину материала записали и скисли... Но вот Ваню говорит своему другу, потихоньку, на ушко:

— Слава, уступи мне место, на минутку... — он встаёт за пульт. — Ребята, сейчас я вам, что скажу... — все напряжены, ждут... — вы замечательно поёте! (Ваню выдерживает паузу, обводит всех ребят взглядом) Сейчас посмотрим, как вы пьёте чай с пирожными! Все в буфет!..

Как волшебю он зажигает аудиторию своей энергией, темпераментом, как весело, цветисто и уважительно говорит об авторах, о нас, без бахвальства и фанфаронства, как объясняет ребятам, что хотел выразить, и как надо спеть... и как оживают и поют после этого ребята! «Без вас же ничего не получится, и никто не узнает, что хотели сказать людям поэт и композитор!» Они поют, как говорят профессионалы, «на раз»! С первого дубля!.. Получается прекрасная запись! Она до сих пор жива и звучит...

А мы выходим последними из ДЗЗ (Всесоюзного Дома звукозаписи) за шумной ватагой хористов... Два огромных таланта — Владислав Соколов и Ваню Мурадели, два соученика по консерватории Слава и Ваня... Солнце уже на закат... сосульки тенькают, тихо... воскресенье... пахнет весной... Так отрадно и радостно... сделана огромная работа... огромная не только по размеру... И вдруг Ваню говорит, обращаясь ко мне:

— Мы со Славой умрём, — я начинаю возмущаться, — погоди... а ты о нас напишешь, и об этой записи обязательно... обязательно напиши... как великолепно ребята пели, какие у нас прекрасные дети... и как мы вышли вместе втроем, и как сосульки тенькали...

Мне кажется (да и тогда я это чувствовал), что обращение его к детям под конец жизни отнюдь не случайно — он хотел высказаться откровенно, чтобы ничто его не сдерживало, ничто не мешало, высказаться, не оглядываясь, открыть душу и поведать миру свои музыкальные идеи и пристрастия. Лучшей возможности, чем писать в таком случае для детей, — не придумать. Не знаю, сам ли Ваню Ильич добрался до этого, подсказали, может быть, редакторы, критики или он подсмотрел эту стезю, анализируя окружающий мир искусства... ведь не секрет, что многие талантливые авторы, особенно в литературе,

не имея возможности в те годы писать открыто, ушли в «смежные» области и жанры творчества — в переводческую литературу, литературу для детей, музыковедение, литературоведение — это давало, во-первых, возможность работать, зарабатывать своим творчеством, во-вторых, работать честно...

Сразу же скажу, что мои ощущения в дальнейшем подтвердились неоднократно и в совместной работе, и в обращении Ваню Ильича к новым авторам за детскими стихами — он последний год жизни в основном писал только для детей, и написал очень много.

Легенда о его всесильности и доброте опережала намного его действительные возможности, но его вера в то, что он творит, именно творит, праведное дело, страсть, с которой он бескорыстно и радостно помогал людям, открывали перед ним такие двери, что только диву даёшься...

— Знаешь, я NN квартиру выбил в Моссовете, он же с соседями жил! Как может композитор с женой и дочкой жить с соседями? Где работать?..

— Он теперь по гроб жизни вас благодарить будет! — ассистирую я Ваню Ильичу.

— Нет, ты не прав! Ненавидеть станет!

— Как это? — перебиваю я.

— Очень просто! Его будет мучить мысль, что я ему добро сделал, и люди это знают!.. Только он не знает, что я-то по-другому не могу... он же у нас в Союзе композиторов, в Московском — они же все мои дети... они же меня выбрали... как же я могу по-другому... Знаешь, — добавляет он с грустью, — скоро им чешские унитаза доставать буду... я всё могу...

Что это? Поза? Игра на публику!? Зачем ему это при его славе и всесильи? Может быть, это «синдром голода», как я его называю... Не могу до сих пор (а с войны-то полвека прошло), не могу выбросить даже корочку, внутренняя память тех лет, когда я пух от голода, удерживает меня от этого... А ему досталось от всесильных. Это его вместе с Шостаковичем и Прокофьевым тогда, в постановлении ЦК и после, учили писать музыку малограмотные вожди пролетариата... И никто не вступился! Никто! Не заступились — отступились. Руки подать не хотели — боялись. Не осуждаю — но и вычёркивать не след... Не все

такими пугливыми были... есть примеры... «Сороковые роковые» его не помиловали и семью его — и Наталью Павловну Шиловцеву, и дочь её, его падчерицу, причисленную к делу врачей... он умел ценить верность...

Многие считали его пропагандистом режима, чуть ли не сталинистом, многие боялись и ненавидели. Он это чувствовал и знал, но при мне никогда не заводил об этом разговора. Он был «застёгнут на все пуговицы». Доступа в его душу, думаю, не было никому... может быть, с какими-то ближайшими, неизвестными мне людьми, он был откровенен... Мурадели всегда был окружён людьми, потому что притягивал своей неординарностью, вызывал даже любопытство многих, желавших «попользоваться им», притягивал своим положением. Он всегда выделялся даже своей осанкой, буквально княжеским видом. Но повторю: напрасно мало знавшие его люди принимали его публичную открытость, умение превосходно общаться с любой аудиторией за открытость души. Он был умён, чувствителен, тонок и великолепно играл очень шедшую ему роль...

Сегодня уже не проверить, но я должен рассказать об этом. Со слов Вано Ильича, разумеется... Читатель сам решит — правда ли это...

В кабинете Вано (так его все называли за глаза: Вано... или Ваня) стояла стеклянная немецкая горка... шкафчик, проще говоря, со стеклянными же полочками внутри, на которых разложены были разные удостоверения и значки — не праздная коллекция, а действующая, так сказать... Предметов было — тридцать два! По количеству общественных нагрузок композитора! Ко всем он относился весьма серьёзно, не отлынивал, не откручивался, удивительно, как находил время... Например, он был шефом интерната и раз в месяц посещал школьников, помогал им организовывать экскурсии, доставал автобус для поездок и т. д., был ректором Народного университета культуры и раз в месяц или два читал лекции, был почётным пограничником — тут же лежала его медаль... Почётным чекистом...

«Почему, говоришь? Я их уважаю, чекистов... — Вано волнуется... — Уважаю, но не всех!.. Уже после «Москва—Пекин»... я думал: всё, отпустили меня... Нет... мне мой знакомый чекист рассказал потом, когда Сталин умер... Он на Лубянке работал...

Т. была его фамилия... он очень мои песни любил... У него стопка ордеров лежала... в столе... в ящике... на арест... стопка подписанных ордеров, понимаешь... Каждый день приносили, каждый день он отдавал часть... а мой каждый раз вниз перекаладывал... Как дойдёт до него очередь — вынимал... и вниз... Рисковал, конечно, страшно... Полтора года перекаладывал... пока Сталин умер. И всё остановилось, понимаешь?»

Как, зная это, было жить? Служить той власти, от когтей которой едва уцелел? Случайно. И почему этот человек перекаладывал клочок бумаги, ценой в человеческую жизнь, рискуя собственной?.. Почему?..

Однако и это неспроста. За все годы кровавой бойни советского геноцида НИ ОДИН ЧЛЕН СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ НЕ БЫЛ РЕПРЕССИРОВАН!!! Сомневающиеся могут проверить по документам. Всё точно. Огромная заслуга в этом Тихона Николаевича Хренникова — председателя Союза композиторов СССР за всё время его существования с первого часа до последнего!!!

Я рассказываю то, что поведал мне Ваню о своём избавителе, и не знаю: делился ли он этим с кем-нибудь ещё... потому и рассказываю... похоже очень это на правду, на поразительно неправдоподобную правду. А я до сих пор не понимаю умом, как это было возможно, но сердцу — верю... оно начинает болеть каждый раз, как вспоминаю об этом... а забываю ли?..

Падчерица Ваню умерла в сорок. Сразу почти после реабилитации. На сердце у неё был рубец от инфаркта тех лет...

Когда скончался Ваню... и на его сердце нашли рубец от инфаркта тех лет. Тогда инфаркты переносили на ногах... и никто не знал об этом...

Он никогда не жаловался... и в последний год, когда постоянно болело и ныло сердце... от переутомления, наверное... а может, оттого что он видел со своей вершины дальше и глубже простых смертных... но ясно было, что он устал.

— Зачем вам это всё, дорогой Ваню Ильич! Зачем? Если машина к половине девятого подкатывает к подъезду и увозит вас, а привозит к полуночи — и вы не пишете! А вам сочинять надо! Вы же композитор!

— Не понимаешь! — сердится Ваню. — В воздухе пахнет грозой...

— Вань, а Мишка-то прав... Меня не слушаешь... — дальше бы хорошо привести фразу Натальи Павловны целиком, не обрезать смачной концовки... да больно часто теперь этим («ненормативной лексикой») грешат авторы... а я не придумываю. Ваню смягчается.

— Вам хорошо говорить... — миролюбиво соглашается Ваню, — а я не имею права — людям помогать надо и музыкой, и делами... работать надо!..

И он работал, как каторжный. Работал не жалеемый и не сохраняемый властью, а подгоняемый ею, понукаемый, поощряемый. Она использовала его имя и талант, чтобы показать, что такие титаны верят ей, поддерживают её, работают на неё... а он не сопротивлялся?.. Он должен был играть в эту игру — «отрабатывать», чтобы остаться на достигнутой высоте, которая позволяла ему делать много хорошего людям. И поступал так, как считал необходимым, в ущерб своему творчеству и здоровью...

Не могу найти в истории примера такой власти, которая бы пеклась о здоровье своих композиторов, поэтов, художников... Но советская — любой даст фору в этом! Никто и никогда не сказал ему и не приказал сверху: «Ты композитор! Потрудились на общественной, на политической ниве — поработай теперь, как композитор. Это же твоё предназначение на земле! Ты же с детства мечтал об этом! В пять лет объявил публично, что будешь композитором!.. Мы побережём тебя! Отдохни — твой отдых — твоя творческая работа!..» Это я кричал... и тогда, и до сих пор всё в душе кричит, до сего дня... Его только рвали на части, а порой приказывали ещё: «Надо написать!» И чаще всего дежурную песню...

Может быть, ему это было по душе? Ну, хотя бы сначала? Кому не лестно быть так востребованным?..

И он написал столько песен-агиток, которые умерли ещё при его жизни и принесли ему нелюбовь, и даже презрение, многих коллег и многих людей... Зачем всё же он служил этой страшной власти... Сколько раз обещал себе и клялся родным и близким, что всё бросит, оставит все посты и вот просто со следующего понедельника уйдёт в сторону — но это говорилось много раз, «Буду работать, писать буду!» — и так и не случилось...

Не сравниваю, но... Александр Сергеевич Пушкин так презирал и тяготился высшим светом... и не мог жить без него!

Может быть, он так был отравлен ядом власти или верил, что владея ею, сможет принести пользу... кому? Он никогда не притеснял людей и, действительно, пользуясь своей известностью, своими постами помогал многим... Я другого никогда не слышал... иначе ради чего он так сознательно бросил свой талант в эту геенну огненную?

Звонок по телефону. Об одном известном композиторе фельетон в «Правде», если не вмешаться, пропадёт человек. В те годы такое публичное бичевание в главной газете партии значило — приговор. И Мурадели сам тут же звонит по телефону домой партийному чиновнику, чей портрет носят на демонстрациях, и «решает вопрос». Так вот, как это бывает! Присутствовать при таком — для меня потрясение... Значит, и Иосифа Бродского можно было спасти одним звонком... это те же годы... Не нашлось такого человека... А как же вообще спастись от этой власти?..

Много позже, лет через десять-двенадцать я познакомился с замечательным человеком, боевым лётчиком, писателем, Героем Чехословакии Дмитрием Яковлевичем Зильмановичем и услышал от него ошеломившую меня формулу. Он в сердцах всегда говорил, а порой недопустимо громко и публично: «Я за Советскую власть, но без большевиков и коммунистов»! Этот его выведенный парадокс настолько точно передавал пьесу абсурда, разыгрывавшуюся кругом, в которой мы были статистами поневоле, что первоначальная вспышка некоего веселья при её провозглашении сменялась комком в горле...

Так жил Ваню. Считая себя **настоящим** коммунистом, он же даже был членом идеологической комиссии ЦК КПСС (был такой ужас!), и тихо ненавидя власть, на которую работал и представителем которой являлся. Он всегда жил в напряжении, казался внешне спокойным (так было надо), улыбался, мог своим обаянием покорить любого человека, буквально любого, с любым найти общие интересы и поговорить по душам, а внутри этого, казавшегося благополучным, сытым, довольным судьбой человека всегда бушевали нешуточные страсти. Драма его жизни в те годы, когда он был у власти, не имела внешних

признаков. Он всё прятал внутри. Это было очень трудно — ведь безо всякой разрядки. Оттого и не выдержало сердце, разорвалось, в конце концов...

В самой середине шестидесятых, когда зашёл очередной полуночный разговор о недавнем прошлом, о вожде всех народов, Мурадели вдруг спросил в лоб: «А ты знаешь, кто такой Сталин?» — ответом было молчание. Каждый знал о нём своё. Ваню взял листок бумаги и своим удивительным каллиграфическим почерком вывел крупно: «provokator». Показал написанное. Молча порвал у нас (Наталья Павловна и я с женой) на глазах. Сложил клочки в хрустальную пепельницу и поджёг. Это не кадры из безвкусного кино. Он больше ничего не сказал. Боялся произносить вслух... Его телефонная трубка и «жучки» в стенах, конечно, слушали все шорохи квартиры круглые сутки...

«Ты знаешь, я новую песню написал. Сейчас покажу. Не удивляйся. Для Института переливания крови. У них конгресс. Международный... Просили... очень... Сверху звонили... Это важно — переливание крови. Я туда ездил специально... столько людей они спасают! Никто ещё не слышал. Сейчас, Наташку позовём, что моя КГБ скажет? Она главный цензор!» — не всякому по плечу такая шутка... Он усаживается за рояль, оборачивается ко мне, протягивает руку, растопыривает пальцы:

— Это разве руки пианиста — это руки танкиста... Один палец две клавиши нажимает... — это он кокетничает слегка — играет хорошо, чисто... а поёт! У него же настоящий оперный голос, баритон очень красивый, сочный. Он, когда в Московской консерватории учился по классу композиции у Бориса Шехтера и Николая Мяковского, его сманивали на вокальный факультет — предлагали певцом стать (он в ранней молодости в Кукийское музыкальное училище в Тбилиси поступил по классу вокала!) — так поёт, такие обертона, что стёкла в окнах резонируют... и песня хорошая. Мелодия, как всегда простая и доступная, и правда в его фразе музыкальной, и естественность, и стихи хорошие...

— А зачем вам это, Ваню Ильич, дорогой!.. — он хмурится...

— Я не думал, что ты такие вопросы задавать будешь! — он сердится. — Люди просят, понимаешь? Работать надо. Люди просят — помогать надо... Знаешь, почему мои песни поют? Потому что я знаю, о чём люди думают, что хотят... я поэтому

коммунист и Народный артист... Я самый настоящий народный... вот смотри... Ленинскую премию получила... певица... мои песни поёт! Она получила, а я нет (в его голосе обида и горечь – совсем по-детски)... а кто премии выдаёт...

— Ваню Ильич, так вы же сами в этом Комитете по Ленинским премиям!

— Нет. Не путай... пожалуйста... не везде Ваню!..

Он по-детски обидчив, наивен, а порой даже кажется беззащитным... может, только перед близкими... Я слышу в его рассуждениях что-то очень знакомое... Боже! Это же мама моя объясняет мне суть происходящего: «Идея-то хороша, а люди её, к сожалению, искажают, уродуют!»

Да. Да. «Мама, мамочка. Что же это за идея такая, что её можно так исказить и уродовать, что кровь рекой льётся? И кому она нужна, такая идея?» Но я не говорю этого Ваню, это я говорю маме...

— Почему ты один приехал? — хмурится Ваню. — Больше без жены не приезжай! Семья — это счастье...

— Хорошо...

— Она должна знать, что мы пишем... народ должен знать...

— я не возражаю. Ваню молчит. — Бог не дал мне сына... если бы у меня такой, как ты был... — у него на глазах слёзы...

Писать о близком человеке всегда непередаваемо тяжело, но это суть писательского ремесла: раскрывать душу, прежде всего свою. Это, наверное, о творческих людях: «на миру и смерть красна»...

В один из вечеров обязательная встреча совпала с трансляцией хоккейного матча на первенство мира. У наших игра не шла. Они проигрывали... Ваню смотрел телевизор, когда я пришёл...

— Сегодня работать не будем! Не могу! Ты посмотри, как они играют! Халтура! Если бы мы так писали, разве бы нас народ понял?.. — он расстроен до такой степени, что приходится вмешиваться Наталье Павловне:

— Вань, если ты не перестанешь нервничать, я этот е...ный телевизор на ...й выключу! — она любит выражаться по-народному, крепко и просто...

— Нет. Досмотрю этот позор... обязательно...

Матч кончается за полночь. Вано расстроен. Он долго молчит. Мы сидим в столовой за вечно накрытым столом огромного размера... Вано встаёт, молча уходит в кабинет и возвращается с толстой «общей» тетрадкой... раскрывает её и замедленно, выговаривая каждое слово, несуетно читает по-грузински...

— Я тебе сейчас переведу... это стихи мои... я ещё в Тбилиси писал. На втором курсе... и сонеты у меня есть... знаешь... ну, это потом... — он начинает переводить, будто читает заранее приготовленный подстрочник... некую легенду гор, другой жизни, может быть, другой планеты... И мы забываем обо всём — потому что это не баловство любителя — это Стихи! И становится ясно, откуда у него придирчивость к каждому слову и слогу — он и себе спуска не даёт, и чувство языка его не с неба упало — это годы труда! — Мы с тобой сделаем книжку... я уже звонил в издательство... московское... хорошее... добро получил... теперь надо книгу делать... будешь переводить... я им сказал... что ты переводить будешь... — он сразу всё определяет на практические рельсы...

Неожиданностью своих решений не раз ставит в тупик.

«Почему я? Разве у него нет лучших переводчиков?» Но оспаривать его решения не всегда приемлемо — порой опасно. Сердится он темпераментно. Иногда зло. Не терпит возражений — может, это от высокого кресла, в котором сидит...

Он сосредоточен, кажется, несколько отключился. Разговор идёт сам по себе. Но он всегда присутствует внутри его, и всё равно им руководит. Он прирождённый лидер и, конечно, «продукт эпохи», как пишут журналисты, — он не мог быть другим! Но... его деликатность, природная крестьянская хватка и понимание жизни дают ему возможность участвовать в диалоге, как бы с двух сторон одновременно. Он умеет «вычислить» интерес собеседника и никогда не давит его своим авторитетом и весом...

Пример? Его разговор с Владимиром Заком. Я писал об этом замечательном музыканте, учёном, моём педагоге и друге...

Звонок застал его дома... звонок самого Мурадели! И разговор запоминающийся. Не дословно, но близко к оригиналу воспроизвожу, беру на себя такую смелость, поскольку очень хорошо знаю и одного, и другого.

— Дорогой Владимир Ильич, не удивляйтесь, это с вами говорит председатель Московского Союза композиторов Ваню Ильич Мурадели...

— Да... Ваню Ильич... я удивлен, но внимательно вас слушаю... — отвечает Зак.

— Я приглашаю вас к себе на работу, в Московский Союз... в качестве музыкального критика...

— Но... Ваню Ильич... я... я в детской музыкальной школе работаю... а критики... критики должны быть зубастыми...

— Дарагой! Паслушай... ты напрасно са мной споришь... я очень сильный, я гиревик, панимаешь, аба мне даже писал журнал «Здоровье», у нас адин такой в Союзе кампазитарав, мы с тобой в разных весовых категориях... а то, что в детской музыкальной школе работаешь — очень харашо... значит детей любишь, значит, у тебя душа нежная, а мне нужны нежные критики... панимаешь?! — и вопрос был решен...

Талантливейший музыкант был поднят на то место, которое больше соответствовало его возможностям. Ведь в ДМШ он оказался волей судьбы, спасся там от власти в страшном 1951 году... А какой был не страшный?..

Я спорю с Ваню Ильичём из-за слова, строчки. Он обижается, когда я упрямлюсь, а он переубедить не в силах, и вот чувствую, что ещё чуть... и поссоримся... отступаю... как он радуется! Да Бог с ним, с этим словом, сберегу до другого раза, в другую строфу вставляю... «Дружба и братство/ Дороже богатства...» Да уж, конечно, дружба с самим Мурадели... в этом разливе мелодий, в этой не меряной глубине чувства, куда тебя приглашают жить не ради праздности и ветреного транжирства... Его фантазия по-детски непостижима, его планы реальны и грандиозны.

Действительно... давайте процитируем самого Ваню Мурадели, книгу «Из моей жизни».

«В 1913 году (Ваню родился в 1908), в день окончания гимназии, мой старший брат Гиго пригласил к нам домой своих товарищей по учёбе. За дружеским столом Гиго предложил им послушать «Серенаду Дон Жуана» Чайковского».

— И знаете, кто исполнит Серенаду? — обратился он к друзьям. — Наш Ванечка.

Друзья удивлённо переглянулись. Ведь все знали, что младшему брату всего лишь пять лет. А Гиго продолжал:

— Хотя Ванечка говорит только по-грузински, он будет петь «Серенаду» на русском языке. И если в его русском произношении не всегда будет соблюдена точность, пусть дорогие слушатели будут снисходительны к юному певцу.

Гиго взял мандолину. Он превосходно играл на ней, хотя и по слуху. Когда дебют маленького певца закончился, один из гостей спросил его:

— Слушай, кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?

— А как называется тот человек, который придумал эту песню?

— Композитор.

— Вот я и хочу быть композитором.

— Все рассмеялись.

Этот эпизод, героем которого, как вы уже догадались, был я, не раз рассказывала мне моя мать.»

Придётся прибегнуть к ещё одной цитате. Очевидно, фигура Мурадели столь велика, что мне трудно одному описать её — обычно я не прибегаю к цитатам. Вот, что пишет о Ване Ильиче в предисловии к книге воспоминаний и статей о нём его друг и руководитель Тихон Николаевич Хренников:

«Ване Ильичу Мурадели... Имя — значительное не только для истории, но и для сегодняшнего дня советской музыки.

Все, кто знал Ване Ильича, помнят: с юных лет этот пылкий музыкант был одержим искусством. Для этого композитора не существовало «избранных жанров». С равным увлечением он мог работать над симфонической партитурой, помогать режиссёру ставить свою оперу, дискутировать с поэтом-соавтором, какое слово лучше подобрать к данной песне».

Тихон Николаевич, несомненно, абсолютно прав, и его мнение авторитетно, но наблюдая за Ване, могу сказать, что под конец жизни, во всяком случае, он больше всего думал об опере.

Выкраивая крохи времени на творчество, не отдыхая, а посвящая отпуск работе, работе композиторской, он всё время возвращался и мысленно, и в попытках сочинять — начать новую оперу... Он мечтал завершить трилогию... может быть, эта мечта не сразу пришла к нему, а по мере творческого

движения... в последние годы она стала буквально всепоглощающей...

«В 1940 году я задумал написать оперу «Чрезвычайный комиссар» (Либретто Г. Мдивани). Первая картина была сочинена в том же году, она передавалась по радио», — это пишет сам Ваню Мурадели в своей книге. А дальше — война, ансамбль Военно-Морского флота, демобилизация в сорок четвёртом, Вторая симфония... в сорок шестом опера была завершена, в сорок седьмом представлена публике в Большом театре под названием «Великая дружба». Что было дальше, читатель знает... Постановление ЦК, ставшее знаменитым, где громили писателей и самых именитых композиторов Шостаковича, Прокофьева и Мурадели, его — именно за оперу «Великая дружба»... обвинили в формализме! Они были «великими» музыковедами — вожди пролетариата! Для того, чтобы стать ими, им потребовалась безграничная власть и отсутствие совести... А дальше... Покаяние композитора не спасло бы его (все калялись — куда денешься), его спас талант, крестьянская сметка, интуиция — он написал «Москва—Пекин», тогда ещё в самом разгаре была игра в великую дружбу с Китаем, написал и попал в десятку — песня понравилась Главному вождю...

Я не биограф Мурадели, рассказываю сейчас об общеизвестном, чтобы было понятно малоизвестное, чему был свидетелем, и неизвестное вовсе, о чём знали только он, Ваню Ильич Мурадели, и я.

В начале пятидесятых главный дирижёр Большого театра Самуил Абрамович Самосуд завёл с Мурадели разговор об ещё одной опере... Она писалась долго, в основном из-за трудностей с либретто... создавалась с перерывами и откладываниями и готова была только в 1960-м, а на сцене Большого появилась в 1964 году. Опера «Октябрь» по хронологии событий шла впереди «Великой дружбы»... Теперь, после двух таких огромных полотен, Мурадели почувствовал, что ему необходимо третье, в котором будет жизнь страны в сороковые, потом Великая Отечественная война, Победа... Он стал искать соавторов, чтобы писать либретто...

Эта ниточка тянулась от мечты пятилетнего мальчика и привела к королю жанров — опере! Он считал, что имеет право

гордиться своим творчеством, что Народ признал его, но сам, в глубине души, как я могу судить по его многочисленным высказываниям, больше всего гордился своими операми, хотя достижения его значительны во всех жанрах...

Вано стал искать либреттиста соавтора, потому что не мог не принимать участия в основном, что он считал обязан сделать, как композитор, — завершить трилогию. Он обращался ко многим своим соавторам-поэтам, к драматургам... Очевидно, в этот момент появилась новая кандидатура — не могу достоверно изложить ход его рассуждений, могу только предположить: молодой поэт, стихи его мне нравятся, я на них уже сочинял, я его вдохновляю, помогу с сюжетными ходами... что-то вроде этого...

У Вано была замечательная способность доступно и просто излагать свои мысли, даже самые сложные творческие замыслы, он был нетерпелив, но упорен и, видимо, чувствовал, что-то, что заставляло его спешить...

— Хочу завершить трилогию... — сообщил он мне. — Понимаешь, провести человека через все трудности и вывести в космос, — он восхищался космонавтами, космическими идеями... недаром написал такие всенародные песни с поэтом Евгением Долматовским: «Я — Земля», «И на Марсе будут яблони цвести»... Ну, кто их не знал и не пел!? Да, это были настоящие «автобусные песни» по крылатому замечанию Исаака Дунаевского... Я молчал, слушая рассуждения Вано, и нисколько не принимая это на свой счёт... — Почему молчишь? — удивился Вано. — Не хочешь?

— Я??? — моему удивлению не было предела.

— Слушай! Работать надо. Понимаешь, работать надо... Это будет опера о космонавтах... мы её назовём «Космонавты»... А концовка такая будет... они перед полётом приходят на Красную площадь... такая традиция у космонавтов, понимаешь?..

Опускаю все собственные переживания. Не хочу высказывать и своё отношение к операм Вано Мурадели. Это когда-нибудь потом... речь совсем о другом... Вано мог заставить работать любого — не насилием, а увлечь и повести за собой. Зажигательный его темперамент и неудержимая фантазия подгоняли и заряжали энергией: с ним работать — не заскучаешь,

не поленишься... Он уже буйно крупными мазками рисует картины, требует записывать идеи и эпизоды, он просит сценарный план... изо дня в день... но получается... месяц за месяцем... и...

Но я не хочу писать оперу о космонавтах! Мне участвовать в этом деле не по душе... Бог с ней, с постановкой в Большом театре!.. Хотя лестно, конечно!.. Но я просто не готов писать оперное либретто. Не умею. Боюсь браться даже... страшные сомнения внутри, и наконец — объяснение... довольно бурное...

— Ваню Ильич, ну, зачем я вам нужен?!

— Это как понимать? — Ваню начинает закипать, ведь разговор об этой идее идёт уже не один месяц! — Работать надо...

— Я не писал никогда оперных либретто... я вам только всё напорчу...

— Слушай! Ты что! — он уже почти в гневе. — Работать надо! Причём тут не умею, не писал...

— Давайте хоть кого-нибудь на помощь позовём!.. — упрямясь я.

— Какую помощь? Что ты говоришь!.. — Ваню уже не на шутку рассержен.

— У вас столько соавторов... Винников, Крахт, Мдивани... — я уже боюсь возражать, но не сдаюсь...

— Знаешь, что я тебе скажу, — он сердится, наклоняется близко-близко ко мне и произносит заговорщицким голосом: — Ты мне поэтический максимум, а я тебе прожиточный минимум! Понял? Поэтический максимум!.. — Ваню возбуждён и обижен... — Мой пирог на три части не делится. Работать надо... — добавляет он сухо.

Он не успел. Готовый сценарный план остался у меня в папке. Я ждал его к себе в гости в подмосковный посёлок, где снимал на лето пол-избы у деда Дениса, который каждое утро, уже успев принять, выходил на берег Биссерова озера, плескавшегося тут же у забора, и кричал неизвестно зачем и для кого: «Меня Сталин сюда поставил озеро охранять! мать!..» ...Всё как-то перепуталось... почему, действительно, из кровавого сталинского месива выбились ростки величайших достижений и открытий космонавтики, почему именно о космонавтах эта опера... и этот сторож, напоминающий о былом или тоскующий

по нему... ему нужна эта опера, эта музыка?... он же — народ, о котором так печётся композитор...

Вано просил не беспокоиться и не создавать уют. Моя мама была в ужасе, как можно принимать такого великого человека в таком загаженном скотом дворе, Вано возражал мне по телефону, что вырос в крестьянской семье, в деревне и ещё не забыл, как держат вилы в руках... Мы договорились, что после дома творчества на Рижском взморье, куда он выбрался отдохнуть в кои веки, он на несколько дней с Натальей Павловной — прямо к нам в Биссерово, расставить все точки в готовом сценарном плане и... «Работать надо!»

8 августа я позвонил в Москву, и вернувшийся Вано сказал мне, что его приезд откладывается — надо слетать в Сибирь, очень просили... секция «Военно-патриотической песни»... «На недельку, дорогой! И сразу к тебе. Не надо встречать. План дороги есть. Машина есть. Корзину еды наберу — жди!»

Я ждал. 14 августа вечером сидел у воды и слушал по «Спи-доле» вражеский «Голос Америки»: «Сегодня ночью в городе Томске скончался знаменитый...» Моё сердце сжалось в предчувствии беды... оно так и не распустилось до сих пор...

Когда он умер, в Малом зале Дома композиторов поперёк лица Вано в галерее портретов знаменитых композиторов кто-то написал матерный неприличный эпитет... видно, наконец набрался смелости... Вано был всесилен... его многие не любили... боялись...

Один мой друг, композитор, сказал мне вскоре после его кончины: «Я всегда не любил его... а теперь вспоминаю — он мне столько добра сделал...»

Его любимое произведение было «Горийские песни» на народные тексты и стихи Иоанисиани, Исаакяна, Овнатяна, Туманяна, Ширази... Говорят, весь тираж этого сборника в 1948 году сожгли в каминах дома композиторов в Рузе... Только в конце шестидесятых они возникли вновь в замечательном исполнении Сергея Яковенко... Когда Вано умер, на его сердце врачи нашли огромный рубец от перенесенного инфаркта, как они установили, примерно сорок восьмого года, и отметили, что такую боль мог скрыть только могучий человек (никто тогда и не подозревал об этой его болезни) — это была плата за перенесен-

ные несправедливые унижения, он из неграмотной крестьянской семьи поднялся до вершин власти, боготворил эту власть и ненавидел её представителей: «Нам, малым народам, надо крепко друг за друга держаться, не то они (он поднимал палец вверх) нас сожрут! — так говорил он мне. — А меня скоро разоблачат: посмотри, у меня в штате одни евреи работают. Одна не еврейка, так и та Флора Арамовна!». Когда он умер, со мной перестали здороваться многие из тех, кто подобострастно уверяли в дружбе и публично это демонстрировали; когда он умер, через месяц перестали исполнять его песни по радио, по телевидению, но они до сих пор не забыты людьми, значит, он был прав, а не сводившие с ним счёты; когда он умер, создали «Все-союзную комиссию по творческому наследию Ваню Мурадели», и меня включили в её состав... но она ни разу не собралась... когда он умер, обозначилось совершенно очевидно его высокое место в ряду выдающихся талантов, его современников... и долго пустовал его кабинет, по-моему, две зимы, — замены не было... когда он умер, были сытные поминки... в его гостеприимном доме за тем огромным столом, где он обычно сам переписывал свои клавиры, выводя ноты таким каллиграфическим почерком, что невозможно было понять: это напечатано или написано чёрной тушью обычным пером, которое он макает в бутылочку, а перед тем каждый раз вытирает огромной, белоснежной, лежащей на этом же столе простыней; когда он умер, я так ничего и не взял себе на память, как предлагала по традиции Наталья Павловна, только пошёл в его кабинет, сел на его стул у рояля с открытой клавиатурой и долго сидел. Долго. На пюпитре стояли нотные листы с не разгадываемыми намётками мелодии, а на крышке две фотографии: слева в серебряной рамке портрет его мамы... справа в обычной снимок двух моих дочек.

Когда он умер, осталась непреходящая за столько лет (!) тяжесть утраты... И чувство обязанности рассказать о нём правду... что я и делаю... в очередной раз...

«ДАВАЙ ЗАКУРИМ...»

В середине прошлого, двадцатого, века климат на всей территории Советского Союза стал резко меняться. Это не было связано ни с подвижками земной коры, ни с появлением озоновых дыр, ни с увеличением солнечной активности... Хотя, как знать? Может быть, именно Солнце последние несколько сотен лет в середине каждого века своими протуберанцами особо освещает и обжигает российские земли, и на них возрастает дух бунтарства и свободы!?

Действительно: в семнадцатом веке — Степан Разин, в восемнадцатом — Емельян Пугачёв, в девятнадцатом — отмена крепостного права и народники, в двадцатом... страна уничтожила Гитлера, избавилась от собственного, пожалуй, самого страшного тирана истории, и, по словам Ильи Эренбурга, наступила «оттепель». Это время так именуют теперь по названию его повести, вышедшей в свет в 1954 году.

«Оттепель» продолжалась недолго, как и всякая оттепель в природе, но след её остался навсегда. О ней написано много. А я — только об одном маленьком эпизоде тех времён.

В самом начале шестидесятых при Московском Союзе писателей создали «Комиссию по работе с молодыми авторами» (между собой мы её окрестили «по борьбе с молодыми»). Зачем это сделали, не знаю. Возможно, чтобы как-то попытаться управлять новым поколением пишущих, прибрать к рукам, как говорится, молодёжь, направить её творчество, руководить им — ну, как же без руководящей роли партии? Возможно, и старая литературная традиция русских писателей: опекать молодых и помогать им, сыграла свою роль. Факт, что комиссию создали. Не помню, чтобы об этом писали. Я узнал о том, что она существует и работает, от редактора своей первой тонюсенькой

книжечки... Оказывается, издательство рекомендовало меня этой комиссии — в качестве подопечного, конечно.

Возглавил комиссию писатель, прозаик Николай Панов, который в 20-е годы публиковал стихи под псевдонимом Дир Туманный. У меня была редкая книжка его стихов той поры, только я не знал, что Панов — это и есть Дир Туманный. Эти два имени не соединялись для меня. Позже, когда мы познакомились ближе, я был удивлён и обрадован своим открытием.

Николай Николаевич принял нас, новую группу абитуриентов, и сказал, что они решили «каждого молодого прикрепить к наставнику», т.е. старшему писателю — производственная терминология процветала, а хозяйство было плановое: члену Союза писателей поручалось в качестве наставника вывести в люди нового писателя! А что? Умно придумано! И следить удобно определённом ведомству — это же идеологический фронт!

Она бы умерла, не родившись, эта «комиссия», абитуриенты были строптивы, ещё верили в справедливость и убежали бы от надзора, если бы не писатели, которые вошли в её состав! Как уж так получилось, что писательские власти не сумели «впихнуть» в неё своих генералов? Не знаю... О каждом из наших старших коллег, вошедших в её состав, можно много и интересно рассказывать, но я позволю себе назвать только некоторые имена... порой забытые, порой неизвестные, но это замечательные писатели и настоящие друзья... Михаил Светлов. Лев Славин. Лидия Либединская. Владлен Бахнов. Михаил Зенкевич. Нина Бялосинская. Илья Френкель...

Кто нас «прикреплял» — не знаю. Я «достался» Илье Френкелю. Познакомились тут же, в ЦДЛ (Центральный Дом литераторов).

— Знаете что, — предложил Илья Львович, — приходите ко мне. Там и поговорим, — он смотрел на меня сверху. Красивая седеющая шевелюра, мягкие черты лица, какие бывают от доброты сердца... я сразу же внутренне назвал его «ребё». И, как вскоре оказалось, не ошибся. — Я живу в Лаврушенском. Знаете, где это? Да, в писательском доме... — Конечно, я знал этот тихий Замоскворецкий переулок и дом как раз напротив Третьяковской галереи и особняка Демидовых со знаменитыми

чугунными литыми воротами... Страшно было идти к известному писателю, которому во внуки годишься, но больше всего, конечно, разбирало любопытство: как живёт человек, написавший «Давай закурим» — песню, которую невозможно даже как-то характеризовать. Она и не популярная, и не любимая, и не знаменитая — она вобрала в себя время, и без неё не представить того военного лихолетья, тех людей, она — частичка эпохи, как год, месяц и число. Она — навсегда, она, как формула души... Она — «Давай закурим»! Что ж тут говорить!

Так как же он живёт? Он, для меня недоступный «взрослый», небожитель, может быть...

Дверь открывает женщина небольшого роста с татарским лицом. Собачка с нестерпимым заглушающим слова лаем бросается под ноги. Появляется в конце коридора высокая сутулящаяся фигура Ильи Львовича. Он улыбается по-домашнему и внятно увещевает пёсика:

— Гумми, где Хрущёв? — собака стремительно, проскальзывая коготками по паркету, бросается в открытую дверь, и её лай слышится оттуда. — Смотрите, смотрите! — сквозь смех приглашает Илья Львович. Мы быстро следуем за ним в комнату. Гумми стоит задними лапами на стуле, передними опирается на подоконник и залиvisto, яростно лает! — А Косыгин, Косыгин где? — подливает масла в огонь Френкель, и тут уж кроме лая и отзванивающих стёкол окна ничего не остаётся в комнате — а там, за окном, залитый солнцем Кремль. Как на ладони. Вот напротив Большой Кремлёвский дворец (Дворца съездов ещё не было), и Иван Великий сверкает куполами. Но темпераментное выступление затянулось, а пса не унять, и тут тихий женский голос призывает:

— Гумми, купаться! — и всё. До поздней ночи пёс пропадал где-то, и никто не мог его найти ни в одном потайном углу...

— Жалко! — посетовал Илья Львович. — Он и петь горазд, а как говорит «мама»! Теперь уж в другой раз...

Сразу столько открылось пришедшему. Стало покойно. Стало хорошо... И было мне так несколько десятилетий потом в этом доме потому, очевидно, что дом Ильи Львовича всегда сам выстраивался вокруг него и никогда не был понятием географическим, адресным. Дом — была его открытая душа:

«Давай закурим»... приглашение к разговору, откровенности, расположенности друг к другу...

Он смачно закуривает сигарету. Я кручу ручку старинной медной кофемолки — иначе кофе тут не варили никогда...

— Вы знаете, потрясающе современный поэт Державин! Что скажете? — молчу озадаченный. — Вот давайте почитаем:

Он принял меч — и луч горящий
В его руке увидел враг;
Пронёсся дух животворящий
В градах, в домах, в полках, в судах.
Всех ранний петел возбуждает,
От сна всяк к делу поспешает
И долг свой тщательно творит;
Всяк движется, стремится, внемлет,
На стогне крепко страж стоит,
Перед зеркалом суд не дремлет,
Скрывает злость главу свою
Под царским бдительным призором:
Орёл с высот так быстрым взором
Шипящу в мраке зрит змию.

А ведь это же ещё до Пушкина! Ещё онегинской строфы не было! И как точно, сколько чувства! Экспрессия какая!

— Илюша, — перебивает маленькая женщина, — почитай из новой книжки... — это Эмине-ханум, жена... может быть, слишком сухо. Надо бы сказать... а как сказать, что она не только часть его, они не только проросли друг сквозь друга, но, очевидно, и говорить могут через слово: он-она-он-она — и получится предложение, фраза. У них свой общий стиль... и стихи... нет, не общие, они на двоих, ибо если Эмине-ханум не то что бы не одобрит строфу или строку, но не получит от неё удовольствия... строфа вдруг исчезнет, видоизменится, скукожится и... замолчит... — Так читай же!.. — и Илюша (простите... это не панибратство и не микошонство, и никогда я не позволил себе обратиться к Илье Львовичу иначе как по имени отчеству, но между собой о нём, и даже при нём, невозможно иначе, как ИЛЮША... с любовью и не наигранным уважением), Илюша

медленно перебирает листочки и прижимуривает один глаз за толстым стеклом очков, спасаясь от дыма сигареты...

Когда окончатся бои
И похоронят всех убитых,
Поселятся мечты мои
В местах, самой войной открытых,

Между деревьев на траве,
В тени урочищ Приднестровья,
Где были сложные условия,
Где тосковал я по Москве.

Возникает иллюзия материальности четвёртого измерения в самом вульгарном смысле — вот оно: Время. Его можно листать! Его можно повторять, как ролик кинофильма:

Писать о славе, смерти, бое,
Строкой воинственной звеня,
Мне не по сердцу: ретивое
Моё хитро, как западня.
Начну торжественно, друзья,
О грозном громе артогна.
Оно стучит: «Брехня! Брехня!
Ты спой мне что-нибудь иное —
Про свет звезды, про отблеск дня,
О раннем утреннем покое...»

И тут врезается телефон. Смещаются эпохи. И лицо поэта грустнеет и пасмурнеет, а потом вдруг улыбка от находки, и он говорит в трубку:

— Нет, нет, вы послушайте! Дело вот в чём. Я совсем другой работой занят, и стихов новых у меня нет!.. «Надо же! Отказывается печататься в столичном журнале!» — бурлит во мне!.. — А вот у меня в гостях сейчас как раз молодой талантливый автор, он непременно принесёт вам стихи, непременно! Я обещаю! «Ого! Неужели это он обо мне?» — Илюша кладёт трубку и говорит именно мне: — Вот вам и okazия! Запишите-ка теле-

фон да имя редактора и непременно отнесите, а то меня подведёте! «Уж не подведу!» — ликую я внутри! Я хватаю ручку и пишу, и мой энтузиазм гаснет и сходит на нет, и я огорчён, и понимаю, что это место мне уступил Илюша, потому что журнал заштатный, глупый, официозный, и не резон такой знаменитости у них печататься!.. А Илюша ведь — ребе, он всё понимает и смотрит на меня с усмешкой, и мне уже совестно, хотя ничего не сказано, а только заключительная формула, диагноз:

— Знаешь, — и с этого момента «на ты» на всю оставшуюся жизнь, — печататься надо всюду! Всюду! Знаешь почему? Меньше места дуракам останется! — вот этого я не знал! Не предполагал. Ребе, ребе... на канцелярите — наставник!..

Илюше повезло. Он получил, наконец, после многолетнего стояния в очереди в пользование дачу в посёлке Переделкино. Москва рядом. Дом хороший. Соседи не очень. Жизнь. Иван Демьянович на стареньком «Москвичике» — пикап привозит последние новости из Дома творчества — кто уехал, кто приехал, что издали... и обед, чтобы хозяйке не возиться. Она занята другими делами: все комнаты уставлены и стены завешаны ветками, сучками, пнями, корягами, они превратились в журавлей, косуль, осьминогов, лохматых поэтов, грустных гномов... А ещё Эмине пишет нечто в сказочном духе. Это интересно, талантливо... Дом напаян творчеством... Дочка учится у Мстислава Растроповича... она — любимица знаменитости... потом станет Лауреатом конкурса им. П. И. Чайковского... потом её сын станет пианистом...

Ещё все живы. Все на месте... солнце кажется ярче вдвое от удивительных жёлтых тополей вдоль улицы по обочине поля... Вот сюда, по дуге, мимо дачи Бориса Пастернака к тому двухэтажному домику белого кирпича... там четыре двухэтажные квартиры... и там за столом на Илюшин день рождения сегодня собираются чудесные люди... Арсений Тарковский, Роман Сэф, Александр Ревич, Лев Розгон с женой Рикой... кто-то приходит, поздравляет и уходит...

Но вдруг настойчивый и дерзкий стук. Мы вздрагиваем. Эмине спешит к двери, потом возвращается и просит Илюшу подойти ко входу...

Когда они только въехали и Эмине отправилась на станцию, её у ворот посёлка остановил сторож писательских дач.

Он здесь, кажется, и родился и в сторожах остался по слабости к литературе, но знать по штату обязан был всё. «Кто такие?» — поинтересовался он, и в какой даче, мол. «Хренкель? Нет. Хренкеля, такого писателя, не знаю. Хренников есть, но тот, кажись, композитор... а Хренкель? Нет... А и сколько он получает, твой муж-та?» — сторож строг и не страшится авторитетов! Эмине смущается и говорит, что он уже на пенсии, а пенсии, как у всех людей, так и у писателей... «Эта что жа, сто двадцать рэ!» — возмущается сторож. — Это что жа за писатель, если сто двадцать?... Вот у...» — но Эмине уже не слышит, она ретируется от шустрого литературоведа...

Обиженная и смущенная вернулась Эмине. Не пошла на станцию...

Через несколько месяцев, ровно 9 мая, в День Победы, этот сторож пришёл к Илюше с огромным неохватным букетом сирени. Кто-то сказал ему, как потом выяснилось, что «этот Хренкель» написал «Давай закурим»... Сторож был сильно подат и от своих слов не отказывался, он пришёл их исправить:

— Твой-то — настоящий писатель, — втолковывал он Эмине. — Ты его не тревожь. Вот цветы передай. Он настоящий — такую песню написал. А меня прости. Такую песню! В пояс от меня поклонись ему! — и он поклонился в пояс.

Теперь он приходил по праздникам и частенько в день рождения. Поздравить.

Многие шли в этот дом за добрым словом, за советом, а чаще исповедаться... перед мудрой Эмине-ханум... Без неё невозможно представить себе ни дома Илюши, ни переделкин-ского дружеского круга...

У них был ещё один, кроме прочих, талант: они удивительно умели слушать и так молчать, что хотелось рассказывать... Они могли понять и сострадать, потому что самим досталось полной мерой... а рассказ Эмине-ханум, как их, крымских татар, выгнали с родных земель, — это огромная незаконченная книга...

Каждый день, в то время когда Илья Львович не работает наверху за своим столом в кабинете, за другим столом, на не очень поместительной кухне голоса, голоса, голоса... людей знаменитых и начинающих путь... Среди талантов нет иерархии... а не талантливые здесь не приживаются... И неспешно,

без раздражения течёт жизнь... может быть, оттого, что они страдались, может быть, от мудрости, пришедшей с годами, а ещё от неистощимого чувства юмора...

Частенько Эмине просила:

— Илюша почитай «амбарные», — это слово из другого лексикона, но имело прямое отношение к поэту Френкелю. Дело вот в чём... Не знаю, как это началось, но стилизованные под народные, явно непечатные, — не по моральным или лексическим, а по цензурным параметрам — стихи записывались Илюшей в огромные толстенные «Амбарные книги». Они существовали в то время и так и назывались. Больше того — их можно было свободно купить в магазине на Дорогомиловской улице в Москве... А Илюша заполнял их стихами. Это были любовные страдания в народном духе, одесские вести с Привоза, политические памфлеты, философские трактаты и баллады... стиль и лексика, юмор и наивная простота были в них действительно не поддельными, не подслушанными, а совершенно натуральными, естественными и невиданными до той поры — это был жанр, рождённый Ильёй Френкелем.

Надо заметить, не снимая с себя себя вины, что стихи эти, книги, никому не давались в руки и не перепечатывались — они существовали в одном экземпляре! Их юмор, откровенность и острота в то время, пусть и оттепельное, принесли бы много хлопот скверного толка, не дай Бог, попали бы они в руки бдительных часовых режима...

Но запомнить-то со слуха и записать потом хоть несколько строф можно было! Было...

А что толку теперь казнить... вот покаялся, а легче не стало... Не будет подготовленного экспромта... только многоточия и обещание, если удастся достать Амбарные стихи Ильи Френкеля, непременно их представлю публике... А пока... Один из друзей пытается издать хотя бы малую толику их... да большая часть неизвестно где... семья расползлась после смерти поэта... Архив? Не знаю, как им распорядились... думаю и слышал, что не очень бережно... так бывает... к сожалению...

А пока... приходится только удивляться, сколько людей знает Илюшу... по-моему, все... Так оно и есть, потому что «Давай закурим» для всех родная... а писатели... ну, он из стариков,

в журнале «Знамя» поэзией заведовал несколько лет, и опять — песня! Каждый бы под такой подписался...

Ребе — учитель. Но Илюша не учит. Он — наставник. Но не наставляет. Живёт. Если тебе повезло быть рядом и наблюдать как, — это твоя школа литературная, твой университет жизни. Близких часто раздражает его неумение добиваться чего-то для себя при его-то положении, имени... А он так живёт — несуетно, неспешно, кому-то же кажется — равнодушно. Нет. Равнодушные люди не пишут стихов... таких...

Однажды смерть за мной придёт —
 Нагнётся над страдальцем.
 А может, издали проткнёт
 Своим чугунным пальцем.
 Я не взмолюсь, не возропщу —
 Ведь это не поможет,
 Я просто
 Смерти возмещу
 За каждый день,
 Что прожит.
 Я заплачу за всё, что взял
 (А взял я очень много!),
 За всё, что можно,
 Что нельзя,
 За всё пусть взыщет строго.
 Во-первых, за мои стихи —
 Там смерти доставалось.
 Была там пропасть чепухи,
 Но и веселья малость.
 И, во-вторых, за все пути,
 Исхоженные мною:
 Когда б не смерть,
 Я мог нести
 И тяжесть за спиною.
 И нёс. И если тот мешок
 Не так давил на плечи,
 И грудь не резал ремешок,
 И шёл я многих легче, —

То это значит: смерть моя
Ко мне благоволила,
Иначе б втрое на меня
Старуха навалила...
Пошёл я правильным путём
И о расплате помнил,
И смерть мою
Мужским чутьём,
Как женщину, я понял.

Темперамент невозможно подделать — он так писал, потому что так жил, имел свой отсчёт времени — поэтический, имел свои весы для ценностей жизни, свой взгляд из неизбежно-прошлого в завтра...

Поэтому когда было совсем плохо и в панике драпающих частей Красной Армии больше говорили о спасении, чем о «завтра», он написал, укрывшись плащ-палаткой от дождя, лёжа на земле под телегой, страдая от отсутствия курева, а потому ещё пуще кляня проклятую войну и немцев:

А когда не будет фрицев и в помине...

Именно так читалась эта строчка... это потом в угоду политическим резонам её переделывали и «облагораживали», и исполнители под нажимом реперткома, и редакторы под надзором комитета по печати и ЦК... Это приводило Илюшу в крайнее раздражение, которое даже ему плохо удавалось сдерживать...

А когда не будет фрицев и в помине
И к своим любимым мы придём опять!

Далеко на юге, в Одессу никак не прорваться, и есть нечего, и стрелять нечем, и подчиняться неизвестно кому... а он уже не мальчик, не семнадцатилетний романтик — отрезвевший от кровавой мясорубки, он уже тогда — ребе — верил своему поэтическому чутью и всем сердцем писал так просто и точно, что нельзя было не поверить:

Вспомним, как на запад шли по Украине,

— он уже тогда освобождал от захватчиков родную свою
землю... —

Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

Вспоминать! А за этим простым словом стояло огромное
будущее!

Будем вспоминать! Значит, жить, мыслить, писать!..

Газета не хотела печатать стихи. Нужны были призывы!
А Илюше так хотелось курить!.. Черт возьми, философия жизни
в её простых радостях!

Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах
Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить.
Вспомню я пехоту, и родную роту,
И тебя — за то, что дал мне закурить.
Давай закурим, товарищ по одной,
Давай закурим, товарищ мой!

Было ещё, кажется, в четвёртой строчке рефрена «ты». (Во всяком случае, некоторые исполнители пели именно так.)

И тебя — за то, что *ты* дал мне закурить.

Таким стихам не важна публикация. Они расходятся быстрее звука, быстрее «кукурузника» перелетают с фронта на фронт...

Он так жил. Вроде буднично. Совсем без суеты. Совсем. Он так писал. Ещё чуть-чуть и... там вульгарная простота, пустота, неправда, «клюква»... но только поэт чувствует это «чуть-чуть» — оно, очевидно, и определяет меру мастерства и суть искусства!..

Песня, песня... нет песни без музыки...

С композитором Модестом Табачниковым я познакомился чуть позднее, чем с Ильёй Львовичем Френкелем. Жил он в замечательном доме, о котором я писал уже не однажды, в доме купца Ниринзее, в самом центре Москвы, на углу Тверской и Тверского бульвара, где поставлен был памятник великому

гению России... Александр Сергеевич перекочевал потом на противоположную сторону Тверской, так и не понятно, зачем, как и многое в ту эпоху... И жильцы этого дома кочевали... уезжали... приезжали... Это любимое место москвичей — Пушкинская площадь... а для меня многократно больше... столько друзей жило в окрестных домах, столько событий жизни связано с этим местом... Уж порой и самих зданий, домиков не стало, их снесли безжалостно, как аптеку на противоположной стороне бульвара, в которую по преданию обращался Пушкин... зачем снесли? Почему? Иваны, родства не помнящие, строили «новую жизнь», выкорчёвывая память о дорогом прошлом? Не вышло. И не построили ничего, и память осталась...

Модест Ефимович написал музыку, тоже не сидя за роялем, и не дома — все воевали... Примерно в одно и то же время и газета фронтовая со стихами к нему попала, и список стихотворения, записанный с чьих то слов. Списков этих было множество, потому и разночтений строчек не счесть. До сих пор. А уж потом «по воздуху» песня с музыкой вернулась к Илюше... Что так «зацепило» Табачникова? Он тоже страстным курильщиком был, одессит, «юморной», как говорят в народе... Он слегка заикался, и после затяжки, во время разговора, при заминке с какой-нибудь буквой, из него валили клубы дыма, словно он пробуксовывал, как локомотив, трогаясь с места...

Надо иметь много терпения и достоинства, чтобы нести груз популярности такой величины, каков был у этой песни.

Михаил Аркадьевич Светлов как-то публично и весьма раздражённо заметил после славословия очередного выступающего на вечере: «Гренада!» «Гренада!» Как Светлов — так «Гренада!» Будто я больше ничего не написал!» Тут нет правого. А понять каждого можно!

«Давай закурим»... — приглашал и угощал... уж ему было далеко за семьдесят, а он не бросил этой привычки... «сократил количество»... курил смачно, вкусно, не жадно... а про песню ничего не вспоминал, не говорил...

Это по крупицам удалось в разговорах собрать всю историю... что ж он больше ничего не написал? Много известных песен... а стихи, стихи...

Последние лет десять интенсивно работал над мемуарами. «Выдал» более семидесяти печатных листов! Полторы тысячи страниц! Это целая энциклопедия! Скольких людей знал, сколько событий прошёл — в 20-е начал, а на дворе-то уже восьмидесятые были!

Читал эту свою рукопись Илюша охотно (не знаю, как другим) и главное — комментировал по ходу дела. Это было ещё интереснее, потому что чрезвычайно много так никогда и не попало на страницы воспоминаний — большинство персонажей были ещё живы, о чём-то вообще говорить было не след! До вольницы перестройки ещё мы не добрались...

Из печати вышло листов восемнадцать... остальное осталось в рукописи. Эмине-ханум пыталась нажимать на мужа, но он не хотел добиваться, а может, уже не было сил... он уходил медленно, заметно... организм устал, очевидно, редко билось сердце, стимулятор был проблемой... нужен был импортный — читай: хороший... но ведь это он написал «Давай закурим»!.. Всё и всем (смертным) давалось трудно... хлопотал Союз писателей...

Давно приказала жить «комиссия», а я приезжал в этот родной дом со своими горестями и радостями, как это делали многие давние друзья Илюши и Эмине... и учился жить... И всегда знал, где хранится эталон, по которому надо сверять ценность совершённого поступка и созданного тобой, чтобы не оказаться потом, не дай Бог, в разладе с собственной душой. Это — самое страшное для творчества. Так учил Илюша. Ребе. Наставник. Ничего не учил — жил, как жил. Кто хотел и мог, учился у него...

Он и ушёл тихо. Не обременяя никого. Ушёл и всё, как само собой разумеющееся.

Странно устроена судьба. Он, породнившийся со всеми миллионами живущих на пространстве огромной страны, он, живший в каждом её доме, выпивавший и звучащий за каждым праздничным столом, в каждом песеннике, пластинке, кассете в десятках миллионов тиражей, он уходил в последний свой путь, практически без свидетелей!

Я, упаси Бог, никого не упрекаю, не оцениваю, не осуждаю... Я один (!) провожал его в последний путь... были ещё две

незнакомые женщины, сосед, приехавший сообщить, чтобы не ждали ни жену, ни дочь по уважительным причинам нездоровья... даже близкий друг по дороге попал в аварию на своей машине... никого! Не говорю уж о Союзе писателей — ни одна бонза не стронулась с места!

Тихо. Несуетно. Огромный парк за воротами. Дети на велосипедах. Женщины с сумками. Никто не спросил: «Кого хоронят?» Тут ведь увозили каждый день. Жизнь...

И я не искал в ней справедливости. Как учил ребе, наставник. Как жил он сам, считая высшей справедливостью саму свою жизнь.

ИСТОРИЯ ОДНОГО АВТОГРАФА ¹

Память — удивительная копилка, в неё не надо ничего закладывать, она сама коллекционирует безо всякого на то разрешения события жизни, причём иногда совершенно невозможно объяснить мотивы отбора. Порой мелкие, незначительные происшествия запоминаются с такими подробностями, так рельефно, что кажутся повторяемыми наяву сейчас, при воспоминании! Возникает не только само действие, но явно и тембры голосов людей и запахи, запахи — самые верные хранители памяти, неподдельные при любых обстоятельствах и неподверженные никаким срокам...

Я тогда, в первой половине 60-х, пытался издать книгу своих стихов... для взрослых, а «числился» в детских поэтах — вышли уже мои первые книжки для детей, мои песни для детей звучали по радио... В стране всё было плановое, все на учёте, и органы власти, и все остальные организации: творческие союзы, издательства и т. д., подмятые партией, знали, что кому можно, и о каждом гражданине — что кому «положено»... а с моей анкетой, с моей «инвалидностью пятой группы» в издательство «Советская Россия» — ни-ни, в «Советский писатель» — ни-ни... «Московский рабочий», «Современник», «Огонёк» и т. д. — всё то же самое. Почему?.. Это объяснять не надо — и так понятно.

Не хочу отступать от своего правила: никогда в публикациях не называть фамилии недругов, антисемитов... Громко сказать о них: врагов (и не только своих) — всякой нечисти, дабы не делать им паблисити... Имена многих «этих» давно забыты (и слава Богу, по праву), чего же возрождать их... и так на земле довольно сора и гадости...

¹ Все стихи Б. Слуцкого приводятся в его авторской редакции.

После просмотра московского списка издательств под рубрикой «ни-ни» осталась «Молодая Гвардия». Она не то, чтобы выпадала из общего ряда, но там была надежда претендовать на серию книжек молодых авторов — «Первая книжка стихов», или что-то в этом роде... а взрослой книги, как упоминалось, у меня ещё не было... только книги для детей...

Друзья посоветовали заручиться поддержкой именитого поэта — это, дескать, увеличивало шансы... Советовался с Григорием Михайловичем Левиным, которого давно уже знал по литературному объединению «Магистраль», куда попал благодаря Булату Окуджаве, он называл одно имя — Нина Бялосинская, другое — Николай Панченко, третье... Каждый из поэтов-друзей предлагал другое... Я понял, что это неверный путь: надо решать самому... и по своему разумению, и по своему обычаю: не пользоваться никогда никакими протекциями, взял и позвонил не знакомому мне лично Борису Абрамовичу Слуцкому... Рассказывали мне о нём, и немало, Наум Коржавин и Илья Львович Френкель, мой литературный наставник, с которым я познакомился и подружился после выхода первой моей книжки стихов для детей... Нас тогда, в начале 60-х годов двадцатого, уже прошлого века, всех совсем молодых приветила специально организованная Союзом писателей «Комиссия по работе с молодыми авторами» во главе с Николаем Пановым, известным в двадцатые годы поэтом, писавшим под псевдонимом Дир Туманный... Вот Илья Львович и стал моим литературным наставником... его «назначили», а мне, оказывается, улыбнулась судьба, да как! Это она «назначила» мне друга, с которым связаны несколько десятилетий жизни. Об этом человеке особый рассказ...¹

Я тогда ещё не задумывался, наверное, над тем, что поэт всегда противостоит власти. Любой. Противостоит по самой своей сути. Я же имею в виду не тысячи чертящих на бумаге слова столбиком и громко именующих себя, разговор-то о Поэте! Власть — это регулярность, расписанность жизни, поэт — вольность и непредсказуемость. Власть никогда не понимала и не поймёт поэта, его строки — это его поступки, и мотивы их, побуждения ниспосланы непосредственно Всевышним. Власть

¹ Смотри размышлизм «Давай закурим!»

не может допустить, чтобы кто-то существовал неподконтрольно ей и поступал не по её правилам, даже думал по-своему... Тогда я ещё не сформулировал бы так своё понимание Поэта, но, конечно, подспудно чувствовал именно так...

Я позвонил Борису Абрамовичу. Он сам взял трубку, внимательно выслушал мои сбивчивые слова и спросил, когда я наконец умолк:

— Как ваше отчество? — чем поверг меня в полное смущение. «Какое там отчество, — думал я, — у меня, мальчишки... Сейчас и «пошлёт меня», а это для «вежливости», — мгновенное такое размышление — искра. Я, конечно, пролепетал отчество, и тут же был им поименован, а следом и получил приглашение приехать...

Тесная прихожая, Борис Абрамович в толстой бумазеевой ковбойке с синими и серыми квадратами... рубашка очень шла ему, была в тон красивой сидящей шевелюре... его не улыбочное лицо... и серьёзный, внимательный разговор... Он прекрасно слушал — так, что возникало желание говорить, рассказывать ему, что-то сокровенное, поделиться сомнениями. Он не изображал интерес к собеседнику, а был пропитан им.

В основном сначала говорил я, а Борис Абрамович задавал вопросы, и они смущали меня, не давали расслабиться... «Почему мне нравится поэт Илья Сельвинский и что мне нравится у него?» Я не думаю, что это был экзамен... может быть, он пытался настроиться на мои стихи, которых ещё не видел. Папка с рукописью книги лежала перед ним... мне показалось невежливым выставлять встречные вопросы... Я был «не в своей тарелке»... никак разговор не получался... Мы сидели рядом, за его письменным столом... и стопки листов, исписанных, испечатанных, были навалены тут ворохом... Книги, книги смотрели на меня со всех сторон... десятки малоформатных сборничков стихов разных поэтов... Я мечтал о такой книжке... и по мере разговора всё сильнее звучали во мне строчки Наума Коржавина:

Но куда же я врзался —
Оглянуться пора.
Уж в годах, а как в юности —
Ни кола, ни двора,

Ни защиты от подлости,
Лишь одно, как на грех,
Стаж работы в той области,
Где успех не успех...

Я уже плохо слышал собеседника и думал только об одном: поскорее уйти... И не то что бы жалел, что пришёл, но был внутренне не готов что ли к такому разговору. А чего я хотел?.. — У меня ответа не было...

Рукопись осталась у Бориса Абрамовича. Мы сговорились встретиться через две недели...

Пришёл, но уже не был в такой лихорадке, как в первый раз, и мог осмотреться внимательнее: книги, книги, книги... и в прихожей полки, сбитые, как у меня, а на них в ряд многие знакомые корешки... и полки со стеклами, «чешские», как у меня, и в них опять-таки многие знакомые корешки... И глаза поэта... Он не снисходил, не мимолётно встречался с совершенно чужим человеком, он смотрел на меня с такой глубины, откуда лучи идут, не разбегаясь веником, а концентрируясь в пучок, в одну точку... Я робел, честно сказать, под его пристальным взглядом. Мне вдруг совсем не без оснований показалось, что он к моим стихам относится много серьёзнее, чем я, и что он видит там, в моих строчках, больше меня... и больше меня самого их понимает, и больше меня переживает за то, что они не публикуются, не пробиваются, а я не могу сам сделать то, что необходимо...

«Почему вы обратились именно ко мне?» — в лоб спрашивает Слуцкий. И что ответить? Долго рассказывать, что мне его стихи по сердцу, а некоторые просто в сердце... что «Лошади в океане» каждый раз заставляют меня плакать. (И до сих пор!) И я уйду в его строки, как только о них подумаю, помимо своей воли, немедленно...

Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.

«Глория» — по-русски — значит
«Слава», —
Это вам запомнится легко.

Шёл корабль своим названьем гордый,
Океан стараясь перевозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья всё ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Я не слышу, что мне говорит Борис Абрамович. Я в хаосе
и ужасе взрыва... я там среди коней...

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотках?

Тут мне уже совершенно не до встречи. Я плыву с ними...
который раз... мне очень неловко... но я не могу ответить на
слова Слуцкого — я его не слышу...

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.

Тут уж и вовсе не до разговоров, и я не могу прервать его
стиха у себя внутри — я там с лошадьми, в трагедии:

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Ком в горле и слёзы катятся... уже не оторваться... я тону
вместе с ними который раз, безо всякой надежды спастись...

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и всё. А всё-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

Мне неловко за свою впечатлительность... Я не знаю,
что ответить. Я молчу. И Борис Абрамович молчит. Потом, после
долгой паузы, он спрашивает, как бы извиняясь.

— А вы не думали, — говорит Борис Абрамович, — что моё
заступничество, хлопоты мои могут только навредить вам? —
это меня совсем огорошивает — это как же?... Ходатайство
Самого́ Слуцкого!

Это какой же Слуцкий меня спрашивает? Который написал:

Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать,
Надо проверять — и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.

Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и денег
К жизненному опыту
Не принадлежат.

Да это... это... же Слуцкий... И вдруг я вспоминаю, как в
один из моих приходов в редакцию журнала «Пионер» Сонечка
Большакова, литературный редактор, даёт мне несколько из-
мятых, сложенных листочков со стихами — только почитать. Тут.
В редакции. В комнате. Никуда не отходя... Стихи эти Бориса
Слуцкого... они их у себя в журнале «пробить» не могут... к сожа-
лению... Я это вспоминаю...

Но просить за других, унижаться, терпеть,
даже Лазаря петь,
даже Лазаря петь и резину тянуть,
спину гнуть,
спину гнуть и руками слегка разводить,
лишь бы как-нибудь убедить,
убедить тех, кому всё равно, —
это я научился давно.
И не стыд ощущаю теперь, а гнев,
если кто-нибудь, оледенев,
не желает мне внять, не желает понять,
начинает пенять.

...Я вспоминаю это и чувствую, что начинаю уметь, взрослеть что ли... И я начинаю дико гордиться, что пришёл к Слуцкому... именно к нему! Судьба привела! Да какое это имеет значение, что «навредит»!.. И вообще, мои стихи... разве в этом дело, если сам Слуцкий мне говорит такие вещи... ведь не всем же, ну не всем!.. Бог ты мой!..

— Борис Абрамович! — у меня от волнения горло пересохло... Сейчас, сейчас я сформулирую ответ, сейчас, минуточку... и всё скажу ему... Что я всё это знаю, что он прав, что Эренбург первый читал стихи его ещё во время войны и восхитился, нет! — поразился зрелости и силе написанных в ученической тетрадке строк... Я ведь знаю всё это.... Вот, оказывается, откуда у меня к нему тяга... как же я не скажу ему этого?! Это важно! Но я совершенно не в состоянии говорить. Говорит Слуцкий...

— Знаете, что я вам скажу — он медлит... — Это лучше по крайней мере половины того, что издаёт «Советский писатель» и двух третей... да нет — куда больше того, что печатает «Молодая гвардия», но не в этом дело. Они (он упирает на это слово) не издадут вас. Поверьте. А моя рука вас не вытащит... потопит... подумайте... я не хотел бы... чтобы это случилось...

Отчего в мире столько солнца? Я должен быть убит и огорчён донельзя! Отчего же в мире столько солнца?

Я читаю Солнцу Бориса Слуцкого:

Нет, всё не всунешь в схему.
И как бы ни совали,
Рублёв,
 приявший схиму,
Невером
 был едва ли.
Он на колени падал пред
В начале бывшим
 Словом,
И мужиков искать не след
В архангелах Рублёва.
А Спас его не волопас —
Начал труда носитель —
А просто: Спас,
 Спас,
Спас
(По нашему спаситель).

Пожертвуем ещё одним
Безбожником возможным —
Ведь голубь-дух
Летал над ним,
 Смирненным,
Бестревожным.
Нет, не носил Рублёв пиджак
Под иноческим платьем!

(А с господом мы кое-как
И без Рублёва
 Сладим.)

И крамольная мысль приходит вдруг в мою ещё забитую всяким мусором голову: «Стихи-то существуют сами по себе! Совершенно независимо от того, напечатаны, или нет! Стихи это... это... те самые листочки с почерком и пометками, перечёрками Бориса Слуцкого... стихи... стихи это... это, как дождь... как снег... с неб... как солнце, наконец!» Я в метро достаю из своей папки с рукописью подаренный сборник стихов Бориса Абрамовича...

такой по виду, о каком я мечтаю: небольшого формата, в твёрдой обложке... «Сегодня и вчера». Открываю и разглядываю его автограф на титульном листе синим цветным карандашом:

«Михаилу Садовскому — в твёрдой уверенности в том, что он достаточно умный человек, чтобы поумнеть.

Борис Слуцкий»

Вы правы, Борис Абрамович! Я поумнел. Точно...

Книжку мне тогда так и не издали. Вы правы были... но стихи стихами остались... мне эти строки для вас Бог послал:

На войне выживает не лучший —
Врали зло, не жалея труда.
Мне Борис Абрамович Слуцкий
Жизни важный урок преподавал.

По фронтам не ходил он с блокнотом,
Был в бою от звонка до звонка,
Не поэта помнила рота,
А товарища, фронтовика.

И когда приходилось туго
В Цэ-Дэ-ЭЛ-овской¹ смрадной пыли,
Мне картинно протягивал руку,
Чтобы видеть подонки могли.

Не по имени лишь, но и отчеству
Называл, перекрыв голоса...
Знал, как сжаться в комок здесь хочется,
Что чужая здесь полоса...

Прикрывал новобранца верного,
Встав навстречу атаке лицом,
Потому что он с сорок первого
И в поэзии был бойцом...

¹ ЦДЛ — Центральный Дом литераторов

ЛЕТЧИКИ

*Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну!
Ты — вечности заложник
У времени в плену.
Б. Пастернак, «Ночь»*

В раннем детстве все летают во сне. У некоторых эти полёты затягиваются на всю жизнь — они становятся летчиками.

Я тоже летал в мальчишеских снах, мечтал стать пилотом. Самая романтическая профессия привлекала очень многих в середине прошлого века, когда авиация набирала высоту...

Теперь оглядываюсь и понимаю, что не надо удивляться — вся моя жизнь прошла рядом с лётчиками, переплелась дружкой с ними, хотя специально не выбирал друзей по профессии, как вообще друзей не выбирают...

Первая «самостоятельная» елка, добытая в лесу... наверное, контрабандой... Сосед, дядя Серёжа, Ленкин отец, в настоящих лётческих унтах, заправленных в них серого цвета толстенных штанах и лётческой тужурке, отороченой мехом, с узким стоячим меховым воротником, со шлемофоном на голове и тянущимся от него вниз чёрным кабелем с фишкой соединения на конце! А рукавицы: огромные, ясно, что теплые... Вижу всё, как сейчас! Он был для мальчишек округи — Герой! Не знаю: летал ли или был в аэродромной службе... Да какое это имело значение! Война только-только закончилась, а он прибыл как раз к Новому году откуда-то с Севера, и пахло от него не морозом (у нас и своего хватало в избытке), а бензином, машинным маслом, табаком, шоколадом, одеколоном — летчиком!

И вот он мне предлагает идти с ним за елкой. Куда? В лес, разумеется, где же берут елки?! И я, обмирая от страха, что засыпает лесник, иду... нет... лечу, фантазируя на ходу, ступая за широкой спиной дяди Серёжи и пытаюсь попадать в его следы в глубоком снегу, мешая действительность с вычитанным из книг... о вынужденной посадке, о дороге «к своим» через непроходимые снега и льды неизведанного Севера...

Это первое, лёгкое прикосновение к мечтаемому, далёкому, тянущему парению, полёту... И на обратном пути ёлка эта, на плече дяди Серёжи, и его запах, и улыбка, и ощущение счастья и доброй силы — на всю жизнь, через десятилетия... Невероятное могущество памяти, превращающее в счастливого человека мальчишку!!!

Мне кажется, что кроме мальчишеской тяги к небу, остающейся на долгие годы, порой на всю жизнь, в людях той поры, может быть, бессознательно, присутствовала вера, что там, в небе, оторвавшись от ужасов грешной земли, они обретают ту свободу, то счастье, для которого рождены, по словам классика... «Человек рождён для счастья...» Не слепые же были все поголовно, неужели не видели, что происходит вокруг в стране! Не верю в это!!!

Паровозостроители Коломенского завода в середине тридцатых отправили в ЦК партии письмо, они предупреждали о возникшем в стране культе личности Сталина, никто (!) из ЦК комсомола Косарева не подписал на себя клевету даже под пытками... Да! Они погибли! Но ВИДЕЛИ И НЕ МОЛЧАЛИ!!! Уверен, что миллионы видели и молчали, задавленные страхом и не готовые бороться, не воспитанные с детства в стремлении к великой ценности — СВОБОДЕ! Обманутые обложной пропагандой... Да, что говорить — всё это описано десятки раз и доказано... Но вот оно, небо! И там свобода!

Лётчик оваян романтикой полёта, двигателя, защиты всего, что дорого на земле, и он (о, самообман!)... он может оторваться от земных дел! Не запачкаться в грязи и крови, в которые погружена страна светлого будущего, в которых утопает планета, не готовая к стремительному вторжению цивилизации, а может быть, и не понимающая как следует, что это такое...

В начале 80-х при странных обстоятельствах я познакомился с замечательным человеком...

Дело было летом, занимался я в своей «подмосковной деревне» совершенно будничной работой: стоял на крыше обширного навеса и ремонтировал её. Заскрипела и отворилась калитка, она вообще никогда не запиралась, в неё буквально вплыл человек в военной форме при полном параде сверкающих и позванивающих наград с погонами полковника-лётчика. Я с «высоты полёта» сразу определил, что вижу его первый раз, и подумал, что человек ошибся адресом. Нет. Он совершенно точно назвал моё имя — как раз я ему нужен, а нашёл он меня по рекомендации Генриха Борисовича Гофмана, тоже лётчика, Героя Советского Союза и замечательного писателя, уже всколыхнувшего страну своими публикациями в «Комсомольской правде» о таганрогском подполье в годы Великой Отечественной войны... Но сомнение меня не оставляло... С Генрихом Гофманом я, конечно, был знаком, но абсолютно уверен, что это какая-то ошибка, потому что Гофман не знал адреса моей «загородной резиденции»...

— А очень просто! — объяснил мне пришедший. — Кто-то где-то мне подсказал, что вроде вы в этом посёлке живёте, а не в модном писательском Переделкино, я и поехал — на удачу! Ну, а здесь-то... — пояснял дальше полковник мне, уже спустившемуся с крыши, — здесь совсем просто: со станции в милицию, а там даже фамилию вашу не спросили: «Писатель, — говорят, — так это у самого леса на опушке». Их старшина и подбросил на «козле»...

Мой новый знакомый оказался очень интересным человеком: полковник-лётчик, Герой Социалистической Чехословакии, почётный гражданин чешского города Равва-Русска, который он освобождал от фашистов во время войны, заместитель начальника крупного авиасоединения и... писатель. Он писал о том, чему отдал всю жизнь: об авиации, о лётчиках, и привёз он мне огромную рукопись — около восьмисот (!) страниц о судьбе знаменитого одесского авиаполка, по-моему, девятого (историки извинят возможные неточности, мной допущенные) и его лётчиках, чтобы я её отредактировал.

Честно говоря, это никак не входило в планы моей литературной работы, ну никак! Но устоять под напором моего гостя,

Дмитрия Яковлевича Зильмановича, никто не мог! Он был обаятельно непобедим, по-детски обидчив и бескорыстно, заражающе предан своему авиационному делу, если можно так сказать. Просто не мог жить без авиации, и все книжки его связаны с ней. Весь свой тяжеленный, огромный (от плеч до пояса) иконостас наград и парадный мундир он надел (сам сообщил об этом) специально для меня, чтобы наверняка убедить. И оказался прав. Мы с ним очень скоро подружились.

Кстати сказать, он написал потом две замечательные книги: одну — о судьбе Цандера, родоначальника ракетостроения, вторую — о знаменитом лётчике, генерале Дугласе (в Испанской войне), то есть о Дважды Герое Советского Союза лётчике Смушкевиче, в которой рассказал о подлинной трагической кончине этого легендарного человека, предвосхитившего подвиг Мересьева. Его оклеветали в пору, когда «чистили» Красную Армию, репрессировали и расстреляли именно 7 ноября сорок первого года — в юбилейный день Октябрьской революции, в которую верил, конечно, приверженный идее генерал. Палачи тех лет были изощрёнными садистами... Забирали Смушкевича из госпиталя, в котором он лежал, предложили носилки, но руки мерзавцев не коснулись его — он сам пристегнул протезы и на костылях отправился в свой последний трагический путь. Только благодаря огромной популярности в Латвии Дмитрия Зильмановича эта книга увидела впервые свет там (хотя и с купюрами) в переводе на латышский, и лишь в начале перестройки её удалось издать на русском с восстановленной заключительной главой, где и рассказывалось о последнем пути Смушкевича... Но то всё позже...

Рукопись, которую оставил мне мой новый знакомый, была одна из первых литературных работ Дмитрия Яковлевича. Пришлось ему попотеть... и мне вслед за ним. Свою же работу я вынужден был отложить...

А вскоре после этого, когда его книга уже вышла из печати, Зильманович вдруг, так же без предупреждения и звонка, появился в моей московской квартире...

Он привёз мне огромную, толстенную книгу, выпущенную в Израиле, в то время по определениям советской пропаганды «враждебной империалистической стране, насаждающей

сионизм в мире». Эта книга называлась «Евреи — Герои Советского Союза» (может быть, опять же ошибаюсь в точном названии... столько лет прошло).

Дело было вот в чём. Зильмановича вызвали в ЦК партии, вручили вышеназванную книгу и попросили быстро написать «нашу, Советскую» на ту же тему. Быстро! Чтобы враги не могли упрекнуть Советский Союз в... что тут объяснять?! Чтобы доказать всему миру, как ценит евреев советская власть, как их награждает высшими наградами... и т. д.

Не по душе мне было всё это. Я испытывал неловкость от этой профанации, от этой игры бесчувственных истуканов судьбами людей... мне было внутренне стыдно, будто я совершал этот чудовищный подлог... Война унесла столько членов нашей семьи, столько!.. Она нам так переломала всем биографии, она и до сих пор никак не отпускает ни наши тела, ни наши души... а власть так изощрённо и бессовестно притесняла евреев...

Я отказался помогать Дмитрию Яковлевичу писать рецензию на эту книгу и составлять план и заявку на новую, заказанную ЦК... Не одолело меня ни его обаяние, ни его убедительные речи, что это поможет в борьбе с антисемитами, что они увидят, как воевали евреи! В процентном отношении, мол, герои-евреи на втором месте после русских... Это меня совсем добило...

Статистика, конечно, наука убедительная и полезная, но, очевидно, не для моей раненой души...

А Дмитрий Яковлевич взялся за дело. Власти росчерком пера открыли ему доступ во все архивы, и он нашёл в полтора раза больше героев, чем приведено в израильской книге, и семнадцать полных Кавалеров Ордена Славы, и... Он кипел, он работал, как каторжный, перерывая горы личных дел, он таскал шоколадные наборы помогавшим ему девочкам-архивариусам во все архивы. Он непрерывно звонил, приезжал, показывал, рассказывал о невероятных подвигах людей, ездил по адресам вдов и потомков погибших... короче говоря, это мог выдержать только Зильманович!

Но вот что потрясло меня больше всего в его рассказах. Многие его «персонажи» отказывались категорически от упоминании их имени в его книге! Не из скромности, увы, нет. Они не хотели, чтобы люди знали, что они евреи! Звание Героя

Советского Союза как бы давало индульгенцию! Герой как бы терял национальность! Он был Героем страны, России, в общем-то, как ни крути, для всего мира — России!

Более того: Зильманович судил по законам той страны, против которой фактически затевалась новая книга (именно так: не ради того, про кого она писалась, а против «той» книги!) Мол, мы-то лучше знаем и ценим своих евреев-героев, а в Израиле, как известно, евреем считается тот, у кого мать еврейка. Но полукровки отказывались от своей принадлежности, а потомки погибших и вовсе слышать об этом не хотели... для них их семейный герой был козырем в борьбе с определённым образом настроенной властью, и самым лишить себя этого козыря никто не хотел! Вот ведь как...

Зильманович держал в голове десятки имён... он рассказывал историю за историей, сам поиск стал сюжетом замечательной ненаписанной (к сожалению) книги, количество фамилий нарастало, а книга не увеличивалась в размере — отказ следовал за отказом...

Страх правил страной. И герои, и их потомки не стыдились, что боятся!

Я был тогда страшно подавлен.

А сейчас, думаю, не зря вспомнил об этом...

В поисках героев я помогал иногда Дмитрию Яковлевичу. Например, ездил с ним в Звёздный городок к Георгию Тимофеевичу Береговому, очень рад был такому знакомству с интереснейшим человеком, он тогда был начальником Звёздного городка. Незадолго до этого в газете «Правда» появилась статья, в которой я, к своему удивлению, прочитал, что у космонавтов есть такая традиция: собираться у камина и петь любимую песню «Не за огонь люблю костёр — за тесный круг друзей!» Конечно, автор не упоминался, но я-то его хорошо знал, поскольку сам написал эти строки!

Дмитрий Яковлевич принёс Береговому написанное к книге предисловие, поскольку «раскопал», что многие космонавты — евреи, а вместе с полукровками в те годы он насчитал таковых больше двадцати!

Береговой искренне (так мне показалось) удивлялся и «подначивал» за такую «проницательность» Зильмановича,

которого хорошо помнил ещё с войны: «Ну, Дима!.. А помнишь?..» — вдруг обрывал он себя. И дальше шли воспоминания. Фронтовые. Бесконечные. Дорогие сердцу, особенно когда ими можно поделиться с товарищем, воевавшим рядом...

Толпились офицеры в приёмной, ожидая вызова в кабинет, а мы провели в интересной беседе с Георгием Тимофеевичем целых полтора часа! Он даже за голову схватился! Время пролетело незаметно!.. Но не безрезультатно... Подпись под предисловием стояла. И дата...

«Я ничего не умею, — говорил мне Зильманович. — Только летать! Я ни цен не знаю, ни трудностей «достатать»... — ведь страна жила в непрекращающемся дефиците... — Вся жизнь прошла в казарме. Форму выдавали, в столовой кормили, самолёт заправляли и горючим, и боезапасом... Я служил Родине, жил в небе... всё остальное потом... как в песне, помнишь? «Ну, а девочки? А девочки потом!..» Именно так он напевал...

Однажды мы выступали перед офицерским составом какой-то очень большой воинской части под Москвой... Дмитрий Яковлевич часто приглашал меня с собой «для разбавки» — стихи почитать, поговорить о песнях...

Поднялся молоденький лейтенант: «Дмитрий Яковлевич, а за что вы получили награду Героя Социалистической Чехословакии?» — прямо сказать: ординарный вопрос, который часто задавали... А тут Зильманович вдруг очень густо покраснел, как-то апоплексически, жилы на шее вздулись, я видел, как сжались его кулаки, и глаза неожиданно (больше ни разу не видел) наполнились слезами. Хриплым голосом он тихо проговорил: «За то, что сделал в войну триста двадцать шесть боевых вылетов и остался жив...» Я знаю по его рассказам, что он чуть не погиб 28 мая сорок пятого года во время бомбёжки не подчинившегося капитуляции гарнизона Нассау, где засела большая группировка фашистов...

Я нарушаю хронологию, но дело не в ней — аналогичный рассказ я слышал от Дважды Героя Советского Союза, лётчика штурмовой авиации Талгата Якубековича Бегельдинова. Он по заданию командования искал подходящий аэродром для перемещения. Происходило это уже после 9 мая. Обнаружил

с воздуха подходящую площадку, приземлился, чтобы осмотреть, и... извините, «по нужде» отправился в некий большой сарай на краю поля... Там он находясь в беспомощном положении, услышал сзади некое шевеление и шорох... Как оказалось в темноте, в глубине прятались не успевшие сдать немцы солдаты... Их было несколько десятков! И Бегельдинов с табельным оружием лётчика — пистолетом. Сумел построить, обезоружить и сдать их вызванным на помощь по рации пехотинцам близлежащей части...

Не так начинался его путь боевого лётчика в конце сорок второго года.

Он, курсант Саратовской школы военных лётчиков, писал, как и все остальные, рапорты начальству — просился на фронт! Но ждать пришлось долго, осваивал новую технику — прекрасный самолёт-штурмовик ИЛ-2, о котором он и теперь говорит самыми возвышенными торжественными словами — в любви ему признаётся. Почитайте его замечательную документальную повесть «Пике в бессмертие», вышедшую в Казахстане, совсем недавно — в 2000 году.

Прибыл Бегельдинов в авиадивизию, возглавляемую прославленным ещё до войны Героем Советского Союза лётчиком Н. П. Каманиным. Но не всё получилось гладко и красиво. Майор, командир эскадрильи, в которую определили молодого лётчика, ему откровенно сказал, что татары ему не нужны (для него все люди с раскосыми глазами были татарами), потому что они предатели... Так кричали газеты по приказу Вождя... Некоторые эпизоды жизни легендарного человека, лётчика Бегельдинова, перекочевали в мой рассказ, там изменены имена... это же не документальный очерк, а художественное произведение... Но имя главного Героя, именно с большой буквы, я не изменил... Публично Талгат Якубекович не обо всём рассказывает, иногда по-другому... Может, ещё не пришло время истинной правды на ту землю... не берусь утверждать... Но я с чужих слов никогда ничего не пишу, мой источник — сам Дважды Герой Советского Союза Талгат Якубекович Бегельдинов, и поныне живущий в Казахстане. Благодарение Всевышнему, что заметил его трудную героическую жизнь и одарил самой высокой в мире наградой — долголетием...

Познакомились мы с ним неожиданно, или случайно, в городе Фрунзе, потом ставшем Бишкеком, и наконец теперь обретшем истинное своё имя Пишkek. Я прилетел туда на Всесоюзный слёт школьников почётным гостем (так повезло) за свои песни, которые пели ребята. Самолёт опоздал. Машина меня уже не встречала. Я добрался до города, бросил вещи, конечно, как оказалось потом, не в той гостинице, где должен был жить, и сразу побежал на стадион, где происходило торжественное открытие. Вот там, на трибуне и познакомился с другими почётными гостями, когда их представляли: Дважды Герой Советского Союза Бегельдинов Талгат Якубекович и лётчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Константинович Коккинаки!

Ого! Ради того, чтобы с такими легендарными людьми познакомиться, стоило лететь хоть куда!

Прошло открытие, Бегельдинов быстрый, маленького роста, складный с раскосыми глазами — «живчик», тут же выяснил, почему я опоздал, почему меня не встретила машина, почему я живу не по штату и т. д. Он же где-то достал шофера, поехал со мной за вещами — всего-то одна сумка на плече, выяснил, что я не завтракал, конечно, и потащил в буфет в роскошной гостинице с необъятными номерами, где мы теперь вместе жили... Ох, и умели власти пускать пыль в глаза! Слёт-то Всесоюзный!

В буфете уже ждал Коккинаки... было рано... поесть было нечего... а выпить... «Остограммимся!» — провозгласил Бегельдинов. Я даже не сразу понял смысл слова... Выбор напитков был фантастический! Киргизский крепчайший бальзам — густой, тёмно-бурый, настоящий на сорока восьми горных травах, шампанское и ананасовый сок. Всё. Но оказалось, что справедливо: главное не что, а с кем... Через полчаса Бегельдинов взял меня за плечо: «Пойдём сфотографируемся со мной, — и я ничего не понял. — Тут не далеко...»

Мы завернули за угол и на центральной площади подошли к бронзовому бюсту Бегельдинова, какие устанавливали на родине всех Дважды Героев... А он хоть и родился в чистом поле под открытым небом, здесь рос, закончил школу, первый раз влюбился, начал свой путь в авиацию... Так и стоим на фото по разные стороны памятника, глядя друг на друга...

Жил он теперь в другой республике, уже не летал, строил аэродромы, как профессиональный дипломированный строитель, занимал разные высокие должности. Киргизия не приветила его, как и тот майор и по той же причине, хотя дружба народов в стране была объявлена Вождём давно. Мне резонно возразят, что на фронте не спрашивали, кто есть кто (хотя не стоит обобщать, — как видите, не всегда), но... чиновник — это другой фронт... и «та» война давно кончилась... Была в его душе затаённая обида, и только иногда он проговаривался наедине за столом. Он бывал у меня дома, мы любили посидеть на привычной к гостям московской кухне... Тогда он много рассказывал о прошлом. Он много читал, интересовался книгами, много знал... но любимая тема была: лётчики.

Бальзак писал, что талант — это умение восхищаться другими. Бегельдинов рассказывал о тех, кем восхищался. Как-то раз зашёл разговор о лётчике, тоже Дважды Герое Советского Союза Султане Амед Хане, и я поинтересовался, как же погиб такой опытный пилот, лётчик-испытатель! Я знал об этом ещё и потому, что случилась эта трагедия под Московской, у города Жуковский, недалеко от тех мест, где я проживал летом, где нашёл меня Зильманович... Как всё близко и перепутано в жизни... Султан Амед Хан, Дважды Герой, был представлен и к третьей звезде... Эти слухи доносились до меня, поскольку рядом жили работавшие в Жуковском в ЛИИ люди... Бегельдинов долго молчал перед тем, как продолжить разговор: «Я думаю, не случайно это... Крымские татары, когда стали активно выступать и требовать, чтобы их вернули на родину... им нужен был авторитетный лидер, чтобы возглавить это движение. Обратились к Амед Хану... Дважды Герой всё же!.. И сам родом из Крыма, из Алупки... Он сначала отказывался... потом дал согласие... и всё... говорят... что подстроили... Отказал самолёт... А летал он, как Бог. Никто так не летал больше. Я не видел. Сравнить даже не с кем. Он родился в небе...»

Больше он никогда не упоминал об этом. Не ревновал к чужой славе — своей хватало.

Уже в девяностые годы, когда стало свободнее дышать, узнал я, что со знаменитым Амед Ханом обошлись не лучше, чем в своё время с Бегельдиновым... После ухода с военной службы никак

не мог он найти работу, соответствующую его лётной квалификации, а мечтал стать лётчиком-испытателем... Но в анкете везде писал в графе национальность — татарин... Да ещё из крымских татар был... Не хочется дальше говорить об этом... выплывает мышиное лицо серого кардинала — идеолога партии... Я знаю, что ощущает человек, когда ему в вину ставят его национальность. Хорошо знаю! Много раз бывал в такой же ситуации, только и разницы, что в пятой графе стояла другая национальность.

Талгат Якубекович часто по делам прилетал в Москву. Оставившись всегда по штату в гостинице «Россия», а ко мне домой мы приезжали не на прикреплённой к нему служебной машине — не верил он этим водителям и не любил, чтобы знали, где он... Что-то неудержимо привлекало к нему людей, хотя он был полной противоположностью тех бравых, непобедимых лётчиков-героев в ремнях и шлемофонах с планшетками и белозубой улыбкой... поселившихся в плохих книгах и фильмах... В маленьких глазках Бегельдинова была прицельная острота, а улыбка действительно увлекающая: зубы ровные, белые... «Слушай, однажды подбили! Понимаешь?! Вынужденная посадка. Вот: мордой об штурвал сознание отключилось, а потом ничего... но зуб обломил... так он зарос теперь от пчелиного маточкиного молочка!.. Я же пчёлами увлекаюсь!..» О своих ранениях, о контузии — никогда не говорил, вообще не рисовался, не был «героем», потому что на самом деле — Герой. Он смеялся тихо, заливисто, будто прихлёбывал чего-то горячего... очень заразительно... и всегда мечтал о небе... «Летел сюда... так захотелось за штурвал подержаться!» Я наивно возражал: «А что не дали бы?» «Что ты! Нельзя! Я бы не стал! С Небом не шутят!»

В его биографии много парадоксов. Например, в 1945 году его, уже Героя Советского Союза, снова представили к высшей награде. В конце войны вышел приказ Главнокомандующего за 60 успешных боевых вылетов на штурмовике представлять пилотов к званию Героя. А у Талгата Бегельдинова их... 307! Сколько же раз он Герой?! И хоть называли эти замечательные штурмовики ЛИ-2 «чёрная смерть» и немцы боялись их досмерти, но пилоты легендарных машин, к сожалению, не дол-

го обитали в небе... смертельно опасной была их работа — на небольшой высоте, всегда под обстрелом врага... «Хочешь, чтоб не сбили, сбивай сам...» Не мне оценивать мастерство и умение Бегельдинова — это дело профессионалов. Да и не видел я, как он летает... видел только, как показывает сложенными ладонями небольших рук маневры, виражи, пики, когда рассказывает о жизни... Это у всех лётчиков — профессиональное... Мы сегодня можем только восхищаться его жизнью, результатом и благодарить за то, что защищал нас, за его самоотверженность и доброту.

В пору нашего близкого общения у Талгата Якубековича появился маленький Талгат, его любимый, обожаемый Талгатик, трагически оставшийся без матери в раннем детстве... Пошёл ли сын по стопам отца... может быть.

Примерно в это же время с композитором Леонидом Афанасьевым мы написали песню с названием из строчек припева: «Награды находят героев, /Герои не ищут наград.» Её записал Иосиф Кобзон, она зазвучала по радио...

Конечно, оказалось Бегельдинов знал Афанасьева ещё по войне! Этого ставшего легендарным человека. И песня получилась про самого автора — это я позже узнал, строчки-то пришли сами, независимо. Афанасьева в конце войны представили к званию Героя Советского Союза, но по недоразумению, а может, злой воле завистников, благо был повод: война-то закончилась, он его так и не получил... стал композитором — известным, популярным, лауреатом Сталинской премии...¹

А Бегельдинов очень гордился, что из лётчиков получаются такие знаменитые люди: Леонид Афанасьев — всенародно известный и любимый композитор, Марк Галай — прославленный лётчик, потом лётчик-испытатель с его прекрасными книгами, стремительно покорившими, я бы даже сказал, обаявшими всю страну, и искушённых читателей особенно! «Испытано в небе» так просторна и многослойна, как небо и облака, но она о земных страстях и делах... Филипп Пархоменко —

¹ Не пишу здесь подробно об этом легендарном человеке и моём друге, потому что ему посвящён размышлизм «Герои не ищут наград».

лётчик, а потом солист тенор в Большом театре! Я много раз его слушал в спектаклях: замечательно он пел!.. Кстати сказать, с Леонидом Афанасьевым в одной эскадрилье служил! Сумели талантливые люди и в мирную жизнь вырасти!

После знакомства с Зильмановичем я узнал, что он тоже знает всех этих людей! Некоторых очень близко и хорошо... С кем-то учился, кого-то по войне помнит... служили вместе... И у меня сложилось такое представление, что лётчики — это особая большая семья, каста... нет слова подходящего... Люди особые, и слово особое нужно!

...Они вдруг оказались такими ранимыми и мало приспособленными... когда обвалилась власть и наступило безвременье смуты конца восьмидесятых и начала девяностых... Лёня (не подумайте, читатель, что это панибратство, но так все звали Афанасьева. Я — только за глаза, с высшим пиитетом и восхищением. Он меня на «ты», я его — Леонид Викторович...) говорил мне: «Послушай, Миша, как жить? Никому ничего не нужно! Всё деньги, деньги, деньги... а денег нигде не платят! И ничего не заказывают, не исполняют! Ты слышишь, что творится в эфире!»

Он, лётчик, знал, что в небе нет компромиссов, и в жизни они не для всех годятся...

«Новые песни придумала жизнь!» — написал Михаил Светлов, но те, что появились в это сложное время, что в большинстве своём были выплеснуты людьми без полёта... их небо не поднялось из отражения в луже...

Уже нет многих из тех, о ком пишу...

Случайно в Америке услышал по русскому местному радио передачу. О дружбе говорят, пытаются коллективно сформулировать, что это такое: Дружба!

Первый раз в жизни снимаю трубку и звоню в передачу... не знаю, почему, никогда этого не делал... может, близко к сердцу чувства подступили. Также пытаюсь сформулировать: Дружба? Люди — друзья, если за глаза говорят, то же, что прилюдно! А когда тех, с кем дружил, уже нет, о них помнят и называют их друзьями, ведь дружба, как сказал поэт, — «понятие круглосуточное»... Поэтому прошу меня простить, но хочу в эфире назвать своих друзей, и в том числе лётчиков, так уж вышло, что их поче-

му-то много было в моей жизни... И среди других называю имя Леонида Афанасьева, о котором много писал, публиковал... размышлизм тоже... Тогда ведущий Леонид Комаровский перебивает меня и говорит: «Вы дружили с Афанасьевым, а мой отец Комаровский летал с ним!»

Да, вспоминаю я, когда писал повесть о Леониде Афанасьеве, писал и о Комаровском — вот оказывается встретился мне его сын, журналист... может быть, продолжение дружбы?!

После окончания института попал я в конструкторское бюро. Первый, с кем познакомился, был сосед, выглянувший из-за стоящего рядом кульмана и представившийся: Гордиенко Юра...

— Не из тех ли знаменитых, что через океан летали? — поинтересовался я — знал и помнил эту фамилию, поскольку увлекался авиацией.

— А это мой родной дядька! — запросто сообщил сосед.

Ну и ну!

Не по душе мне были бумажки, чертежи, расчёты, вскоре сбежал я ближе к железкам, в лабораторию, в цех.

За соседним столом оказался симпатичный блондин, меня постарше. Познакомились, потом подружились, Олег пригласил меня на день рождения к своей девушке, а в старой московской квартире за столом я оказался точно напротив Михаила Михайловича Громова!!!

Сколько читал о нём, о перелёте с Чкаловым! Как он красиво говорит! Какой язык, жесты!.. Можно его спросить... и ещё раз встретиться... и вопросов тысячи... и его блестящие рассказы, засевшие в памяти ещё ждут своей очереди...

Подозрительные случайности всю жизнь подстерегали меня!

Отец, начавший войну топографом-разведчиком, закончил её в Кенигсберге в составе Первой воздушной армии, он не летал, но... А его ближайший друг с самого раннего детства, Ефим Пескин, вернулся после окончания войны старшим лейтенантом с голубыми петлицами. Он пришёл к нам домой сразу после демобилизации. Больше идти ему было некуда. У него в огне войны и гетто погибло всё — семья, родные, дом... Вот передо мной его фотография с пилотами в кабине бомбардировщика, на котором он летал штурманом...

Рассказы обо всех этих людях, и ещё о многих, связавших свои судьбы с небом, с которыми я встречался на протяжении своей жизни и о которых невозможно забыть, здесь бы заняли слишком много места, но большинство из них стали прототипами персонажей в моих рассказах, повестях, романах... Знакомство и дружба с ними так много значили в моей судьбе!

Всегда полно сердце благодарностью им всем, как бы точнее сказать — за то, что они жили, как жили, от этого в духоте вдруг ощущалась возможность не задохнуться, в падении — суметь не разбиться, в безвыходной ситуации — найти единственный шанс!

И не разувериться в том, что она существует и буднично пишется с маленькой буквы... свобода.

А почему так? За что такое везение... или само стремление в небо уже тоже вознаграждается Богом?! Ведь любому понятно, что не обязательно физически взмыть в воздух для того, чтобы не пресмыкаться и не тыкаться носом в землю в униженных поклонах!

Мне никогда не хотелось писать о глобальных исторических явлениях давнего прошлого не потому, что это неинтересно, а потому, что я не был им свидетелем... следовательно, вынужден был бы рассуждать о них с чужих слов, судить с чужих ощущений — чужих, как бы документальны и «объективны» они ни были... Нет, лишь через свои ощущения прожитых лет, в которые уместились какие-либо явления, через людей, которых я знал именно внутри событий, я понимал и воспринимал происходящее. Размышлял об этом. Так возникают размышлизмы. И если я касаюсь чего-то, бывшего до меня и вне меня, конечно, только ради ассоциаций, без которых творчество вообще невозможно, а уж о литературном творчестве и говорить нечего — всё оно построено на ассоциациях. А если говорить по-моему: на размышлизмах...

Мы вольно или невольно живём по стереотипам. Утром встаём. В праздники гуляем и выпиваем... Народ приметлив, отсюда и мудрость его: если к двадцати не поумнел, к тридцати не разбогател и к сорока не обзавёлся друзьями... ничего этого в твоей жизни уже не случится...

Насчёт первого и второго, по-моему, очень верно. Да и о последнем я бы не стал спорить ещё...

Друзья мои по мере течения жизни почти все отодвинулись... не духовно (иначе не друзья). Кто умер. Кто уехал за рубеж из России. Кто перестал быть другом. А их и так, как водится, мало было. Друзей.

Но иногда наоборот получается. Против всех стереотипов и мудрости народной!? Почему?!

Да не экзаменую я. Спрашиваю, потому что сам не знаю. В размышлизмы пускаюсь. А лучший для меня способ ответить — писать. Вот и пишу о новых друзьях. Действительно, друзья, которых подарила мне жизнь...

Теперь уже виртуальных. Но разве расстояние помеха дружбе!?

Мой размышлизм об Афанасьеве попал в Украину на редакторский стол Ростислава Иванова, бывшего боевого лётчика, прошедшего Афганистан... С этого моего опуса, «тронувшего его сердце», началась дружба... я думаю, настоящая, мужская. Его стихи тоже немало способствовали нашему сближению.

Ростислав, конечно, слышал о многих героях этого «лётного» размышлизма, а я был снова поражён счастливой встречей с лётчиком... Мне просто везёт на знакомство с ними... Для меня слово лётчик давно стало особенным, и по-моему, нет необходимости объяснять почему...

Небо такое огромное! Время так быстро летит! Но всё это, оказывается, умещается в одну корпускулу человеческой жизни...

Спасибо вам, дорогие мои друзья-лётчики! И над грязью мракобесия можно найти чистое небо и суметь подняться в него! Надо только хотеть и верить!

Вы помогли мне. Очень...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Время представляется мне скоплением огромного количества похожего на цементный раствор материала, помещённого во вращающийся барабан — этакую вселенскую время-мешалку. Все мы вращаемся в ней, тонем, уходим на дно, становимся безвестными, а потом поднимаемся вращением лет снова вверх, даже на поверхность, и объявляемся в мире.

Особенно это относится к создателям вечных нематериальных ценностей — я имею в виду прежде всего поэтов и композиторов.

Не умирает — и реально
Лишь то, что нематериально,
А всё — и доброе, и злое
Найдут потом в культурном слое...

Эти строки пришли ко мне давно, но его, о ком сегодня хочу рассказать вам, читатели, уже не было на свете...

Действительно, подумайте: разрушаются не то что дворцы — горы! Высыхают целые моря! Города исчезают, поглощённые водой, песками, джунглями... горят рукописи (прекрасно горят, поверьте), а уж о бренности всего живого и говорить нечего... Но что может произойти со звучащим словом? Если оно живёт в памяти людей — ничего! Только исчезновение всей нашей планеты в сверхдалёком будущем — одна единственная причина превращения этого слова в мёртвую в буквальном смысле тишину.

Простите за длинное вступление — оно необходимо.

Сегодня имя Кирилла Молчанова знакомо только профессионалам и большим любителям и ценителям музыки.

Зато очень многие знают строчки, неотделимые от мелодий: «Вот солдаты идут/ По степи опалённой...» «Парней так много холостых,/ А я люблю женатого...» «Только разведка в пути не поёт,/ Ты уж прости...» «Вальс прощальный, провожальный /Не-легко кружиться в нём...»

А запомнились эти строчки, эти песни, несомненно, благодаря мелодиям Кирилла Владимировича Молчанова — композитора первостатейного во всех жанрах, в которых он работал, — и в песне, и в музыке к фильмам, и в балете, и в короле жанров — опере...

Я не музыковед, не журналист, не биограф — и как же мне создать не портрет и не исследование творчества, как мне помочь вам, дорогие читатели, представить этого человека, эту глыбу человеческого духа, таланта выдающегося и, как водится в мире, недооценённого.

Когда пишешь о художнике, можно показать копии его работ, когда о поэте — его стихи... а вот о композиторе? Ну, не ноты же выписывать здесь, в самом деле... да и зачем...

Давайте вернёмся в заснеженный город, Москву... И ещё нет того бешеного напора машин, от которых белый цвет снега становится чёрным в считанные минуты... ещё есть тишина зимних скрипучих сумерек, и мы идём с Кириллом Владимировичем по свежему настилу, как только что бродили по белым листам, оставляя на них песню...

С Кириллом Владимировичем Молчановым я познакомился «целенаправленно» в пору его бурного взлёта, когда страна пела его песни и по радио, и в застолье, когда шли его оперы на сценах оперных театров, а в драматических театрах — спектакли с его музыкой, и, конечно, его музыка звучала во многих любимых кинофильмах...

Заведующая редакцией издательства «Музыка» Ольга Осиповна Очаковская (тоже, кстати сказать, человек весьма примечательный), знавшая меня ещё со школьных лет не по семейному кругу, а благодаря вокальным успехам, заказала мне несколько песен на школьную тему. Когда стихи были готовы, она прямо при мне, из редакции, позвонила композитору, которого предполагала уже заранее, как она мне сказала, привлечь к работе. Говорили они дружески, она обращалась к собеседнику

на «ты»... я же не представлял его себе — молодой, старый... знал только по фамилии, по фильмам, по операм...

С Неглинной улицы недолгий путь до Студенческой, где жили многие композиторы, в том числе и некоторые мои знакомые... Уверен, что каждого человека можно охарактеризовать одним, ну максимум двумя словами... Мне открыл дверь элегантный и очень собранный человек. Мы были знакомы с ним потом много лет, я достаточно хорошо знаю его творчество, не говоря уж о том самом значительном, что было написано в период нашего знакомства — он был элегантным, собранным и точным и в своей музыке, что придавало стройную направленность его небывалой силы темпераменту, его выдающемуся мелодическому дару...

Чуть позднее, когда я предложил ему сделать что-либо вместе для театра, он категорически отверг это предложение по той причине, что все либретто для своих музыкальных полотен пишет сам... стихи — другое дело, а вот драматургию — только сам... Я раздобыл несколько его готовых клавиров, чтобы убедиться насколько он прав, не обедняет ли свои музыкальные, композиторские возможности, мягко говоря, слабыми, а по правде (как я подозревал), дилетантскими либретто... Нет! Именно то, что он всё писал сам, и создавало удивительное единство произведения в целом — и опера «А зори здесь тихие», и балет «Макбет», поставленные в Большом театре, и замечательный по драматургии и музыке балет «Три карты» по «Пиковой даме» Александра Сергеевича Пушкина... Но это всё много позже.

Я сразу почувствовал его расположение ко мне, больше того, вскоре — дружескую откровенность и доверительность... и (как всегда) ломал голову: за что? И зачем я ему нужен со своими детскими стихами, песнями, кукольным театром, которым тогда увлекался и много для него работал... И не находил ответа... Я в то время бился с Союзом писателей, чтобы стать его членом, ибо отсутствие этой членской книжечки ставило невероятные препоны в издательствах. Вообще ничто официально не подтверждало, что я писатель. Союзу же писателей категорически не нужно было ещё одного «инвалида пятой группы», а Кирилл Владимирович Молчанов совсем недавно был Первым секретарём

Союза композиторов СССР! Он замещал Тихона Николаевича Хренникова, когда тот работал над произведением крупной формы и находился в творческом отпуске. Какая бездна между нами в общественном положении! Отсюда и мой резонный вопрос, на который ответа не было...

Щёгольски одетый, спортивный, видный в любом обществе, я бы сказал, благополучный человек, известный композитор... заслуженно известный... блестящий мелодист...

Мне очень нравилась его музыка...

Прошло несколько лет. Работа была сделана, песни наши звучали и были записаны на радио, изданы... Мы встечались, писали, обсуждали... и вдруг... размолвка...

Все знали, что у него трудный характер, прежде всего, как мне казалось, для него самого... Он старался быть снисходительным и искренне хотел, чтобы все были его уровня... не от гордыни, а как мне кажется, от детской наивной веры, что «каждый так может»!

Возле Дома композиторов в самом центре Москвы есть типичный крошечный скверик, пятачок буквально, вытопанный детишками, нянями и собачками, — это в двух минутах от Центрального телеграфа... Чахлые деревца летом не давали тени, зимой снег буро-серого цвета... но это был своеобразный «музыкальный» клуб: тут, перекрестье дорог в союзы композиторов Москвы, России и страны, соседство консерватории, радио, дома артистов Большого театра и дома, в котором композиторы жили, можно было повидать всех...

Случайные встречи... мы давно не виделись с Кириллом Владимировичем, и я радостно иду ему навстречу, улыбаюсь, но он, видно, чем-то занят, сосредоточен... Не успеваю переклеститься и после обычных «как дела» и «как здоровье» говорю, что надо бы поработать — есть идея... Я ещё ничего не подозреваю... «Вы разве не знаете, что я теперь — директор Большого театра... — и в его тоне раздражение и нетерпение. — Вот, готовимся к гастролям за океан... какой поработать».

Я знаю, конечно, что он — директор Большого театра и что они едут в Америку, знаю... Но отчего мне теперь так плохо, что только провалиться со стыда в тартарары... За что мне стыдно?.. Может быть, за него? Я ему так верил...

Два или три года молчания... Я не биограф... его личная жизнь не предмет обсуждения для публики... это власть придержащие, прячась за стеной, творили, что хотели... Он был для них простым смертным, и с ним расправились публично... За что?.. Любой талант раздражал их, они не выносили чьего-то превосходства, а потому всегда жили двойной жизнью — и в своих речах, и в своих деяниях...

И вот... он уже не директор Большого. Он в опале. Даже соавторы и редакторы, оглядывающиеся на эту власть и стоящие перед ней на двух лапках, отвернулись от него. Не осуждаю их. Но так было... Ему плохо... я знаю это... И снова этот музыкальный пятачок случайных встреч, и Кирилл, проходящий мимо и окликающий меня: «Миша, подождите... — и пауза, — заходите, я теперь живу здесь, вот мои окна на третьем этаже... Давайте поработаем...»

Он действительно живёт здесь, прямо на улице Неждановой, то есть по-старому, по-привычному — в Брюсовском переулке, в торце скверика, в доме, построенном ещё при Станиславском для МХАТовских актёров, и в отмеченной трагическими событиями квартире Василия Ивановича Качалова... У него тут хороший кабинет... и всё рядом... все творческие союзы, концертные залы, Большой театр... и там скоро будет «Макбет», поставленный Владимиром Васильевым — блестящий балет, великолепные исполнители, и, главное, уникальная балерина с неповторимым драматическим, трагическим даром Нина Тимофеева, на которую он и писал заглавную роль... Его жена...

Но всё равно — чем больше работы, тем быстрее затягиваются душевные раны — и я, конечно, откликаюсь на его предположение! Ещё бы — поработать с Молчановым! И мы работаем...

В конце войны он написал песню «Вот солдаты идут» (стихи М. Львовского), и она стала песенной вехой в пути... не его — всей страны... В начале «застоя» он написал вальс «На семи ветрах» (стихи А. Галича), как прощание с той верой, с которой он, как и все солдаты, вернулся с фронта... Он всё никак не мог отойти от войны... В середине «застоя» он написал «Парней так много холостых» (стихи Н. Доризо), и вся страна её запела... В то время было так мало незапрещённых тем... но любовь... это всё же свобода...

Позволю себе небольшое отступление, однако имеющее отношение к теме. Вальс из фильма «На семи ветрах» с первого момента, когда я его услышал, стал моим не то что любимым, но необходимым. Очевидно, как я позднее понял, он стилистически настолько точно передавал настроение, дух того времени, которое мне, к сожалению, пришлось пережить в том возрасте, когда каждое событие глобально. Детские впечатления самые сильные и эталонные на всю оставшуюся жизнь, так вот этот вальс возвращал меня всегда обратно — в голодный, страшный сорок первый — под бомбы и неразбериху разбитых вокзалов. Но как-то так случилось, что не связалось имя Кирилла Молчанова и этого вальса... И когда он мне сказал позднее, уже после многих лет нашей дружбы, что это его вальс, я подивился силе провидения, соединившего мою любовь к этой музыке со знакомством и сотворчеством с её автором...

Вдруг за полночь звонок телефона.

— Сидишь? — спрашивает Кирилл Владимирович совсем молодым голосом.

— Сел... — сообщаю. Смотрю на часы — уже ближе к часу ночи. Значит, что-то случилось...

— Я всё сделал. Написал...

Назавтра я пораньше у него, и он играет мне наши новые песни, но не в том порядке, как они располагаются в сюите, и я возражаю ему...

— Эту на закуску, — говорит Кирилл, откладывая клавиш на пюпитре рояля... — Эту... Знаешь... — он медлит, и всё же, не то что говорит — приоткрывает душу: — После Дунаевского — я король вальса! (Вот тут-то он и наиграл мне вальс «На семи ветрах».) — И вот он показывает мне «Прощальный вальс»: «Вальс прощальный, чуть печальный в длинном платье выпускном...» Совсем недавно он был таким, даже чуть моложе, когда началась война... а что ждёт их, сегодняшних семнадцатилетних выпускников школы, когда они выходят в этот мир, который очень во многом его совсем не устраивает... Недаром и музыку к фильму «Доживём до понедельника» он писал с таким удовольствием и интересом — это была его тема... И снова, как случалось многожды, — из картины вышла песня, которая у всех на слуху... «Журавлиная песня» (стихи Г. Полонского).

Он обострённо чувствовал эпоху и не тратился на пустышки. «Зори здесь тихие» в Большом — это не просто опера в стране, где нет ни одной семьи без похоронок войны и где с годами всё больше и больше люди задумываются: кто же победил и что принесла победа?... Это большие вопросы, не только потому что оплачены кровью, но потому, что написаны кровью новых поколений... Эта опера на сцене самого главного официального театра — событие! Прорыв в атмосфере вранья и болотного молчания!

И вдруг он говорит мне, переходя на «ты», как всегда в минуты самых трудных откровений:

— Вот остался без друзей, — я молчу, ожидая продолжения, зная его... думая, что он имеет в виду утихающую постепенно шумиху вокруг его имени, и вдруг: — Все уехали! — я не могу так сразу включиться, и он настойчиво повторяет: — Уехали, понимаешь?! — вот он о чём?! Я уже включился, я уже захвачен током его мысли.

— А вы что, себе друзей выбираете по национальному признаку? — чуть ехидствую я. Этот вопрос для меня очень важный...

— Ну, так вышло! Я обнаружил, что остался без друзей!!! Все стали уезжать и оставаться там, не возвращаться... Ты же знаешь... Не только евреи, но в основном... Представляешь?

— Вполне, — соглашаюсь я. — Я уже такое слышал... однажды...

— Да? — его удивление так огромно, что я вынужден объяснить: — Польская актриса Эльжбиета Янишевска говорила мне то же самое в Варшаве — когда власть выгнала всех евреев, она вдруг обнаружила, что осталась без друзей...

— Удивительно! — размышляет Кирилл Владимирович, и снова обращается ко мне: — Что это значит?

— Не знаю. Она полячка, католичка... вы — русский... Я не знаю, что это значит... что-то в мире не так устроено...

— Давай напишем об этом...

Он резонировал с болью эпохи. И я вспоминаю, как в штыки ещё в начале его творческой карьеры приняла власть оперу, написанную им по роману Яноша Отченашека, в которой звучал именно «еврейский вопрос»... Для этого произведения не нашлось сцены во всей огромной стране, и тогда премьера её вопреки всем препонам всё же состоялась в Праге... Такое

власть не прощает. Она затаивается, а потом мстит... порой, мелко и больно, не взирая на своё пигмейство по сравнению с тем, с кем сводит счёты.

Но что значит его «Давай напишем об этом»? Не песню же и не хор... Неужели что-то для театра? Я не верю сам себе и волнуясь в предвкушении работы, если... если это действительно так... любой театр был бы рад получить произведение такого мастера для премьерной постановки. Любой. И мы ищем уже вместе материал... тему... и звонки, звонки, звонки... Но всё время что-то мешало осуществлению этого намерения...

Всего несколько раз в жизни встречал я такого книгочех, как Кирилл Владимирович... Он не пропускал ни одной новинки прозы — ему первому оставляли в библиотеке «толстые журналы», он покупал роман-газеты и все серии от фантастики и детектива до шедевров мировой классики, которую и так знал прекрасно...

И опять (сколько сотен их было) полуночный телефонный звонок.

Я понимал, что уже неважно, кто будет писать либретто — для него теперь необходимо было найти материал... в том ограниченном по воле властей пространстве, где он существовал, ему не хватало воздуха, и он должен был, чтобы жить дальше, создать (именно создать) нечто выдающееся, доказывающее его силу, его невероятную высоту...

«Я чувствую в себе столько сил, — говорил он мне, — что необходимо что-то делать... отдать то, что я накопил за жизнь, что умею...» И он искал — то советовался, не стать ли ему художественным руководителем какого-нибудь оперного театра (а такие предложения были) или создать новый (как будто это было возможно), то писал драматическую пьесу о Ленине, а её отсылали на рецензию... в Институт марксизма-ленинизма, и оттуда она возвращалась в красных шрамах (вы бы только видели!) от безжалостного карандаша тупого рецензента — их не устраивала правда об их вожде, а слово «перестройка» ещё не стало индульгенцией для их отступничества и предательства ими же насаждавшихся идеалов, то он писал инсценировку повести Стейнбека (она так и осталась в моём архиве), то...

Он очень сильно переживал, что уже не директор одного из крупнейших театров мира... «Знаешь, — говорил он мне

доверительно, — ведь директор Большого театра по статусу своему без всяких выборов является членом бюро горкома партии, — это была очень высокая общественная должность, открывавшая многие глухие для простых смертных двери... Ему не нужны были мои ответы, только понимание. — Я последний... всё! Теперь это уже не так... Я был последним членом бюро горкома — директором... Знаешь почему? Посмотри, кто там после меня...»

Он понимал прекрасно, что с ним расправились, выбрав удобный повод. Понимал, но не мог успокоиться...

Мне было больно и обидно за него. Он так тяжело переживал своё поражение, что растрачивал на свои обиды душевные силы, отнимая их от творчества, но... я его стопроцентно понимал. Это было будто про меня самого... Я смотрел на себя и возражал: ты сам в своей бесконечной битве с Союзом писателей при таких блестящих рекомендациях крупнейших, уважаемых писателей... ты сам не в той же ловушке, расставленной властью? Ты сам не в той же сети, когда тебя по приказу сверху перестали печатать?.. Значит, они добились своей цели... и надо сделать всё, чтобы помочь другу в трагический час... Мы не говорили высоких слов никогда... но они и не были нужны... В то время слово «нет» стало нашим самым «любимым» в общей работе.

— Нашёл! — звонил мне Молчанов, и в его голосе слышалось ликование...

— Нет! — безжалостно отвергал я его выбор, и чаще всего не требовалось объяснений...

— Нет! — говорил мне Кирилл на предложенный мной материал, и я огорчился, как личной беде, своей неудаче...

В то время все зачитывались новой прозой Чингиза Айтматова, и Молчанов увидел в ней возможность сказать правду о нашей жизни: о высоте духа необыкновенного верблюда, о манкуртах, окружающих нас и строящих ракетодром на могилах предков, может быть, даже о единственной возможности выжить — унести в космос с этой опорощенной людьми планеты... И он снова сам взялся за работу с огромным подъёмом и напором... он торопился...

Я был рад. Я говорил: «Слава Богу»... И не то чтобы надеялся, но как-то примеривался внутренне к тому, чтобы написать стихи для его либретто...

Вскоре он позвонил мне и попросил приехать. Его заговорщицкий вид меня даже озадачил, я чувствовал, что ему хочется сообщить нечто необыкновенное, чем-то сильно порадовать или удивить меня. И он, не выдержав паузы, прямо с порога:

— Я нашёл стихи для оперы! Никогда не угадаете...

— Почему же, — возразил я, — думаю, что это Олжас Сулейменов... а больше и не представляю...

— Вы его знаете? — в голосе Молчанова было не только удивление, но разочарование — сюрприз не получился.

— Поэта — да... конечно... а лично... нет... — я был и рад, и немного разочарован — мне очень хотелось поработать с Кириллом Владимировичем... Серая осень тоже не поднимала настроения... а его ожидала больница — не самая лучшая, не специально для избранных... далеко... На краю города, в большом старом парке, заброшенном ненужными желтыми листьями, где пахло горькой прелью... сыростью... грустью...

Он лежал в палате один... разговор не клеился... Через несколько дней я снова был у него... настроение, как я понимал, у него не улучшилось. Он рвался работать... заговорил об одиночестве... и, чтобы не переводить на себя, вдруг сказал: «Знаешь, кто тут лежит рядом в палате? Утёсов... Представляешь — один... всех схоронил... жену... дочь... Один... В старости мы никому не нужны... Представляешь, сам Леонид Осипович Утёсов!..» Я пытался возражать, но как-то слабо и неуверенно — у самого на душе было скверно... «Ты ещё не поймёшь, ты сопляк совсем...» — и произнёс он это с такой интонацией, как можно сказать только очень близкому, родному человеку...

Кончилась больница, он всё готовился к началу активной работы... Наконец уехал в Дом творчества композиторов в Рузу, под Москвой, он очень любил это место и привык к нему, звонил мне оттуда, говорил, что работа продвигается, и он вроде бы доволен... Однажды через жену передал приглашение на спектакль в Большой — Нина Тимофеева танцевала «Макбет». Накануне позвонил сам и просил за ним приехать часам к трём... пообедать вместе — и на спектакль... Я уже собрался, когда раздался телефонный звонок Ольги Осиповны Очаковской, она тоже была в это время в Доме творчества, — ехать

не надо... кто-то по пути в Москву обещал их подбросить... Кирилл просил прийти прямо в театр... в директорскую ложу...

И... я не пошёл... Спектакль я этот очень люблю и видел до того много раз... И Нина Тимофеева в нём непередаваемо сильно играет, именно играет... эта трагическая роль по её темпераменту... а директорская ложа... нет, я не люблю... директорские ложи... да ещё в такой ситуации... я не пошёл...

В середине первого действия ему стало плохо. Видно, очень волновался... Мартовский ветер восьмидесятых доносил слабый запах свободы... сердце, перегруженное работой над либретто, не выдержало... В антракте Тимофеевой сообщили... что у Молчанова сердечный приступ, потом... сказали правду, что он... скончался... Вызвали балерину на замену, хотя на самом деле не было второго исполнителя этой партии — Тимофеева танцевала эту роль одна...

Она довела спектакль сама до конца... Публика ничего не знала, не заметила... Мне позвонили в тот же вечер во время спектакля и сообщили, что случилось... Нина Владимировна не могла поступить по-другому: этот балет был подарен ей в знак любви... И я знал (она сама мне об этом говорила), что собиралась сделать Кириллу подарок после спектакля: сообщить, что ему присвоено звание Народного артиста России... но... он так и не узнал об этом... Умершим звания не нужны, поэтому их и не вручают...

Такой короткий жанр (не знаю, как его обозначить — это не рассказ, не очерк, не эссе, не статья...) не требует послесловия, но оно возникло само собой. Я просто закончу то своё стихотворение, что начал цитировать раньше...

Ядрёно слово, как зерно,
века легко пройдёт оно
и оживёт, и прорастёт;
одушевлённое живёт
пусть бестелесно, завирально —
одно оно материально!

Я не читал последнего либретто Кирилла Молчанова. Оно, законченное, осталось в Рузе на рабочем столе композитора,

и судьба его мне, к сожалению, не известна. Думаю, что это лучшее из им написанного, он шёл к нему долгим путём трудной жизни... Недаром торопился, что-то предчувствовал... Это его исповедь. И Бог прервал её... зачем?..

Разве человечеству, чтобы выжить, не нужны опыт и прозрения таких гигантов духа?..

ЗА ЧТО МЕНЯ УБИЛИ? ЛЮДИ, ЛЮДИ...

У каждого времени свой цвет. И для каждого цвет времени – «свой». Для меня 30–40-е годы прошлого века красно-коричневых тонов и в чёрной рамке. Это не новаторский квадрат Малевича, это смерть захватила время и давит живое со всех четырёх сторон. И нет исхода. Нет ли?..

Я в Вашингтоне. Ищу Мемориальный музей Холокоста. И встречные легко объясняют мне, где он расположен, — знают. Несложное умозаключение. Символичное знание. Прекрасный солнечный день. Воскресенье. Пляжная погода. Но не чисто туристическая толпа густо заполняет вестибюль, здесь много вашингтонцев, детей. Музей существует недавно, — попасть в основную экспозицию невозможно без предварительной записи, и это тоже символично — только благодаря моему корреспондентскому удостоверению, после длительных переговоров с работниками музея разного уровня удаётся получить разрешение на посещение основной экспозиции, и при условии, что по выходу статьи, она будет отправлена в этот музей.

Им интересно всё, что о них пишут и говорят, всё, что пишут о Холокосте, они исходя из этого строят свою работу, экспозицию, благодаря этому понимают, какого цвета представляется нынешним людям то, уже далёкое, но не покрытое непроницаемым туманом время...

Каждый входящий получает «ай ди» одной из жертв Холокоста... чтобы пройти с «новым» именем весь скорбный путь.

«Этот документ (#7606) рассказывает историю реального человека, что жил во время Холокоста». Так написано на форзаце.

Да. Теперь я — это он...

«Имя: Симха Перельмутер

Дата рождения 1900

Место рождения — Хорошов, Польша

Симха — один из шести детей, родившихся в еврейской семье в городке Хорошове. Его отец был учителем хибру. Симха был выдающимся студентом и после обучения в университетах Швейцарии, Франции и Германии стал профессором философии в университете во Львове. В начале 20-х он женился, и к 1929 году он и его жена Фрума уже растили двух дочерей Тшию и Суламифь...

Здесь, в конце этой страницы, где напечатан «кусочек» «моей» биграфии написано:

«Пожалуйста, переверните страницу в конце 4 этажа, с которого и начинается скорбный поход в прошлое».

Да, я не мог (в силу возраста) быть свидетелем того времени, но знаю его, потому что впитал в себя его дух, выраженный в музыке и науке, в архитектуре и литературе, в живописи и мечтах о познании атома и Северного полюса, о победе над малярией и оспой. Во мне, оказывается, сохранились образы исчезнувшего местечка и провинциальной синагоги, пейсатых ортодоксов и придушенных жизнью молодых людей, стремившихся сбросить традиции, по крайней мере со своих плеч, и вырваться в кипящую жизнь... Может быть, это знание приходит генетическим путём? Может быть, океан разума оделяет меня ощущением духа племени... и не всё мне нравится там. Далеко не всё, и я со своего отрочества повторяю пронзительные и непостижимо прекрасные строки:

Я не запомнил, на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся... но сквозь пальцы рея,
Она рванулась — краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.

И они мне не нравились, эти «ржавые», как и Багрицкому... И они отталкивали меня своей провинциальной пошлой забитостью, и я вместе с поэтом рвался и протестовал:

И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали —
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец —
Всё бормотало мне:
— Подлец! Подлец!

Так и я кричал потом вслед за Багрицким через полвека:

Я стыдился еврейской речи.
Я боялся с ней каждой встречи...

Я — Симха Перельмутер — вырос там.

Но за это не убивают?

Дети этих тёмных людей вырвались в мир и создали теорию относительности, вакцины против болезней, компьютерные языки и основы ракетостроения, написали гениальные картины, великие книги, открыли секреты генетики и космогонии...

Но за это не убивают?

«1933-1939: Симха был сионистом, и в течение 30-х годов он внушал своим еврейским студентам, что они должны эмигрировать в Палестину, особенно после того, как стала набирать силу нацистская партия в Германии.

В сентябре 1939-го, когда Симха подготовил свою семью к эмиграции, Германия захватила Польшу. Три недели спустя Советский Союз оккупировал Восточную Польшу, где был расположен Хорошов. Несмотря на советскую оккупацию, Симха продолжал преподавать в университете».

И это время пришло ко мне с рассказами отца и матери, немногословными и редко вырывавшимися из-под пресса страха (они боялись, чтобы мальчишка не сболтнул чего-нибудь), за рамки того квадрата, чёрного и неумолимого.

Но за это не убивают?

И начался страшный исход под оглушительный рёв восторженных немецких обывателей, приветствующих своего кумира, под брызжащие ядовитой слюной призывы фанатичной пропаганды...

Не будем в который раз пересказывать общеизвестные этапы скорбного пути...

А что же мир? Люди? Разве не знали они, как сверкает «Хрустальная ночь»? Как пахнут горящие книги и древние свитки Торы? Как с грохотом рушатся стены синагог, и звенят стёкла витрин еврейских магазинов? Разве не кричали на весь мир об этом успевшие унести ноги от всеобщей чумы, разве не предупреждали великие творцы, спасшиеся от бесноватого фюрера, чем он грозит миру?

Люди стыдливо молчали. Они откупались равнодушием и чужой кровью...

Но за это не убивают?

Ещё этаж вниз по дороге к аду. Перелистнём же ещё страницу.

«1940-1941: В июне 1941-го Германия вторглась на советскую территорию и скоро достигла Хорошова. Как еврей и учёный, Симха стал предметом преследования германских оккупационных властей. Примерно через неделю после захвата Хорошева германские солдаты ворвались в дом Перельмутеров. Симха увидел, что они идут, и попытался убежать через чёрный ход, но украинские полицаи поджидали его там и арестовали. Симха был депортирован, как и многие известные хорошевские горожане».

В Минске я, восьмилетний мальчишка, шёл пешком от вокзала к своей тётке, вернувшейся на родину после четырёх лет эвакуации, шёл мимо вывороченных и завитых штопором рельсов трамвая, мимо стоящих красными кирпичными листами стен домов, мимо немецких пленных, которые теперь разбирали завалы, образовавшиеся от бомб и снарядов на месте бывших кварталов, шёл мимо ещё не везде уничтоженных надписей, ограничивающих печально знаменитое минское гетто. Окна тёткиной комнаты выходили на Немигу, которая и была одной из улиц, ограничивающих квадрат смерти... а на углу торчала чудом уцелевшая стена дома. Сюда мы ходили с братом по нужде — туалет в доме был невиданной роскошью. Луч карманного

фонарика скользил по надписям, взобравшимся аж до пятого этажа, и все они кричали «Прощай!»...

Мы искали здесь фамилии наших родственников, двоюродных, троюродных братьев и сестёр... больше двадцати их погибло в гетто... Где, в каком?

Сохранить бы этот документ в назидание потомкам, но... стену зацепили тросом за самую вершину и тянули, тянули двумя тракторами, а она не поддавалась! Всё раскачивалась и раскачивалась, и даже изгибалась, не желая сдаваться... Но камень оказался чувствительнее людей, и в красной пыли крошащихся кирпичей навсегда исчезли тысячи имён невинных жертв...

Людям оказалась не нужна эта память.

Но за это не убивают?

И «Яма» здесь же неподалеку, где в одну ночь уложили в ров 5000 евреев... она так заросла, и осыпались её края, и ступени деревянной лестницы погнили... но может быть, от этого стало только страшнее и обиднее... Уже не за них, убитых, — за тех, кто будет завтра!..

Разве благополучные соседи не знали, что делается рядом в дубовом лесу? Там был концлагерь «Бухенвальд»!

Разве униженные поляки не знали, что такое «Аушвиц»? Это там на воротах написано: «Труд делает свободным». Они не знали, какой это труд?

Что, сейчас лишь проснулась совесть детей и внуков тех, кто топил там печи крематориев телами евреев? Они едут сюда автобусами замаливать своим трудом грехи предков... И когда я стоял там перед воротами, а потом ходил по скорбным дорожкам, усаженным цветочками вдоль страшных бараков, в которых лежали горы детских туфелек, снятых с ножек малышей, золотых коронок с зубов их матерей... там не страх терзал меня, а кипучий вопрос: вы же знали об этом, люди?! И молчали! Молчали!

Но за это не убивают?

Нет. За это не убивают. Вы сохранили Бжезинку, женский лагерь смерти, в том виде, как он опустел в сорок пятом... и память так же ветшает и гниёт, и разве не голосом Геббельса кричит се-

годня новый эсэсовец: «Да не было этого ничего, не было! Врут всё те же жида проклятые и нанятые ими журналисты! Не было!»

Было! Я стоял там и слышал их крики! Женщин, чьи ноги тощали до щепок, чьи кости искривляли химикалии, на которых доктора (!!!) учились стерилизовать и наблюдать течение страшных болезней! Было!

Было, как Бабий Яр, ямы в Калитниках в центре Москвы, где стоят дома и устроен Птичий рынок на костях десятков тысяч убиенных, свезенных туда из подвалов Лубянки. Вы не знали об этом? Было и есть.

Но за это не убивают?

И в Израиле, в Яд Ва-Шеме тысячи свечей, тех детских душ, мерцающих в зеркальных лабиринтах, и тысячи деревьев праведников, спасших хоть одного еврея... они разве спрашивали тогда:

Но за это не убивают?

Где те составы, которые приготовил великий вождь страны Советов для депортации евреев, чтобы окончательно решить этот проклятый «еврейский вопрос»? Они на запасном пути? Вы не знаете, что они есть? Разве? Отчего же безнаказанно призывает готовый на всё ради карьеры новый бесноватый из российской Думы (под молчаливое её одобрение), чтобы «Иван раскрыл свою душу» и увидел врагов своих — евреев!

Но за это не убивают?

У истории нет закоулков. Обыватель не боится прошлого. Это совесть скрежещет зубами от боли. Покаялся пантифик за всю католическую церковь, развязавшую руки людоеду. Каждые два из трёх евреев Европы сгорели в огне равнодушия. А вы, уцелевшие и новые жители Европы и мира? Опять молчите?

Но за это не убивают?

А за что НКВД отплатил Валенбергу — за то, что спасал евреев?

Великая Америка сберегла для мира Эйнштейна, Ремарка, Кальмана, Сцилларда, Фейхтвангера... тысячи тысяч бежавших... Но может быть, души всего одной тысячи человек, не принятых ею с корабля, напрасно стоявшего в ожидании спасения у берегов Флориды, и вынужденных вернуться в Европу, чтобы сгореть в фашистском пламени, не дают ей спокойно жить... и это камень в фундаменте памяти?...

Но за это не убивают?

Нет. За это не убивают. Убивают за то, что ты еврей!!!

«Семья Симхи никогда больше не увидела его. Они уверены, что он был отправлен в концлагерь Дахау или выведен за границы города и расстрелян».

Я, Симха Перельмутер, сошёл в земной ад в полосатом тряпье нацистского покроя... Этот полосатый плат стал символом их режима... и он не полинял за столько десятилетий, а дыры и лохмотья в его теле только делают его романтичным для тех узколобых, которые снова кричит «Хайль!» и снова вскидывают руку вверх так, что трещат по швам чёрные рубашки от накачанных бицепсов!

Я прошёл весь скорбный путь в полосатом арестантском рубище Симхи и не переоделся — я не снимаю его, потому что даже теперь, более чем через полвека, нет ответа на его вопрос, на мой вопрос, на наш вопрос: «За что меня убили?» Люди, люди, значит, не кончился Холокост, значит, по всем признакам в мире не закончилась эта болезнь и не закончится, пока не будет ответа. А без этого — нет счастья на планете, и больше того — у неё нет будущего!...

Но за это не убивают?

Нет. Как видно, за это не убивают.

Черчилль предложил антисемитам простой способ борьбы с ненавистными евреями: станьте лучше, чем они!

Чем же я, случайный потомок, продолжил твою биографию, Симха Перельмутер?

Своей жизнью. И в этих строках моих стихов нет ничего придуманного и конъюнктурного — всё именно так:

Когда я был маленьким,
Меня спас от смерти
Русский,
В дом пустил зимовать
Украинец,
Всем «счастливое детство» дарил
Лицо кавказской национальности.

Когда я стал мальчиком,
Меня писать учила
Мордовка,
Фотографировать —
Немец,
А играть на трубе —
Испанец.

Когда я блуждал пареньком,
Голос мне ставила
Еврейка,
Смысл формул открыл
Чеченец,
И в стихи направил
Грузин.

Когда стал я уже седым,
В автобусе полным никто
Не хотел сесть на место у окна,
Потому что рядом с арабом.
Я протиснулся и уселся,
Посмотрел на него и вспомнил
Жизнь свою
И не тех, кто меня
Обвиняли: «Жидовская морда!»,
А других,
Кто дарили мне
Жизнь, угол, хлеба кусок и душу...

Вот и всё.

СЕВА

Берусь писать о Севе Абдулове, и в который раз в жизни испытываю острое чувство вины... опять не договорил, не помог, недо... потому что в будничной повседневности откладывал звонки, встречи, совместные дела... и такая сжимающая боль, потому что... ничего не вернуть уж! Ничего не исправить. И казнь собственной совести не ослабевает. Никак. Не первый раз такое случается, и клялся себе, что пора поумнеть и переоценить суть того, что тебя окружает, и не раз уж, казалось, подвёл грустные итоги... Что это: такова человеческая суть? Не с одним же со мной такое было... и читаешь об этом, и слышишь... а может, это наивная вера в некое завтра... Это завтра так часто обманывает нас своим незыблемым существованием... а если — НЕТ? Если представить, что его нет?!. Но тогда просто жить невозможно...

А пока что нет Севы. Уже и не позвонить ему даже...

Он вошёл в мою жизнь так основательно и неожиданно в самом самом конце семидесятых... Трудное для меня время... В том литературном доме, под названием «Всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия», куда мне путь загораживали мощно и строптиво много лет, а я всё шёл и шёл тупо лишь в главные ворота, не слушая «умных» советов, потому что был уверен, что литература не должна быть похожа на универмаг, где импортные сапоги «дают» с чёрного хода знакомым и с наценкой...

Когда вдруг (не знаю почему) на студии поменялись редактора, представлявшие литературу в виде такого универмага, и появился новый — пошла «перетруска» портфеля рукописей. Мне позвонила Ирина Михайловна Якушенко, работавшая в детской редакции: мол, нашла ваши стихи, не зайдёте ли?

«Мелодия» была монополистом. Авторская пластинка стихов? Да это мечта!

— Как вы думаете, Сева Абдулов, по-моему, справится? — спросила Ирина Михайловна.

— Сева?! — у меня даже дыхание перехватило. — А как с ним связаться? — наивности моей предела не было...

— Я позвоню ему! — улыбнулась Ирина Михайловна... В тот день я приобрёл сразу двух друзей: Ирину Михайловну Якушенко и Всеволода Осиповича Абдулова, Севу.

Читал он блестяще! Великолепно! Восхитительно! Всегда, сколько бы я его ни слышал... А голос его такого нежного, задушевного настроя, такой гибкий и бережно выпускающий в мир слово... Голос его обворожителен и всепроникающ — не давлением, не силой, не резкими обертонами, просверливающими всё и вся, даже бетонные перегородки, а именно доверительностью и открытостью — ему веришь, о чём бы он ни рассказывал, его чтение было удивительно родным, понятным, близким... Палитра Севиного голоса — это отдельная тема разговора, и я уверен, только с помощью специалистов можно постигнуть невероятную широту его диапазона — не только нотного, а эмоционального... но об этом я ещё не знал, поэтому чуть позже...

Сева был хмур. Видно, чувствовал себя плохо... Я робел в аппаратной и не смел вмешиваться в процесс записи, хотя Ирина Михайловна меня всё время спрашивала: «Так? Нравится? Не расходится с тем, как вы себе представляли свои стихи?» Нет, не всегда я так представлял, но то, как читал Абдулов, открывало их мне совершенно по-другому, неожиданно! Сева же был недоволен... просил ещё дубль, ещё... что-то неувловимое менялось в голосе, в ритме, в темпе, и он опять себя опротестовывал, но никто даже не подумал заикнуться: мол, хватит, и так хорошо! Он работал филигранно, стесняясь, что задерживает запись, что может показаться, будто капризничает, или что стихи не нравятся, может, вообще такая скрупулёзность никому не нужна... Это было нужно ему — он не умел по-другому! И здорово-то как! Неужели это мои стихи? Нет — это волшебник Абдулов! А когда он записал сказку «Что снится слону» о грустном слоне в зоопарке...

А что не понять?!
Даже маленькой птице
На родину надо
Весной возвратиться!
А слон?
Да в такого большого слона
Огромная грусть
Уместиться должна!

...трудно передать, что все мы, присутствовавшие на записи, почувствовали.

Это было время невозвращенцев, отказников, стремления увидеть мир и не услышать вслед проклятий Родины...

Мы сошлись. Много стихов записал Абдулов всего за несколько смен... хватило аж на две пластинки... Они вышли в свет, а достать я их так и не сумел... Куда подевался тираж в нашем великом государстве, где «планов громадьё»?!

Отвлекусь, чтоб объяснить. «А что это автор всё о себе, а не об Абдулове, о котором, собственно, должна идти речь?»

Возражу справедливому читателю: я об Абдулове именно, но таком, которого знал и видел я — не с чужих слов, и не о тех моментах его жизни, о которых может рассказать ещё кто-то, — а лишь о том, что сам видел и пережил...

Снова отвлекусь... после смерти Севиного друга, Владимира Высоцкого, вдруг обнаружилось столько его новоявленных «друзей», о которых он и не догадывался, что они его друзья! Уж не сотни — тысячи! Рвались в редакции поделиться «воспоминаниями»... правда, если добирались до эфира или печатных страниц, всё их «вспоминание» выглядело куцо, убого, и твердили они все об общеизвестном... бесцветно и скучно... Нечто подобное случилось и после того, как не стало Севы... на радио появился некто, пытавшийся что-то проямлить о своём «замечательном друге»... я знал, «чьи это уши торчат», и было так грустно оттого, что Севе этот человек был совсем чужой, далёкий... и я лишь недавно, как на грех, сам их познакомил...

Стихи мои для взрослых не печатали нигде — ни в журналах, ни в издательствах... По-разному мы смотрели на мир с теми, кто знал, о чём писать можно, вернее: что публиковать

можно... Но странно — часть из того, что «рубили», достаточно свободно прозвучало на насквозь «прослушиваемом» Радио... в том числе и в Севином исполнении! И по Первой программе, и на «Маяке», и на радиостанции «Орфей».

Я же, конечно, мечтал, чтобы он читал мои стихи живьём, на публике, хотя Абдулов не часто выступал как чтец. Приносил я ему стихи и никогда не спрашивал: «Ну, как?» Или что-нибудь вроде: «Будешь читать? Когда?» Сева молчал. Я тоже, не зная даже, понравились ли они ему... а может, просто лежали нетронутые... Один случай заставил меня устыдиться моих мыслей... Абдулов позвонил мне вдруг запоздно, чтобы узнать, как правильно прочесть строфу, потому что, как ему казалось, знаки препинания там можно поставить и по-другому:

И отступает бренное благое,
Как на листе казённая печать —
Доверие бесценно быть изгоем,
Чтоб вечности твоей принадлежать.

Доверие быть изгоем — быть евреем. Эти стихи не могли быть ни опубликованы, ни прозвучать на радио или в концерте — нигде!.. Это был восьмидесятый год. Ещё был жив страшный серый кардинал Суслов, и режим давил во всю свою мощь, даже намёка не было на смутное перестроечное время... Я принёс стихи Севе просто почитать... как другу! Но он не умел «просто»... они задели его, его гены, наверное... (Маму его звали Елизавета Моисеевна Метельская, а папу Осип Наумович Абдулов). Сева должен был дойти до глубинной сути строчек, которая доступна только мастеру... А я-то думал, куда там — был уверен, что у него до моих стихов «руки не дошли»!.. Он мне казался всесильным, известным, могущим всё... До сих пор стыжусь такой своей наивности... столько разговоров у нас было, и такие крутые повороты его жизнь закладывала!..

И вдруг подарок. Мелочь, конечно... Приезжаю в город Фрунзе, теперь, как и до того, Пишпек... иду в Центральный универмаг. Зачем? От любопытства — мне вовсе ничего не надо! И тут на первом этаже по всему его периметру вижу фамилию Абдулов на висящих под потолком, стоящих на

полках, лежащих на прилавке пластинках. Я беру одну в руки и... так это же мои стихи, которые он записал! Я же пластинки так и не видел! И к радости молоденькой девочки-продавца, сгибаясь, тащу из магазина две коробки!

Сева радовался, как ребёнок! «Где ж ты достал?!» Не верил моему подробному рассказу...

В доме его было тепло... кот не дрался с собакой, а котёнок-новичок быстро привык к новому порядку — жить в любви... В запущенной квартире, ещё родительской, отцовской, Народного артиста СССР Осипа Абдулова, в артистическом престижном доме на улице Немировича-Данченко, явно витала бацила творчества... а тогда неважно: натёрты ли полы и ободрал ли кот когтями портьеру...

Мне очень нравилась его кожаная курточка... потёртая, старая, пропахшая «Беломором» — вечная...

«Подержи!» — он бросает её мне на руки в кулисе театра Эстрады в Москве и выходит на сцену сказать несколько слов перед моим спектаклем, в котором играет сразу несколько ролей... Играет на плёнке! Потому что спектакль идёт под фонограмму: кукловоды вживую существуют на сцене, они водят больших кукол... им некогда петь — поёт Абдулов и за Братца Медведя, и за Братца Кролика... Это поразительное голосовое умение перевоплощаться!.. Он в студии, а мы за стеклом, в аппаратной... и буквально открыв рот наблюдаем, как меняется не только его голос, но осанка, выражение лица и жесты, когда он меняет персонажа! А вот и подлинное чудо: Абдулов поёт дуэт Медведя и Кролика... Это надо было снимать и показывать, как эстрадный номер, как учебное пособие в театральных институтах и школах... ну, как это опишешь!

Куртка тяжёлая... карманы набиты... не повернуть бы её как-нибудь неловко, чтобы не выпало ничего из них... через руку не перекинешь... держу за воротник, а потом догадываюсь повесить на одно плечо — ох, до чего ж мне хорошо! — и слушаю, и смотрю, вытянув шею, как общается Сева с полным залом... Смеются радостно дети, а родители удивляются не меньше своих чад, когда он тут, на сцене, показывает своих «подопечных» и говорит через слово то «толстым» медвежьим

басом, то ехидным кроличьим дискантом! Фокус! МАСТЕРСТВО.

— Сева, сколько лет этой куртке? — он задумывается.

— Сколько мне, наверное... — он не признавался, но она была ему, как талисман. Только летом снимал её, да и то, по-моему, возил с собой в машине...

Машина с ним и «подшутила», он разбился страшно... это все знают... его буквально собирали по частям, и если бы не его друг Высоцкий... он буквально втиснул вместе со Станиславом Говорухиным ещё только выздоравливающего Абдулова в картину «Место встречи изменить нельзя». Помните трусоватого милиционера? Играть его Севе было трудно, поскольку этот человек полный антипод актёра...

Но Сева не мог без машины... даже не хотел про это думать и слышать. Это была его страсть!

— Пойдём, покажу тебе своего нового коня! — сбегает по лестнице в теснущий двор... Абдулов уже поменял «копейку» на «шестёрку», а её на этот ВАЗовский вездеход — «Ниву»... И вдруг негаданная встреча в промозглую грязную пору на площади Маяковского: качу проколотое колесо в дверь шиномонтажной мастерской — навстречу, уже из мастерской, кто-то, тоже согнувшись, катит своё починенное колесо, наши взгляды упираются в пол, и колёса сталкиваются! Мы одновременно поднимаем головы:

— Севка! Ну, надо же!.. — мы обнимаемся, оттопыривая в сторону грязные ладони.

— Пойдём покажу тебе нового коня! — он радуется и встрече, и тому, что покажет мне новую машину — «Форд», тогда ещё большую редкость в Москве...

Мастер, возвращающий к жизни обувку моего «жигулёнка», — театрал. Это все знают и едут к нему чиниться...

— Вы дружите с Абдуловым! — он рад за меня, за себя, за то, что чинит колесо другу Абдулова, и ни за что не берёт с меня денег... — Ну, как же так! — приходится расплачиваться книжкой с автографом... Абдулов! Пароль — дружба! Он не откажет. Никогда. Летит на «Красной стреле» в Питер и утром — уже в студии, на записи фонограммы для спектакля... В Питере детский театр и мой спектакль, надо дописать фонограмму... Можно записать с другим актёром —

Ленинград огромный театральный город. Но Абдулов-то один. И дружба — не слово, а возможность существования, и творчество — не процесс, а состояние... Вечером он снова в Москву... и мы опять увидимся...

Пришло новое увлечение и возможность заработать... ведь началась перестройка, и рухнуло всё в общем хаосе: и «Мелодия», и Радио, и Телевидение, и студии кино в нищете и ущербе... а тут поток мультяшек из-за рубежа, и их надо озвучивать порусски... надо переводить! Сева прекрасно знает английский, и у него такой огромный опыт по дублированию фильмов...

— Знаешь сколько мне платят?! — он улыбается застенчиво и загадочно, называя мизерную сумму.

— Не может такого быть, Всеволод Осипович! — говорю я ему наставительно, — Нет таких расценок! Не может! — Сева усмехается:

— Да?... Вот студия «Дисней» и зовёт к себе и предлагает за это в тысячу раз больше! Они, наверное, где-то прознали правду... Не шучу!

— Ну?! Так что ж ты?

— Не получается. Как я всё брошу?! Всех...

— Сева, но надо же жить, Сева!

— Надо... — он знал это, но беречься и комфортно сытно устраиваться не умел.... Зато полностью подтверждал истину: талант беззащитен... Он искал своё место и не мог никак найти... ушёл из МХАТа, где все старые актёры, хорошо помнившие отца, любили его, рады были играть с ним: чего стоит спектакль (слава Богу, снятый на плёнку) «Пьеса для часов с боем»! Но, очевидно, там, в театре, одновременно скопилось столько невостребованных актёров, а он не мог простаивать! Снялся в кино, но не те роли... переживал, искал... и его друга не стало, он очень переживал смерть Высоцкого... не любил, когда расспрашивали об их дружбе...

Разные и многочисленные таланты достались от Бога одному человеку! Да, он был уникальный чтец, а как пел, как музыкален был! Я никогда, даже у себя дома, не просил его попеть под гитару... всегда вспоминал рассказанное мне про Анну Андреевну Ахматову. Когда она пришла к друзьям, гости, собравшиеся за столом, стали просить, чуть не умолять: «Анна Андреевна, почи-

тайте, почитайте, пожалуйста!..» Она грустно ответила: «А я думала меня пригласили на чашку чая!» — и приняла её из рук хозяйки... Но когда Сева был в настроении... Ох уж!.. Сердце замирало от его голоса и струнного перебора... Почему ему особенно удавались цыганские песни? Может, душа его была такая же кочевая...

Он ни разу не отказал мне в просьбе. Уже в перестроечное время я обратился к нему:

— Знаешь, Сева, на Всесоюзном Радио ещё можно что-то записать... пожалуйста, помоги... с Ириной Всеволодовной Потоцкой запиши передачу по моей книжке «Бобе Лее», Миша Глуз некоторые стихи из неё на музыку положил — сам петь будет, а я вставки авторские наговорю...

Мы в пятой студии знаменитого ДЗЗ (Всесоюзный Дом Звукозаписи) на улице Качалова, 24. Я с редактором Наташей Гавриловой в аппаратной, все названные исполнители — за стеклом. И весело, энергично идёт работа. Нам хорошо, мы на ходу придумываем и изобретаем... но ещё жива Советская власть, хоть и дышит на ладан... Врывается посланец главного редактора, которому кто-то что-то донёс, и требует немедленно снять одно стихотворение с невинным названием «Разговор после гулянья». Чтобы долго не объяснять, в чём дело, привожу его целиком. Бабушка беседует с любопытным внуком, вернувшимся с гулянья. За внука — Всеволод Абдулов, за бабушку — Ирина Потоцкая:

— Объясни поскорее,
что такое евреи?..

Это плохо, или как?

— Ах, какой же ты чудак!

— А чего тогда он дразнит?

Быть евреем плохо разве?

— Знаешь, как тебе сказать...

им не всякий может стать!

— А! Его завидки взяли! —

Так бы сразу и сказали!

Я не жадный и не злюсь —

с ним евреем поделюсь!

Сева возмущён редакторским, цензурным произволом, вмешательством в запись, уже утверждённой, «пробитой» передачи! Он встаёт, снимает со спинки стула свою любимую курточку и направляется к выходу из студии. Глаз поднимается из-за рояля во весь свой немалый рост и разводит в стороны огромные ладони, Ирина Всеволодовна, человек повидавший всего на своём веку, что-то пытается объяснить... Наташа Гаврилова бросается наперерез Абдулову и умоляет его не уходить, она всё уладит... Но ничего не улаживается, и главный редактор непреклонен... Пропадает сделанная работа, пропадает передача... так жалко. Я не имею права просить Севу. Это насилие над его убеждениями... Я не смею. И не буду! Я молчу.

Нет. Конечно, это стихотворение не главное в книжке. Человек тоже остаётся жить без пальца, без ноги... передача вышла в эфир и успела прозвучать всего несколько раз. Больше её не повторяли. Слишком много еврейского в ней было! Но запись осталась... и чувство гордости за то, что её записал Абдулов. Сжал зубы... но записал. Он не поступился убеждениями, национальной гордостью, он тоже точил тот камень, который давил всех нас. Не хотел жить под гнётом... Когда мне очень тяжело, эта запись на кассете выручает, помогает...

— На чём едешь? — спросил я его через океан по телефону.

— На «Тойоте».

— «Кемри»? — переспросил я.

— Нет, поскромнее! — усмехнулся Сева. — На «Королле»...

Нет. Он уже больше не едет на «Королле»... Трудно представить, что его нет рядом... Мне почему-то кажется, что он управляет квадригой, похожей на ту, что на Большом театре... трясётся по неизведанной и ухабистой дороге вечности...

Отчего же так несправедлива судьба? Это что — всеобщий закон: забирать безвременно из жизни талантливых? Лучших! Или они, любимые, так интенсивно живут, что расходуют свой ресурс до конца «досрочно»? И исключения только подтверждают этот несправедливый закон... или все окружающие не умеют позаботиться, оградить, охранить яркого человека? Все заняты собой? Как это происходит? Что с нами со всеми стало?... А было ли по-другому?! Когда? Во времена Пушкина, которого не уберегли от смазливой ничтожности?!

Есть феномен памяти — сохранять авторские интонации стихов, прозы — так я слышу голоса многих замечательных поэтов, прозаиков, а некоторые свои рассказы слышу голосом Сева... Он записывал их на еврейском радио «Алеф» в Москве. Очень волновался — текст был ему непривычен, труден, особенно выражения на языке идиш. И он часто останавливал запись и переспрашивал, правильно ли звучит. Хотя мы буквально всё, всё с ним прошли предварительно, и он не ошибался...

«Вос вилс те?» (Что ты хочешь?) — звучит мне его голосом...

Сева, я хочу, чтоб ты услышал меня. Повиниться, что от чужих людей узнал, что... ты идёшь дорогой вечности...

Вот уже столько лет его нет. С 28 июля 2002... Вечность поглощает всё, без разбора, но всё же у неё есть совесть, у Вечности: лучшее она потом возвращает людям, и уже навсегда.

БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ... НЕКРАСИВО?

В той старой Москве, где и я родился, приглашаю вас на прогулку... по Садово-Триумфальной от дома, в котором живут композиторы, до Тверской, а потом вниз по правой стороне улицы, минуя Страстную площадь, до Брюсовского переулка направо... Вот и Союз композиторов — цель прогулки. Вход с угла в темную глуховатую прихожую, именно прихожую, как в обычной московской квартире, с зеркалом на стене и стоящей в углу круглой вешалкой, а потом, через несколько шагов, в самом начале темного коридора, первая дверь налево... Но здесь, к сожалению, нет хозяина — именно того, чей маршрут, в поисках его самого мы повторяем... Тогда снова на улицу и налево широким двором до стеклянного входа в Дом композиторов... И тут, еще не видя его самого за группой людей, я уже испытываю желанную радость, потому что знаю по знакомому громкому голосу и совершенно уникальному неповторимому смеху, что сейчас увижу его — Володю Зака, моего дорогого друга и в недавнем прошлом педагога, наставника — Владимира Ильича Зака.

Он совершенно недоступен в данный момент очередного рассказа в окружении заинтересованных слушателей, его коллег по работе... безумная глупость делать хоть малейшую попытку прервать его или привлечь к себе внимание, наоборот! Надо немедленно самому присоединиться к слушателям и включиться, стопроцентно отрешившись от всякой суеты, в его рассказ — уникальный, неповторимый, энциклопедически наполненный и циклопически неохватный, легко и непринужденно как бы исполняемый с темпераментом и артистизмом неповторимыми... Надо включать кинокамеру, микрофоны, магнитофоны, чтобы не упустить, не пропустить каждого

мгновения этой новеллы, сцены, пьесы, чтобы не прервать и сохранить... И я присоединяюсь, растворяюсь, и со всеми вместе смеюсь и замолкаю... Но рассказчик уже заметил меня и по ходу сюжета делает знак глазами и рукой, и это вдруг возвращает всех в реальность, потому что на улице февральский мороз, а все без пальто и без шапок, в том числе и сам Володя... это он шел обедать. Перебегал двор... и так на ходу, отвечая на чей-то вопрос, увлекся, как всегда, и никто уже равнодушно не мог пройти мимо его рассказа...

Каждый день он проходит этот путь, окруженный и наполненный музыкой, каждый день происходит подобная сцена в окружение друзей, коллег и товарищей... и непосвященному трудно уловить хотя бы одну трагическую ноту в партитуре его жизни... разве только подивиться совершенно буйной седой шапке волос над молодым энергичным лицом...

Я так хочу поближе, покороче познакомить вас, читатель, с этим человеком, что невольно волнуюсь... нет, не оттого что не просил разрешения, — его расположению к людям, бескорыстию и доброте нет предела, а именно потому, что необходимо значительно больше слов для мозаики его портрета, чем возможно на печатной полосе, даже такой щедрой, как эта, предоставленная нам для встречи...

Он начинал свое раннее детство с музыки и, несмотря ни на что, — теперь на ее вершине. Это именно про него: «Цель творчества самоотдача, а не шумиха, не успех...», про него, несомненно.

Признание в любви не терпит никаких извинений! Вы согласны? Тогда снова в путь с Владимиром Заком... Вот как блестяще описывает он свое музыкальное начало в вышедшей уже в эмиграции книге «Шостакович и евреи»:

«Во дворе нашем «врагами народа» комиссар-эрудит (заговорила, старший мальчишка — М.С.) объявлял всех, кто слабее. Физически слабее. Взять такого было просто: арестованный не оказывал сопротивления. Мое положение в этом смысле было весьма уязвимым. Даже маленький Юрка порой укладывал меня на обе лопатки. Однако до поры до времени я вроде бы, пользовался «статусом неприкосновенности». Такое право давала мне... музыка. Все знали, что я играю на рояле. Не только знали. Открывая окно, я на fortissimo оглушал улицу советскими

песнями, что были у всех на слуху. И ребята во главе с «эрудитом» охотно подпевали мне. Такая энтузиастическая работа с «хором революционеров» радовала меня и конечно же поднимала в глазах «вершителей Будущего».

Это середина 30-х. Я познакомился с Владимиром Ильичем через двадцать лет, в 1957 году в знаменитой на всю Москву Стасовке.

Сюда в середине учебного года занесла меня неумная жажда учиться музыке профессионально, мечта, осуществление которой непрерываемо отодвигали война, жестокая голода, а потом не минувшие нашу семью сорок седьмой—сорок восьмой и пятьдесят второй... Но вот с решением строгого экзаменационного синклита во главе с директором, незабвенной Валентиной Ивановной Кульковой: «Принять в порядке исключения» — я в классе на первом занятии по сольфеджио... которое ведет Владимир Ильич... И строгое напутствие директора «ни единого пропуска» после первых же минут занятий нейтрализуется вспыхнувшей мыслью: «При таком педагоге?! Как можно?!.. А если тут все такие?..»

И каждый день — это новое удивление и подтверждение волнующего вопроса. Всеми мыслимыми и немыслимыми путями, судьбой и провидением, старанием друзей, коллег и Валентины Ивановны в этом маленьком желтеньком домике на Добрынинской улице, чудом уцелевшем среди безликих монстров и до наших дней, в самом центре Москвы, собрались такие музыканты-педагоги, которым впору статут самой прославленной консерватории. И не могу не перечислить хотя бы некоторых, не по значимости или превалирующим симпатиям, а как подсказывает память. Григорий Абрамович Фридкин, по учебникам сольфеджио которого занималась вся страна, знаменитый король гитары и личный аккомпаниатор Ивана Семеновича Козловского — Александр Михайлович Иванов-Крамской, Александр Аббович Капульский, мастер камерного ансамбля, научивший нас слушать соседа, и дирижер Семен Петрович Великов, открывший секрет соединения слова с оркестром, мой педагог по вокалу, неустанная деликатная и терпеливая Раиса Наумовна Люстерник, концертмейстер Аллочка Бабинцева, буквально втолкнувшая меня в мир песни, замкнутый теоретик

Владимир Клобуков и легендарная Мария Алексеевна Шихова из времен Рахманиновской юности... Даже среди них всех, учивших нас, совсем еще неоперившихся, не только музыке и любви к ней, но умению дружить бескорыстно и жадно, Владимир Ильич несомненно выделялся... За дверью его класса всегда кучковались слушатели... он знал это... и двойные шумопоглощающие двери с тамбуром всегда были немного приоткрыты...

Днем здесь учились дети... и педагоги в том же составе опекали их... вечером приходили мы, кто по разным причинам не мог дотянуться до Музыки в том возрасте, когда это по всем традициям и раскладам необходимо... И мы наверстывали... с помощью этих замечательных и неунывающих педагогов...

Ну, почему, например, В.И.Зак, не получивший за все время обучения музыке (!) ни одной отметки, кроме ОТЛИЧНО, и имеющий диплом с отличием об окончании Московской консерватории, был на счастье всем нам преподавателем здесь? Здесь, а не профессором в своей «альма матер»?

Ведь его выводили в свет гиганты музыки... титаны... С третьего курса композиторского отделения музучилища при консерватории профессор композиции Евгений Иосифович Месснер «передал» его в саму консерваторию, как говорится, «с рук на руки» Игорю Владимировичу Способину, Виктору Абрамовичу Цукерману и Мазелю Льву Абрамовичу... В тот год всего три абитуриента были приняты на композиторское отделение! И среди них Зак! С такой фамилией, с такой анкетой... и таким талантом... Что же случилось в том страшном 1947 году?.. Почему юноша, представивший на рассмотрение комиссии свое сочинение «Еврейская сюита», поразившее всех мастерством, новизной музыкальных идей и убедившее в его состоятельности, вдруг... нет, не вдруг... а после слов поверившего в него профессора Евгения Голубева: «Здесь (имелось в виду в его классе композиции в консерватории — М.С.) вы не сможете этим заниматься...», именно после этих слов и трудных раздумий перешел с теоретико-композиторского на историко-теоретическое отделение... Что это: ошибка семнадцатилетнего или судьба, уберегающая от страшного молоха?

Я задавал себе этот вопрос уже позже... когда наделенный безграничной властью председатель КГБ обзывал публично

гения двадцатого века Бориса Леонидовича Пастернака «свиньей», уверенный (и как оказалось не даром — в новой России он, как герой дает интервью по телевидению и благоденствует) в своей безнаказанности... Двумя годами позже, уже после кончины затравленного поэта, я написал:

Таков порядок на Руси:
Поэтов убивают.
Судьбу иного не проси —
Не удовлетворяют.
По канцелярски оглядев,
Назначат день и место.
Таков порядок на Руси,
И это нам известно...

Даже одного классного часа было достаточно, чтобы понять, что место Владимира Ильича Зака не здесь, не недорослям, вроде меня, должен он втолковывать двухголосие и объяснять квинты и тритоны...

А студент Володя Зак узнал это в 1952, когда закончил консерваторию и не получил распределения, а следовательно, и диплома на руки... но почему? Товарищ Чиновник, представляющий государство, а следовательно, не имеющий фамилии (хотя она была, и мы ее знаем), изрек в ответ на неоднократные запросы: «Вы понимаете, товарищ Зак, мы не можем распределить вас так, как ваших товарищей. Не можем. Вы выдающийся талант, и у нас нет пока для вас подходящего места...»

«Быть знаменитым некрасиво»? Почему, Борис Леонидович? Потому что опасно! — хотел предупредить нас поэт... Знаменитым может быть только Вождь... а Кесарю кесарево... «не это поднимает ввысь...» Не это, нет... но что он имел в виду? Что поднимает — Власть? Партия?.. Вождь! Это он может единым словом назначить «лучшим пролетарским поэтом нашей эпохи» или сгноить в лагере, как Мандельштама за «усищи» и «голенища»... Так поэтому:

Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись...

А потом убеждать вечность в истинности гения-автора своей замученной памятью, как Надя Мандельштам???

Когда отчаяние взяло верх над осторожностью и разумом, и вельможный Чиновник понял, что человек готов на непредсказуемые поступки, палач сжалился и чуть распустил когти: двадцатилетнему таланту наконец нашлось место — худрук Сыктывкарской филармонии...

На пороге дела врачей, в притихшей, замороченной речами Москве практически мальчик, не знающий жизни, поверил в шанс, подсказанный друзьями, и поехал вместо Сыктывкара на Добрынинскую улицу в детскую музыкальную школу имени В. Д. Стасова, где так же придавленный режимом заведовал театро-оркестрическим отделом Григорий Абрамович Фридкин...

Только тот, кто помнит эти годы, оценит, что значило тогда приобрести работу... может быть, свободу... может быть, жизнь...

Красиво, красиво быть знаменитым, дорогой Владимир Ильич!

Вам это очень идет, очень к лицу! Потому что эта знаменитость сама нашла вас однажды и на всю оставшуюся жизнь, нашла, а потом, пробившись сквозь железный занавес, вывела на просторы мира... Но первый шаг свой вы сделали там, в уютном и до невозможности тесном домике, где вскоре пришедший новый директор — Валентина Ивановна Кулькова смогла не только удержать всех прибитых течением страшных лет к ее берегу выдающихся, именно выдающихся, музыкантов, но еще и приумножить новыми...

Какое везение быть рядом с вами в эти годы становления! И вашего, и своего!..

Я хорошо помню, как с увесистым черным портфелем поспевает Зак со своей дневной новой службы к нам в класс. А эта новая служба там, куда мы спешили в начале нашей дороги... Звонок застал его дома... звонок самого Ваню Мурадели! И разговор запоминающийся. Не дословно, но близко к оригиналу воспроизвожу, беру на себя такую смелость, поскольку очень хорошо знаю и одного, и другого.¹

¹ Смотри «Ваню», стр. 27

— Дорогой Владимир Ильич, не удивляйтесь, это с вами говорит председатель Московского Союза композиторов Ваню Ильич Мурадели...

— Да... Ваню Ильич... я удивлен, но внимательно вас слушаю...

— Я приглашаю вас к себе на работу, в Московский Союз... в качестве музыкального критика...

— Но... Ваню Ильич... я... я в детской музыкальной школе работаю... а критики... критики должны быть зубастыми...

— Дарагой! Паслушай... ты напрасно са мной споришь... я очень сильный, я гиревик, панимаешь, аба мне даже писал журнал «Здоровье», у нас адин такой в Союзе кампазитарав, мы с тобой в разных весовых категориях... А то что в детской музыкальной школе работаешь — очень харашо... значит, детей любишь, значит, у тебя душа нежная, а мне нужны нежные критики... панимаешь?!. — И вопрос был решен....

Уже через много лет, когда музыковед Владимир Зак был известен в мире своими блестящими научными работами, книгами, статьями, имевшими фантастический успех публичными выступлениями на различных конференциях и симпозиумах, когда он заведовал секцией критики всего огромного Союза композиторов страны (ну, не могу написать СССР), он на два часа в неделю возвращался в свою любимую Стасовку, где по-прежнему блестяще вел незабываемые уроки сольфеджио и музыкальной литературы... И все свободные, а порой и сбегавшие из других классов, толпились в коридоре, чтобы насладиться его мастерством, эрудицией, артистизмом и добротой... А деньги, которые ему причитались за эти часы, попадали к двум замечательным старухам — тете Саше и тете Паше, державшим в школе гардероб (сколько они получали зарплаты?!), и те тратили их на чай и булочки, которыми подкармливали не успевавших поест педагогов и великовозрастных и, как положено, вечно голодных студентов, вроде нас... Но об этом другой рассказ...

Первые же серьезные научные исследования молодого ученого привлекли внимание профессионалов, начиная с его консерваторского диплома, посвященного кантатам и ораториям Сергея Сергеевича Прокофьева. Мне же запомнилась одна из первых монографий Владимира Зака, посвященная талантливо-

му и рано ушедшему композитору Андрею Бабаеву, в особенности его песенному творчеству... Вы помните «Я встретил девушку — полумесяцем бровь...» — это как раз Андрей Бабаев...

Надо сказать, что на шестой части суши возник совершенно новый музыкальный жанр, как тогда называли «массовая песня советских композиторов». Владимир Ильич очень интересовался этим необычным явлением. Много талантливых композиторов искали отдушину для своего творчества в песенном жанре, уделяли ему внимание. Даже гениальный Дмитрий Дмитриевич Шостакович со своей «Песней о встречном»... Очевидно, это происходило не случайно... могу высказать только свое предположение... мне кажется, что многие могли таким образом быстрее реализоваться, заработать имя и общественное признание, которое вроде служило неким защитным средством в той страшной эпохе... и вообще, заработать на жизнь... Как говорили: «симфонией не проживешь»... Но это было весьма и весьма непросто — надо было прорваться не только через партийную и партийно-редакторскую цензуру, но и через самих райкомовско-обкомовско-цековских так называемых «критиков», вернее соглядатаев, которые учили авторов, «как» и «что» писать, (в том числе, и таких, как Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович)... Надо было еще устоять и в непростом соревновании с коллегами... Парадокс же, как стало совершенно очевидно, состоит в том, что многие песни (я не говорю о заказных, намеренно идеологизированных) — буквально музыкальные шедевры, доказательством тому может послужить то, что мы многие десятилетия помним их. Это не ностальгическая память, ибо эти песни перешагивают эпоху и сегодня приходят к новым людям, приходят не для слушания, вот ведь как! — а для исполнения, то есть, по совершенно уникальному замечанию Исаака Осиповича Дунаевского, становятся «автобусными песнями», песнями, которые поют по зову души, песнями, которые поют, извините, даже пьяные в электирчках и автобусах...

Музыковеды, очевидно, еще не однажды серьезно проанализируют этот парадокс эпохи, когда под жесточайшим гнетом и свирепой цензурой рождались настоящие талантливые произведения, шедевры мелодического песенного жанра. Мне же ясно лишь, что талант композиторов оказался

сильнее власти... они сами, не заметив того, стали властью... ведь не постановления пленумов распевали, а то, что дарили людям они!..

Владимир Ильич интересовался этим жанром, писал о советской песне и вскоре стал одним из уважаемых авторитетов в этой области, тем более что сам хорошо знал работу по созданию песни «изнутри»...

Мы много говорили с ним и об одном из видов такой песни — песни для детей... Он намеревался специально заняться исследованиями в этой области, задавал мне немало вопросов поскольку я много лет и со многими видными композиторами работал в этом жанре и «заседал» в редакционных советах...

Любой композитор — и молодой начинающий, и маститый известный — всегда мог рассчитывать на внимательный, искренний и доброжелательный, конечно, разбор своего творчества... Зак никогда не отказывался помочь и не жалел времени... а музыкальная среда его обитания включала в себя все слои — от самых верхних до только образующихся, появляющихся в пирамиде музыкального творчества...

Любой власти претит талант. Можете со мной не соглашаться... но подумайте тогда, почему так стремятся сильные мира сего приручить, купить или уж заставить талант служить себе. Почему и для чего? Чтобы талант сам признал свою вторичность в мире, возвеличивая этого сильного, чтобы не было соблазна сравнивать, кто выше и сильнее...

Власть — всегда насилие. Тоталитарная — многократно большее... но самосохранение таланта оттачивает и закаляет его... неправда, что «истинный талант всегда сам пробьется», — вранье!... Таланту нужна крепкая опора и... нежность... Не зря об этом и говорил мудрец Мурадели, соединяя в себе оба качества и выстояв в борьбе с властью, он знал «как» и умел помочь другим... И то, как сегодня пытаются некоторые горе-критики издалека представить его огромную личность в виде сатрапа и подпевалы безнравственной власти, вызывает у меня, как и у немногих очень хорошо знавших его людей, чувство обиды за несправедливость к нему. О тех же, кто намеренно лжет о нем, говорить вообще не стоит, они вызывают чувство недоумения и омерзения...

Сегодня трудно и напрасно гадать, как бы развернулся композиторский талант Владимира Зака, сложись его путь по-другому, но то что он делал на композиторском фронте — превосходно! Его песни, его музыка к спектаклям в Московских театрах всегда были свежи и привлекательны — он невероятный придумщик, страстный человек и щедрый фантазер, наделенный очаровательным искрометным юмором... Мне повезло: довелось написать с ним несколько песен и один спектакль для Театра Эстрады...

Какое наслаждение с ним работать! А слушать его импровизации в джазовом стиле, погружаться в море тональностей, столь причудливо и изящно перекрещиваемых, сводимых и разводимых, что дух захватывает, как на точке отрыва на трамплине!...

Что же за идеальная личность перед вами?! Читатель, вам хочется недостатков, оплошностей, проступков, за которые стыдно? Простите, вы не мой читатель... вы ошиблись адресом... я совсем о другом...

Власть не смогла убить его талант. Володя Зак стал любимцем музыкальной среды всей страны, во всех ее краях, где бывал по долгу службы, с выступлениями, да просто по случаю... Эта мгновенная сходка, в которой он непременно становился центром в любом краю, и здесь, в Америке, на новой для него земле, просто предписана ему судьбой для нормального существования — это новый вид творчества: лекция на пленере, беседа с продолжением, творческая вспышка, андроникиада без подготовки...

Наивно думать, что его переезд, адаптация прошли незаметно и безболезненно — нет. И он сам, и его близкие выпили полную чашу эмигрантских невзгод и разочарований... но его жизненные приоритеты настолько высоки, что рядом с ними, конечно, еще мельче, ничтожнее становятся все бытовые проблемы, а душа... чтобы узнать о ней, надо читать его работы, статьи, книги...

Каждая его лекция в университетской аудитории — неординарное событие, как и тогда — в нашей Стасовке, каждый его доклад на научную тему украшает конференции и симпозиумы самого высокого мирового ранга, на всех континентах его имя

авторитетно не только в профессиональной среде, но и как великолепного популяризатора музыкальных идей для широкой публики... А его книги всегда расходятся... ибо, кроме новых оригинальных версий и построений, они написаны великолепным слогом — Бог и в литературном жанре не обделил его талантом... И если научные труды доступны лишь профессионалам, его выступления и в разных газетах, и в эфире читают, слушают с увлечением все. Да просто по другому быть не может... Это же Зак!.. И он при этом не должен оглядываться на псевдодемократическую злую и беспардонную власть на своей бывшей родине... Так, за все в жизни мы платим... и чем талантливее человек... тем более дорогой ценой, поверьте...

И вот я держу в руках подарок, небольшой томик, изданный в Нью Йорке, с автографом автора — Владимира Зака «Шостакович и евреи»...

У меня привычка... многолетняя: открыть новую книгу наугад и прочесть, что же на этой «случайной» странице... Читаю: «Мои украинские друзья рассказывали мне, как прятал Шостакович от НКВД еврейского фольклориста Моисея Яковлевича Береговского, когда в украинской академии закрыли сектор еврейского фольклора, а самому Моисею Яковлевичу грозила тюрьма. Шостакович буквально встал грудью за еврейского фольклориста, преступая все дозволенные «нормы коммунистической морали». Но тут я нарушаю обычай и листаю, листаю книгу, читаю и не могу оторваться!

Володя, Володя, сколько лет мы дышали сквозь это «коммунистическое» сито!..

— Знаешь, — говорит он мне, — я тебе сейчас процитирую одного умного человека. — Он открывает одну из своих книг и читает: «Если мы хотим быть всего лишь нормальными, мы скоро вообще перестанем быть» — это сказал великий еврейский мудрец Мордехай Бубер... Понимаешь, «всего лишь нормальными»...

— Да, — отвечаю я. — Глядя на тебя, я понимаю это.

А Владимир Зак пишет новую книгу — процесс творчества непрерывен и не зависит от места его обитания... Мне кажется просто, что его московская кухня с книгами, нотными листами, чайником и печеньем на столе переехала вместе с ним с Садово-Триумфальной на 183 стрит в Манхеттен, и вот мы снова

вместе пьем чай после нескольких лет разлуки, продолжаем, будто он и не прерывался, разговор и, конечно, строим планы... но уже, к сожалению, не на далекое будущее, хотя... кто знает... «Art longa, vita brevis est»... как говорили древние. Просто мы больше стали дорожить временем и значительно больше храним в своей памяти. А потому все, кто с нами за столом, замолкают, когда Володя говорит мне: «Старик, а помнишь...» И Богом данное ему и отточенное годами увлекает всех нас за ним в его великолепный неподражаемый мир таланта, искренности и доброты.

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС... БЕЗ ОТВЕТА...

Почему я всё же решился написать о Наталье Юрьевне Дуровой?

Не решил, а решился!

Ни многолетнее знакомство, нет, дружба с ней, ни наши откровенные разговоры «тет-а-тет» ещё не дают такого права, я полагаю. Сколько раз уже публиковались интервью с Дуровой, сколько писали о её театре... Интернет заполнен сносками на беседы с Дуровой, на статьи о Дуровой, на спектакли Дуровой...

Со временем стало совершенно ясно: лучше, чем сама Наталья Юрьевна, о ней никто написать не может, и не только потому, что она знает «предмет» лучше, но и потому, что её русский язык несравненно выше, чище и благороднее языка тех, кто что-либо публиковал о ней...

А мне не только хотелось, но я чувствовал внутреннюю потребность рассказать о Дуровой. Зачем? Один аспект её жизни (сознательно или нет) во всём, что о ней напечатано, не затронут. Это вообще вечная тема: художник и власть. Волнует она не только творцов, но и обычных людей, обывателей, и совсем не в уничижительном смысле этого вывернутого наизнанку слова.

Итак. В пору моего смертельного и тихого противостояния с Союзом писателей и раннего, ещё начального, знакомства с Натальей Юрьевной я встречаюсь с ней в подвальном переходе со ступеньками, поворотами и неожиданными углами такого уже совсем забытого учреждения — ВААП. Расшифровать? Всесоюзное агентство по авторским правам. Оно занималось сбором авторских гонораров и следило за практически не существующими в стране правами авторов. Находилось это учреждение по адресу: Лаврушенский переулок, д.14, т.е. в цокольном и подвальном этажах дома писателей. Вход в него был

не с центрального подъезда, где сидела стукач-консьержка, а с переулка, как раз напротив дивных чугунных ворот Демидовской усадьбы. Здесь было невольное место встреч, потому что дважды в месяц, как везде в Советском Союзе, бухгалтерия выплачивала зарплату — гонорар...

— Миша, как дела? — перехватывает меня раскланивающаяся во все стороны Наталья Юрьевна... Я пытаюсь отделаться на ходу лёгкими фразами, думаю, что это вопрос вежливости, я ещё не ощущаю себя «настоящим писателем», я ещё не член Союза, а Дурова уже знаменита (значит, по советским меркам — всесильна), и много лет, она уже Заслуженная или Народная, и книги её издаются всюду, а у меня книги тоненькие и маленькие, и только для маленьких — взрослое не печатают! — Идём со мной, ты мне всё расскажешь! — приглашает Дурова и видит моё замешательство и смущение...

— Наталья Юрьевна, может, в другой раз... — мы уже выходим вместе из подъезда.

— Идём! Я на машине! — это решает дело: в машине можно говорить, не боясь, обо всём. В дороге вообще всегда разговор по душам. И вот я сижу в жигулёвской бордовой «четвёрочке», и мы едем недалеко и не быстро по ещё не запруженной и не окончательно раздавленной машинами Москве к Дуровой в театр, в Театр зверей, и Наталья Юрьевна «вытаскивает» из меня эпизоды печальной повести о моём невступлении в Союз Писателей. Она прекрасно понимает, что такое быть изгоем, «не членом», а я не скрываю, почему это так, и мой нос выдаёт меня совершенно откровенно и решительно. — Да что они там все с ума посходили, в Союзе! — возмущается Дурова. И мне этого достаточно — её сочувствия! Я не жду результата!

Примерно через четверть века, когда не было уже Советской власти, когда партия, топтавшая нас, потеряла силу, но не наглость и оказалась в оппозиции — к чему? — очевидно, к самой жизни... когда стали раскрываться всякие секреты — большие и маленькие из прошлых времён, ко мне в руки попала толстая папка моего «дела» в Приёмной комиссии Московского СП, а в ней и внутренние рецензии, и стенограммы заседаний этой комиссии... Не стал бы я заводить сегодня разговор об этом,

да ещё писать, но история всегда интересна, дело вовсе не в моей персоне и даже судьбе!.. Тогда я узнал о Дуровой то, что сегодня даёт мне право писать о ней.

Вот от точки до точки выступление Натальи Дуровой, члена приёмной комиссии Московского отделения Союза писателей, на заседании этой комиссии, где в очередной раз рассматривалось моё дело.

«Я тоже начала с чтения новых вещей М. Садовского. Дело в том, что с творчеством Михаила Садовского я знакома давно — ещё по совещанию молодых писателей 1972 года, где он был в семинаре С. Баруздина и И. Токмаковой и считался одним из самых интересных поэтов. Тогда же в этой группе были и поэты В. Татаринов и М. Пляцковский, но если к ним фортуна отнеслась с ласковой улыбкой, то Садовского заставила пройти тернистый путь испытаний, окончившийся инфарктом.

Я много лет нахожусь на работе в партбюро творческого объединения детских и юношеских писателей, и вот один факт из жизни этого человека мне хочется рассказать.

Очевидно, многие знают, что несколько лет тому назад в Союз писателей был принят Алексей Кондратьев. Его называют Николаем Островским наших дней. И вот скромно, без назойливой аффектации, а просто по зову души М. Садовский многие годы заботится об этом попавшем в страшную жизненную катастрофу человеке.

Две недели тому назад в партбюро раздался звонок. Позвонил Алексей Кондратьев и сказал: «Я очень прошу вас, будьте предельно пристальны к его творчеству и чутки к автору. Только чтоб не было сердечного срыва. Боюсь остаться один!»

Я просто провожу параллель между нравственной порядочностью этого человека и постоянной приверженностью к очень трудному жанру — книгам для самых маленьких. Вы знаете, что в издательстве «Малыш» книга идёт 5—7 лет, вариантов такой книжки может быть 11—12 до тех пор, пока она попадёт на прилавок.

Рассказ «Стекольщик» мне тоже очень понравился. Рассказ интересный, но совершенно нет никакой редакторской правки.

Эта вёрстка не только не вычитана автором, но она даже не вычитана редактором. Совершенно не работают с человеком, когда он даёт свои вещи.

Я знаю творчество Михаила Садовского давно и считаю, что в Союз писателей его надо принять. Он ничуть не хуже, чем те, которые были приняты после совещания, а приобретаем мы просто прекрасного товарища и человека».

Длинновата цитата. Согласен. И вёрстку рассказа я не видел даже, а схватил в типографии (!) и скорее «тащил» в Комиссию, чтобы успеть, не вычитал — правда!..

Да и в Союз всё равно не приняли... в тот очередной раз... И не знал я ничего ни о выступлении Дуровой на Приёмной комиссии, ни о звонке Кондратьева... Наверное, это он перегнул насчёт инфаркта!.. Для убедительности, что ли!.. Ничего я не знал — как гостайну хранили это...

Но жизнь дарила мне таких благородных и верных друзей!

Почему Дурова, низкий поклон ей, тогда встала против оравы юдофобов? Что, кроме благородства и категорического неприятия подлости, могло двигать ею?!

Взрослых людей надо проверять детьми и братьями нашими меньшими. И те, и другие не терпят и не прощают притворства и фальши!

Наталья Юрьевна Дурова каждодневно многолетне не только любима, но просто обожаема своим театром по обе стороны занавеса! Это большая редкость! Зал рукоплещет, возвышенный и счастливый встречей с ней, артисты-звери никого больше не дарят так своей дружбой, как её!

Непередаваемо прекрасно, что у меня есть возможность просто прийти к ней в кабинет (на самом-то деле это настоящий музей, но повседневно используемый как кабинет) — посидеть, побыть в сладкой для моей души суете театра, да ещё какого! Где капризы и болезни артистов отнюдь не от зависти, фобии и плохого воспитания, а от совершенно других рефлекторных факторов... и никто лучше мамы-Наташи не умеет понять, приласкать и перенастроить своих меньших коллег... Конечно, о Якове Натальевиче написано много, но когда он, макак, её верный друг, партнёр на сцене и телохранитель в жизни ревнует меня, сидящего рядом с Дуровой и пьющего чай в его присут-

ствии, я горжусь, что он в данном случае мой невольный замечательный противник!

Это совсем не то звериное чувство, с которым я столкнулся в людской писательской жизни, которое толкало людей в печи Освенцима!

Снова перечитываю двухтомник Натальи Юрьевны «Я с жизнью в прятки не играю!», смотрю на мягкий округлый девчачий почерк автора на титульном листе, на дарственные слова, за которыми встаёт столь много!

«Знаешь, — говорит мне Дурова, — Владимир Владимирович позвонил мне из самолёта, когда узнал, что у нас стена в театре рухнула, и просил Юрия Михайловича Лужкова, чтобы он сам проследил за спасением ценностей и ремонтом!»

Как? Что случилось? Я же несколько дней назад сидел на уютном диване рядом с Дуровой в этой самой комнате, в кабинете! Прошла неделя... подмыло стену, и она рухнула! А попугай за стенкой, в проходной комнате, а картины, а иконы? Звери на нижнем этаже? И при чём тут с таким почитанием «Владимир Владимирович»? Может, ещё «сам» добавить?

Так вот именно, что сам! Ведь ему сообщили, и он сразу забеспокоился! Президент страны! А я слышал от Дуровой и «Никита Сергеевич», и «Леонид Ильич»... без подобострастия и раболепного почитания, но явно подчёркивая знакомство с ними... Ведь они так высоко — власть страны, в которой мы жили!.. А она? Наталья Дурова — национальное достояние! Такое официальное звание есть в Японии. Оно присваивается тем, кто составляет гордость культуры, науки... артисту, учёному, целому театру... Дурова — это гордость страны, я бы даже больше сказал, хотя это прозвучит несколько торжественно: Дурова — гордость человечества и его надежда в наш век беспрецедентной жестокости и насилия, что мы всё же можем выжить! Дуровы — это династия благородных подвижников! Так не власть ли заигрывает, заискивает перед ней, чтобы выглядеть получше?.. На то она и власть... к сожалению... как любая власть, в любой стране...

«Знаешь, род-то наш, Дуровых очень древний, ему 600 лет! — это я много раз слышал. В голосе Натальи Юрьевны гордость... — Даже больше шестисот. Это были польские дворяне, пришедшие в Россию. Хороший род, дворянский — Туровские. Гордые, непокор-

ные. Достоинство для них было превыше всего — честь и достоинство. На гербе всегда было начертано «Служение Отечеству». Служить — это не значит прислуживать. Затем, при Иване Грозном, фамилию Туровские для более лёгкого произношения по-русски изменили в Туровы, потом за свой характер они стали Дуровыми. Бояре Дуровы».

— Наталья Юрьевна, сколько лет мы с вами знакомы? Может быть, я мальчишкой ходил в цирк, когда вы девчонкой уже участвовали в представлениях! Это ж были обязательные вещи для московского мальчика: посетить Театр кукол Сергея Образцова, цирк, уголок Дурова...

— Вот поэтому ловлю тебя на слове — напиши мне пьесу для малой сцены! Хочешь для большой? Давай! Приходи с внуком Илюшей на представление, посмотри и напиши... ты откуда звонишь?

— Я за океаном... Как там у вас? Стройка началась?

— Приезжай скорее! Юрий Михайлович...

Если бы я не знал Дурову столько лет, если бы я не слышал её... не голос, а её... Ведь каждый мой новый звонок через океан она начинает вопросом о своём друге: «Как там Хаим Бейдер, ты звонил ему, как я просила?!» Она всегда о ком-то хлопочет, всегда всем помогает, выручает, а для этого нужна рука сильных мира сего!

Но до какой черты художник должен идти в сотрудничестве с властью? Ведь власть — всегда власть. Я не говорю о придворных акынах, воспевающих хана. Но такая независимая, родовитая, талантливая личность, непременно становящаяся публичной фигурой?!

«Дело в том, что человек — это самое опасное существо, созданное Богом. Вот у деда, когдаходишь в наш музей (он очень хороший был скульптор, помимо того, что ещё дрессировщик и ученый), вылеплены динозавры всех времен, всех тысячелетий и рядом маленькая фигурка человека. Динозавры вымерли, потому что мозг у них был очень мал, не больше куриного яичка на такую машину. А человек шел, развивался и стал приносить уже не только пользу. Если ушел вид, он ушел навсегда. Его нельзя клонировать, ибо клонирование — это не есть рождение продолжения самого себя...»

Но не слышу в разговоре с ней ни жалобы, ни пессимизма, только удивительное внимание и память о всех, кому необходима её помощь...

«Миша, звони мне попозже... лучше после 11 вечера, а то не дозвонишься... Как чувствую себя? Знаешь, плохо. Рука болит. Сознание на сцене потеряла — Яша меня спас. Честное слово! За кулисы вытащил, подмышки ухватил — сила какая, подумай!.. И занавес дали! Скорая приехала... сделала укол...»

Можно, конечно, погордиться доверием, она никогда никому не жалуется (и я прошу прощения, что пишу так открыто)... значит, действительно было плохо... Но чем и как помочь человеку, который сам всем привык помогать... с детских лет, с цирковой закалки, полученной от отца и от матери... а это в жизни никогда не кончается...

Карантинная служба Нью-Йорка не пропустила половину прилетевших и приплывших зверей, каких-то бумаг не хватило о прививках... Гастроли в Америке... мы сидим за кулисами театра «Миллениум» в Бруклине... Я волнуюсь, переживаю вместе с артистами... «Что делать будете, Наталья Юрьевна?» «Миша, ну ты представляешь, даже Яшу не пропустили! Ну, подумай! Как быть, я так беспокоюсь! Он не ест!..»

Я выхожу посмотреть зал, он полон! Представление невозможно отменять! Люди пришли на встречу с тем, что оставило в памяти светлый след, это то, чем они гордились на родине... и у Дуровой нет сомнения, что представление состоится. Но только как лучше организовать оставшуюся часть труппы?.. Мне кажется, что Дурова волшебница! Тут бы всё потухло на сцене, и пеликан бы не вышагивал, и собачки бы не работали... у них тоже особый взгляд на «маму»... «Всё сама, звонить кому-нибудь бесполезно... — сокрушается Наталья Юрьевна. — Ты же понимаешь: с таможней не поспоришь... им никто не указ!» А ведь звонила бы, я уверен... хоть президенту Америки... не униженно...

Но нет — звонят ей! Это она, Наталья Дурова, по просьбе королевы Англии сейчас пишет новую книгу на заказ о своих животных. Издание будет уникальное, двуязычное... Лишь бы перевод сделали достойным оригинала!

Кусочек из моего любимого, уже упомянутого двухтомника — кто же лучше самой Дуровой напишет об этом!?

«В эти годы (во время войны — М.С.) в доме-цирке было очень много людей, впечатлений. Цирк был вместе со всеми, и неудивительно, что вплеталось в моё детство новое ощущение жизни, новые привязанности.

Так родилась любовь к слову. Её разбудила во мне Наталья Петровна Кончаловская. Военные годы столкнули поэтессу с нами, и поселилось в цирке необыкновенное чувство гордости за звучное, родное слово, что каждый вечер произносилось с манежа, будто с трибуны. Крупная красивая женщина с горячими глазами вносила в будни цирка радость и оживление. С ней входило в наш дом-цирк ощущение настоящего вкуса».

Дурова не рисуется, нет нужды! Она гордится!

«Это моя трижды прабабушка на портрете. Генетическое сходство у нас у всех очень яркое. Дуровых и сейчас много. Вот ее брат, Василий Андреевич, всю жизнь мечтал выиграть у императора или у Александра Сергеевича Пушкина сто тысяч, но так и не выиграл, а закончил свои дни в долговой яме. Азарт и мудрость — это не всегда гармония. Он попал в долговую яму, и с тех пор каждый член династии помогает тем, кто оступился, кто попал в трудное положение. Из ГУЛАГа благодаря моему отцу, клоуну-трибуну Юрию Владимировичу Дурову, удалось спасти Наталью Ильиничну Сац — великую женщину».

И гордится Дурова тем, чего добилась от власти для всех. Прямо из интервью: «Это будет удивительный комплекс. Нет, это не похоже на «Дисней-лэнд», это не похоже на зоопарк, но это «Город детства» с храмом, куда будут приходить к нам дети. Все ритуалы нашей веры и любой веры им будут доступны. Рядом вырастает целый город для них. И раньше на Руси, и всегда это было, и сейчас это начинается — определяли гениальных детей. Их очень много и в глубинке, и у нас, в Москве, и в Санкт-Петербурге. Будут приходить к нам дети, приблизительно с пяти лет, и будут вот в этой церковной школе имени Серафима Саровского получать образование. Будет студия «Малыш» для литинститута. Я надеюсь, что она будет очень хорошая. Может быть, потянет его в искусство, он станет хорошим драматическим актером, блистательным актером, как мой

брат, который поведет эту студию, Лев Константинович Дуров. А может быть, он хочет стать режиссером, кинорежиссером? Значит, эту студию поведет Борис Валентинович Дуров — мой двоюродный брат. Наконец, детский театр. Те, кто продолжает традиции Сац, музыкальный театр. И, наконец, еще одна студия моего двоюродного брата по маме Алексея Бородина. Вот видите, у нас очень многоплановая семья, а «Уголок бабушки Дурова», которому исполняется 90 лет, это была колыбель встречи интеллигенции России».

Но всё, что она делает, не просто — это оплачено не только временем, отнятым у писательства, у родного театра, у собственной жизни («звони после 11 вечера»!), это выступления на митингах, просиживание в комиссиях, жюри, поездках на одно выступление в предвыборных кампаниях... это служение власти. Вынужденное? Ну конечно! Как при этом не поступиться своим «Я»?

Её брат, Лев Дуров, говорит: «Изумительная женщина. А как она разговаривает, каким блестящим русским языком владеет. Жаль, что таких «могикан» мало осталось...»

Семья Натальи Юрьевны для меня особенная. Её муж (о том, что он её муж я узнал только после знакомства с Дуровой), знаменитый актёр Михаил Болдуман, потряс меня еще в совсем ранней моей молодости игрой в «Зимней сказке» Шекспира. Впечатление было настолько сильным, что повлияло на всю мою судьбу... но об этом особый разговор. Я влюблён в книги Натальи Дуровой. Когда наступают трудные минуты, перечитываю страницы, как она, маленькая девочка, переживает, когда морской лев порвал перед представлением ногу её отцу, но он всё же вышел на арену!

С такой силой о своём детстве писали Толстой, Гарин-Михайловский, Вересаев, Горький... эти страницы не забываются... они для каждого становятся родными, потому что все пережили нечто схожее, но единицам Бог дал силу выразить это...

Я всегда верил, что есть незаменимые, есть, но не те, что управляют миром... как они думают... Те, что правят! Властвуют над нашими душами!..

Президента переизберут, тирана свергнут, короля сменят, а художник... да, он... вечен, как нетленно слово и неисходна музыка.

Так почему Путин в трудные для них минуты сам звонит Дуровой и Спивакову, Хрущёв жаждет объясниться с Неизвестным, Сталин лично вызванивает на разговор Булгакова, а царь предлагает Пушкину быть его первым читателем и цензором?

«...ты сам свой высший суд;
Всех лучше оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит
И в детской резвости колеблет твой треножник».

Все это кажется вам наивным, читатель?
Вы знаете ответ?
А вы, дорогая Наталья Юрьевна?

ВАЛИСТОВ БЕЛИСТОВ

*Одному ехать — и дорога долга.
(русская пословица)*

Сердцу мир открывается, наполняется и пустеет... и ничего с этим нельзя поделать. И собственная горькая обида утрат — ничто в сравнение с тем, что мир по большей части даже не понимает, ЧТО он потерял и катастрофически расточительно недооценил. Ах, если бы всем сестрам да по серьгам — насколько благороднее и выше стала бы наша жизнь — мир наш!

А вот в конце пятидесятых и начале шестидесятых, после сошедшей на нет «оттепели», загрели митинговые сборища по поводу поэзии. Может быть, кому-то из духовных руководителей-партократов нравилась такая «маяковщина» или они очередную программу такую насаждали, а может, стихийно, после стольких лет жесточайшего пресса, скопилось огромное давление в обществе и выбило пробку молчания, и вырвался поэтический джинн на просторы великой советской империи.

Дворец спорта в Лужниках не вмещал доли желающих воспарить, оседлать Пегаса вместе с поэтами профессионалами — зашумели стихами площади, обеденные перерывы на заводах наполнились стихами приходящих к массам творцов, и уже традицией стал День поэзии с выходом толстого сборника стихов (который никто не читал) и непременно встречами **бригад** поэтов с читателями в книжных магазинах, а вечером — в клубах. По всем городам шла эта мода из столицы, переполненной несуразным количеством пишущих и издающихся и ещё большей массой истинных любителей изящной словесности и экзальтированной публики. Единственно, что несколько сглаживало и удерживало в рамках приличия это стихийное в двух

смыслах бедствие, — это искренность обеих сторон: и писателей, и читателей.

Трудно не поддаться высокой волне — всё равно, как ни сопротивляйся, поволочет за собой. И я, накануне выхода первой книжки, хоть и детской... хочу наперёд оговориться и попросить читателя не считать моё «я» «возвышающим обманом», а лишь местоимением, придающим достоверность рассказу...

Так было — это я, молодой, амбициозный, никому неизвестный (ну, ведь ещё не публиковался) забрёл в книжный магазин на углу Университетского проспекта именно в воскресный день — День поэзии — а там, в конце длинного новоявленного зрительного зала, на самом-то деле — торгового, за столом сидел молодой человек в старомодных очках с круглыми стёклами в тончайшей металлической оправе. Настоящий поэт, потому что строчки его пробивали запросто и скептицизм и нигилизм молодости, и обидчивую претензию — а почему я не выступаю!

И вдруг он читает:

Когда вокруг тебя пустыня,
Когда ещё далёк привал,
В тебе рождается гордыня:
Вот, дескать, где я побывал!

И вдруг, как мудрую усмешку
Людей, что до тебя прошли,
То вышку, то простую вешку,
Смутясь, увидишь ты вдали.

Это у автора точка в конце строки, а у меня в душе сто восклицательных знаков! Да это же Берестов! Я никогда не видел его «живьём».

Да, это ж такие стихи! Такие стихи!.. Какая там, к чёрту, амбициозность, я их знаю, я их люблю, я должен ему показать свои... обязательно... — это судьба!

Точно: это судьба. А День поэзии такой долгий! Всё новые и новые читатели подходят, и снова Берестов произносит свои стихи и автографы раздаёт. А я всё ближе и ближе, пересаживаясь со стула на стул, подбираюсь к столу, за которым он

сидит, и он почему-то обращает на меня внимание — глаза что ли сверкали? — и спрашивает: «А вы пишете?» И я киваю в ответ совсем счастливый от его вопроса, но решимость покидает меня, а нахальства никогда не было, и в этом безвыходном положении я интуитивно полагаюсь на мнение замечательного критика, редактора, человека — Юрия Павловича Тимофеева, выделившего из моих «опусов» некоторые стихи, извиняюсь, что они детские, и читаю «Зебру».

Читатель, снова обращаюсь к вам, если позволительно мне дать вам совет: не сопоставляйте поэтов, ибо нет поэтов больших и маленьких — это выдумка, очень злая, а припомните лучше при этом слова замечательного дирижёра Шарля Мюнша: «Музыканты делятся на две категории — на музыкантов и НЕ музыкантов».

И вот я читаю «Зебру».

Зебры, наверно,
Кушают арбузы.
Арбузы полосатые —
Зебры полосатые.
Арбузы пузатые —
Зебры пузатые.
Хвостик у арбуза,
Конечно, покороче.
Вообще,
У зебры хвост
Длинный очень.
От арбузной мякоти —
Красный язык.
От арбузных косточек
Глаза черней черник.
Когда зебра уляжется,
Кажется всем, кажется...
Будто это вообще
Арбуз огромный на бахче.

Слушатели хлопают, хотя я один из них, с галёрки, но мне, хоть и приятно, важно не это — Берестов, что скажет Берестов?!.

И он поздравляет меня — не формально поздравляет: «концовка, — говорит — отличная!» И тут я уж совсем таю и начинаю оправдываться, что, мол, концовки-то у меня плохо получаются, но вот Юрий Палыч, указал мне на это, и я постарался.

— Значит получилась концовка?

— Отлично! — Берестов добр. А я про себя думаю: снисходителен к новичку. Но он заинтересован и просит меня:

— Не уходите, подождите меня...

— Ну, конечно!

И ещё долгие часы бесконечной встречи с читателями в этом книжном магазине. И я уже читаю свои стихи. Меня представляет сам (!) Валентин Берестов, и слушатели спрашивают, где моя книжка...

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

Это про меня писал тогда Пастернак. Конечно. Я знал эти замечательные стихи — не знал, что про меня. Он же тоже не знал, «когда пускался», это про всех про нас — поэтов и не поэтов... и Валентин Дмитриевич не знал...

Я провожаю его домой. Это далеко. Потом, много лет спустя, там протянули метро и сделали станцию «Проспект Вернадского»... а мне оттуда ещё обратно на Мытную... и эта дорога от него к себе и от себя к нему на почти сорок лет до его кончины, до последней встречи в Малом зале ЦДЛ, до траурной повязки на руке, до стояния рядом с ним в последний раз, с его замечательным и таким отрешённым в этот час лицом... догнали строчки... нахлынули... какая страшная цена, но какие строчки!!!

А пока... мы расстаёмся ненадолго... Он уже тогда, совершенно очевидно, знал этот секрет, что не бывает поэтов плохих и хороших, я-то не знал ещё! И в ответ на мою, наконец вышедшую в свет детскую книжку, он дарит моей дочери Ларисе свою с трогательными словами и подписью «Валистов Белистов». Потому что «Вот девочка Марина, а вот её машина» именно «написал Валистов Белистов — это поет такой!» — поведала она ему, автору!

Так и вошёл в нашу жизнь, в семью, теперь уже в третьем поколении, Валистов Белистов.

Из глины сделаны божки,
Им от людей влетело:
Обломок тела без башки
Или башка без тела.

Видать, в один прекрасный день,
Не допросившись чуда,
Их били все, кому не лень,
Как быют со зла посуду.

— И вы все какие-то суетливые, меркантильные. Сейчас другие поэты, может быть? Мы все любили друг друга, поддерживали, читали друг другу, помогали... — огорчается Берестов.

— Наверное, вы правы, Валентин Дмитриевич, но ведь книжку в издательство не берут, потому что не член Союза писателей, а в Союз не принимают, потому что книжки нет...

— И вот вы хлопчете, хлопчете все... — меня начинает раздражать его инфантильность, и я иду в наступление:

— Вы же сами рассказывали, как вас в люди выводили — кто? Маршак, Чуковский и Алексей Толстой, да Анна Андреевна — ничего себе!

— Но мы как-то больше о стихах пеклись... у вас же книжки выходят...

— Выходят... — с грустью соглашаюсь я, — выходят... (какой кровью — в скобках потому что это не вслух, это внутри).

— А вот давайте по гамбургскому счёту — от кого сколько детских стихов останется?! Только скидок — никаких, — и он берёт книжки своих любимых Маршака, Чуковского, Заходера, потом Барто... ну, и себя, и меня... читает вслух стихи, да не просто читает, а голосами авторов, на это он величайший мастер — артист-пародист просто! Всем достаётся — Берестов строг необыкновенно: «Английские сюжеты не в счёт — только свои, оригинальные стихи», — рубит основательно, зато какая изба детской поэзии вырастает на глазах. Ведь я и не задумывался, сколько замечательного написано!

— Нет, Валентин Дмитриевич, меня считать не надо — я всего-то ничего издал!..

— Не в этом дело! — у Берестова свой подход. — Вот «Записная книжка» и «Новый бант» — это наверняка уже два... Это же много... — я очень сомневаюсь. Молчу. Берестов — это Берестов. Но мне кажется, что ему неудобно оставить меня вне будущего...

Стихи эти давно лежат в «Мурзилке» — ни слуху, ни духу... и в издательстве лежат... «Главное для писателя, — говорил Хемингуэй, — долго жить! Чтобы дожидаться выхода своих произведений...» Это он, которому договора американских издателей ещё в его бытность в Европе гарантировали выход в свет прозы в течение 60 дней!.. «Вот мы и хлопочем», — внутренне оправдываюсь я... Мне хорошо здесь с ним, Валентином Дмитриевичем, за журнальным столиком, заваленным рукописями, книгами, газетами, тут нашлось место для двух кружек без блюдец с крепким чаем, и ничто нам не мешает — ни суета, о которой мы говорили, ни телефон, который прерывает, ни жена, которая немножко ворчит...

— Уже поздно, Валентин Дмитриевич, я пошёл!

— А стихи мне оставьте! — я протягиваю. — Хотя нет, не надо... — я расстроен — не понравились. — Я их и так помню! — я сомневаюсь — не может быть!..

Но через несколько дней меня «ловит» между этажами на лестнице в издательстве главный редактор «Мурзилки» и просит зайти.

— Мы решили опубликовать ваши стихи. Это большая ответственность... — и ещё что-то в этом роде... ответственности...

«Что же случилось с ним?» — ломаю я голову. Что заставило его наложить на меня «такую ответственность» в атмосфере откровенного недружелюбия, которое я ощущал каждой клеточкой так остро, едва входил в их редакцию. И сам он, вечно озабоченный, наверное, «государственными заботами» (всё же главный редактор!), и некий прилипала из редакции — молодой человек, манерно растягивающий слова и откровенно опускающий взгляд, и две солидные литературно опытные в деле «не пущать» дамы...

Говорят, Георгий Товстоногов — «великий мыслитель», частенько начинал репетицию в своём Большом драмати-

ческом театре в тогдашнем Ленинграде вопросом: «Что новенького в террариуме единомышленников?» Не слышал, с чужих слов повторяю, но очень остро и точно... так что же случилось?

И некоторое время погода мне становится стыдно за то, что я подумал, уходя от Берестова, когда он не оставил мои стихи. Случилось. Пришёл Берестов в «Мурзилку» и, как доносит легенда, сказал буквально: «Я такого поэта нашёл!» И стал на память читать:

С красивым
Новым бантом
По улице
Хожу.
Красивый
Новый бантик
Всем людям
Покажу.
Играть и петь
Не буду.
Не буду
Есть и пить,
А буду,
Буду,
Буду
По улице ходить!

На что редактор, не смутясь, ответил: «Так у нас есть эти стихи — вот они!» — и вытащил из ящика стола.

А Берестов читает ещё и «Записную книжку». Каким же авторитетом пользовался он, чтобы пробить эту стену!

Тут-то всё и началось, когда вышел номер! Советский читатель писал много писем в редакции. Особенно читатель пенсионного возраста. И вот я приглашён снова в кабинет главного редактора, и он показывает мне письмо заслуженного, кажется, полковника прямо в ЦК партии по поводу моего стихотворения. Возмущению его нет предела: чему же это автор и журнал учат советских детей! Не есть, не пить! Бездельничать и бахва-

литься!.. А письмо для ответа на ковре переслали в журнал. И что делать? «Он, конечно, дурак, — доверительно сообщает мне (нет, не буду я называть имя моего редактора, не буду...), — но прислушаться-то надо!» Разве я не прав, что не называю его имени...

И «Литературка» не промолчала! Какая честь — вместе в Заходером «раздолбали» меня опять за... формализм... От души порезвилась подающая надежды критикесса. Она открыла своё лицо много позже, когда в пору разгула свободы, стало всем ясно кто есть кто и какого он цвета. Она оказалась чёрно-коричневого.

Но Берестов — это Берестов. Он был оскорблён — его любимые стихи оклеветали. Он умел быть жёстким и язвительным, когда отстаивал свои принципы и свою честь. И та же «Литературка» не могла отказать ему в целой полосе! Он, тихий, мягкий и доброжелательный умел быть победителем сильным и бескомпромиссным.

Да посмотрите на его лицо, на его улыбку! Даже фотография через столько лет излучает доброту, расположенность к людям и радость, что он видит мир!.. Мне кажется, ему самому иногда было трудно оттого, что столько в него Господь «уместил» всего этого, и он старался делиться со всеми, и раздавал, раздавал себя. Это происходило, как мне представляется, помимо его воли, стихийно. Он прекрасно осознавал своё богатство и, как заведено во всём цивилизованном мире, делился с менее удачливыми и менее одарёнными — это был естественный ход его жизни, его предназначение...

Господи! Издательство вдруг зашевелилось! Это после публикации что ли? Судьба! Послали мои стихи на рецензию... Валентину Берестову (!)... И вот его ответ:

«Уважаемая товарищ Покровская! (Ксана Покровская — редактор книжки «Лесные бусы», изд. «Советская Россия», 1968 год).

Думаю, что в данном случае речь должна идти не об отзыве (стихи Мих. Садовского говорят сами за себя), а о делах практических: о заключении договора, подборе художника, работе с автором над редактированием отдельных стихотворений.

Часть этой работы я попытался сделать...» и т.д.

И это абсолютно непрактичный Валентин Дмитриевич!..
Недаром же он писал:

Нет ничего прочней,
Чем битая посуда.
Что происходит с ней?
С ней происходит чудо.

Хрупка и коротка,
И стоит очень мало,
Жизнь чашки и горшка
И звонкого бокала.

Зато у черепков,
Осколков и обломков
В запасе даль веков,
Признание потомков.

Какой же у него взгляд проникающий в даль! Этот «Новый бант» и до сих пор жив. А сколько раз его печатали! Господин полковник, глашатай советской морали, как вы себя чувствуете?

Так и вышла моя книжка под редакцией Валентина Берестова, а у меня ещё одна память от него: сборник стихов «Дикий голубь» с подписью мне «От злого редактора»...

Ну, проще всего бы набить эпитетами промежутки между стихами Валентина Берестова — всё бы правдой слушалось и память была бы о нём — да не с руки мне. Стыдно это. Стихи не бывают, как и поэты, плохие или хорошие... помните... и не нуждаются стихи ни в каких эпитетах... это о другом совсем...

Я никогда не посмел назвать его без отчества, хотя и более молодые жужжали вокруг: «Валя, Валя, Валюша» и по плечу хлопали, а он меня «на вы», по имени... Это я сейчас только как-то обнаружил — ничто не мешало дружить... и когда хорошо было, и когда трудные дни накатили и у меня, и у него... На другую квартиру он переехал... и снова до ужаса неустроенный быт... и семья расползлась, и не всё мне нравилось порой, что его заставляли делать... печатать...

Но вот выходили его книжки — и радость, радость... Проза какая! Его любимой пустыней пахнет! Солнцем в накалённом песке... «Государыня пустыня», «Приключений не будет» и «Мастер птица», в которой моя любимая берестовская сказочка «Злое утро»... А Валистов Белистов спрашивает рецензию на неё уже у младшей дочери — и теперь в подарок ей за откровенность (конечно, в превосходных степенях) новая эта книжка!

Так, шаг за шагом можно восстановить годы дружбы... но только... потом, а когда живёшь — живёшь...

И не восстановимо где... но они вдвоём с поэтом Николаем Васильевичем Панченко, ещё одним моим старшим другом (замечательный он поэт и человек!), договариваются о походе в Калугу. Не о поездке, а так, по-толстовски, пешком. Я не смотрю на них, а люблюсь: у Берестова такие руки! Пальцы утончённые, длинные, а Панченко весь иконописен — какое прекрасное лицо, и говорят они так неспешно, вкусно... Оба они калужане и в дорогу берут ещё своего товарища — художника Лёву Токмакова, а мне так хочется с ними, я так люблю их стихи и рисунки, но, видно, это посещение родины, как исповедь, настолько интимно, что... стоит же мне заикнуться и возьмут, уверен, но то самое сверхчувство и удерживает от опрометчивого слова... Теперь жалею, а тогда невозможно это было, наверное, разве перенесёшься назад, чтоб восстановить...

Ну, недаром:

Нет ничего прочней,
Чем битая посуда...

И снова судьба приносит на стол Берестову уже мою прозу из другого издательства (везло же мне!), а он, как всегда, по гамбургскому счёту... и вдруг получаю рецензию (до того момента я не знал, что повесть у него):

«Кажется, повесть «Настоящий гром» — первая проза детского поэта Мих. Садовского. Это несколько эпизодов из жизни шестилетнего москвича, эвакуированного во время войны в далёкую уральскую или сибирскую деревеньку...» И много в этой рецензии хорошего, чему и сегодня хочется верить... через тридцать лет... и вывод замечательный: «Мне кажется,

что повесть заслуживает публикации...» — и далее в конце: «Словом, образ «настоящего грома», по-моему, ещё не исчерпан. Им началась книга, им её следует и завершить.» Словно он знал, что есть уже продолжение! Но продолжение было слишком «толстым», что требовало «твёрдой обложки», а это Госкомитет по печати тогдашнего Советского Союза давал только большим генералам от литературы... тут и авторитет Берестова был бессилён. Кто он в конце концов для них... и в секретариат Союза писателей ещё войти отказался...

Если бы я писал воспоминания о Валентине Дмитриевиче Берестове — другое дело. Мне хочется дать его портрет. Описывать — неблагоприятное занятие, ибо «мысль изреченная — есть ложь», а поступок — неуязвим. Я же не трактую поступки. Вот они. А они, эти поступки, — Берестов Валентин Дмитриевич.

Меня всегда поражало этакое люмпеновское «интеллигент в очках» — этакый хлюпик, негега-маразматик, так нам преподавали захребетников, сидящих на шее рабочего класса, и вот необыкновенные примеры стойкости истинных интеллигентов, моих близких, знакомых, — и добровольцев на фронте, и безвинных стойков сталинских лагерей, которые имели силу невероятную не отречься от своих убеждений, и ничто не могло их ни заставить, ни соблазнить сойти с этой стези.

И вот всю мою жизнь Валентин Дмитриевич ведёт меня своими стихами:

Даль степная в знойной дымке тонет,
Раскалённый воздух недвижим.
Не поймёшь, хохочет или стонет
Дикий голубь голосом грудным

Чуть примолк и начинает снова.
И зовёт меня в степную даль.
И душа по-прежнему готова
Всё принять — и радость и печаль.

Много печалей выпало на последнюю четверть его жизни, да не заслонили они его от мира и мир от него. И потому когда меня прокатили в очередной раз на приёмной комиссии

в Союз писателей с рекомендацией Валентина Берестова, он сам поехал на её заседание и... Он отказался потом войти в Секретариат — несправедные дела там творились, а я побил, наверное, рекорд Гиннеса: 22 года меня принимали в это творческое учреждение... никто не верит!

А он так переживал творящееся вокруг:

День настал,
И вдруг стемнело,
Свет загли. Глядим в окно.
Снег ложится белый-белый...
Отчего же так темно?

Он поэтически предвидел:

Беде не поможешь, кричи не кричи, —
Журят крикунов пожилые грачи.

Возможно, что мы беспокоимся зря.
Обычно за ночью приходит заря.

Предвидел всё и безжалостно ставил диагноз:

Один укол стального жальца.
Анализ крови сделан мне.
Он, правда, высосан из пальца,
Но убедителен вполне.

Сердце не выдержало, и никто спасти не мог... Во время войны, в эвакуации, когда он, подросток, страшно болел и болезнь усугублялась бескормицей, его спасал Корней Иванович, любовь к которому была им так замечательно и не однажды опозитизирована:

Нам жалко дедушку Корнея:
В сравнение с нами он отстал,
Поскольку в детстве
«Бармалея»
И «Мойдодыра» не читал,

Не восхищался «Телефоном»
И в «Тараканище» не вник.
Как вырос он таким учёным,
Не зная самых главных книг?!

Но, наверное, наступает такой возраст, когда никто ни спасти, ни помочь не в силах...

Одна из наших последних встреч в музее Маяковского. «Магистраль» — литературное объединение, из которого вышло много известных поэтов, прозаиков, отмечает юбилей... Уже нет основателя её — поэта Григория Левина... Берестов пришёл с опозданием... у него одышка, ему тяжело долго сидеть, а магистральцы по привычке многоречивы... но он обещал присутствовать и выступить... Я подхожу к нему в перерыве:

— Валентин Дмитриевич, извините, не помню, подарил ли вам новую книжку, хочу исправить оплошность...

— «Бобе Лее»? — перебивает Берестов, — подарили!..

— Вы помните название? — я всё никак не могу привыкнуть к Берестову за столько лет.

— Конечно, — спокойно возражает Валентин Дмитриевич. — Эти стихи стоят того, чтобы их запомнить, — и я чувствую, что у меня комок в горле — сколько же лет им не давали ходу...

А ведь он нас всех предупреждал ещё за двадцать лет до разгула нынешней свободы:

Ты не сразу бросаешь арену
И не сразу подводишь черту.
Три попытки даются спортсмену
Для того, чтобы взять высоту.

Неудача, но ты не в убытке:
Снова близок решающий миг, —
Ты готовишься к третьей попытке,
Наблюдая попытки других.

Разбежался, взлетел и — готово!
Возвещая о новой борьбе,
Выше ставится планка. И снова
Три попытки даются тебе.

А не вышло (попытка — не пытка!),
Стиснув зубы, готовься и жди.
Если вдуматься, третья попытка
Остаётся всегда впереди.

Вот передо мной лежат его книжки с автографами. Их много — и детские, и взрослые, стихи и проза, сказки... и по ним восстанавливаются годы, пройденные рядом...

Спасибо судьбе, которая дарит таких друзей, с которыми не расстанешься никогда.

Никогда, в буквальном смысле.

«ГЕРОИ НЕ ИЩУТ НАГРАД»

*Гляжу в озёра синие.
В полях ромашки рву.
Зову тебя Россиею.
Единственной зову.
И. Шаферан*

У каждого в Москве своя Москва... да, как во всяком городе, у любого старожила. Я в Москве родился, и если бы попросили меня показать её — мою Москву, начал бы не с того места на Миусах, где белый свет увидел, а с пересечения Тверской и Тверского бульвара. Опять же не потому, что там Александр Сергеевич стоит, правда, место ему всё никак не определяют... поэтому вернее: кочует...

Многожды судьба возвращала меня на этот небольшой кусочек земли столичной, и радуя, и огорчая тут безмерно... Всё описать, что с этими четырьмя углами связано — роман выйдет... а мы только на один пока обратим внимание — тот, что справа, когда от Триумфальной вниз к Кремлю идём и бульвар уже Тверской пересекли...

Вот и дом угловой. Флигель по бульвару начинает магазин «Армения» — здесь для ценителей всегда был коньяк «три звёздочки», да не московского развода и разлива — настоящий, армянский... А далее — с огромными окнами мастерская Сергея Коненкова — место тоже сердцу не безразличное... А по Тверской в этом доме до арки высоченной, во двор впускающей, кондитерский магазин самый знаменитый на всю Москву, где в безденежье зимнее студенческое можно было согреться и шоколадку за сорок пять копеек съесть. Такую теперь

и не сыщешь в дебрях сникерсов убогих. Да не в том дело... в этом доме с башенкой наверху жили люди знаменитые и дорогие всей России. А то, что довелось сойтись с ними, с кем больше, с кем меньше — подарок и счастье... В угловом подъезде Александр Борисович Гольденвейзер с Еленой Ивановной, потом державшей его музей в этой квартире... а в соседнем подъезде Леонид Викторович Афанасьев... Наберёмся сил прервать перечисление, и чтобы не обидеть никого, забыв или не в том порядке посетив, и чтобы поскорее встретиться с композитором — Леонидом Афанасьевым.

Эти строчки под заголовком, положенные им на музыку, я слушал первым. Так вышло. Даже автор их, поэт Игорь Шафран, мой хороший знакомый, ещё не знал этой мелодии. Никто. Утром я приехал к Леониду Викторовичу поработать, как договорились накануне... вижу: он усталый, невыспавшийся. «Ну, подумай, — говорит, — режиссёр совсем с ума сошёл: на семь серий написать музыку за двадцать дней! — это он о телесериале «Тени исчезают в полдень». — Я ему говорю: ты попробуй столько бумаги партитурной просто исчирикать, так и то больше времени надо, а ведь её ещё сочинить надо! Музыку!.. Ну, подумай! Совсем с ума сошёл... вот, в четыре утра лёг... понимаешь...»

Чего ж тут не понять. Кто через это не прошёл?.. Я начинаю что-то про Россини мямлить (неловко мне, что не догадался перезвонить с утра), как он «Севильского» за десять дней сочинил, и вся Италия тут же его петь стала.

— Вот послушай, что вышло, — говорит мне Афанасьев, и садится за пианино... Поёт он здорово, не по-композиторски задуманным голосом...

Гляжу в озёра синие,
В полях ромашки рву...

— А Игорь-то слышал? — спрашиваю. Я под впечатлением...

— Да никто не слышал — ты первый!.. Ну, как?

— Стоило ночь не спать!.. Правда. И стихи... — не приучены мы нахваливать друг друга... ну, если скажешь вопрошающему: «Гениально!» Так за этим что хочешь спрятать можно... И поздравлять нельзя заранее — плохая примета. Не принято. Но в десятку

он попал — я это понимаю... уверен... — Знаете что, — предлагаю я, — работа отменяется...

— Нет. Давай не так, — протестует композитор. — Отменить мы всё равно ничего не можем. Сейчас кофе. Полчаса поговорим (я ещё для повести о нём материал собираю)...

Он к этой песне так долго шёл. И не то, чтобы это вершина его... у него вся жизнь — одни вершины... одолевал он их стоически... Не для красного словца, а буквально — через пот, кровь, боль и смерть... потому и в книгу жизнь его легла... Не уместилась, конечно, не уместилась — вершин больше, чем страниц... и судьба... и Россия... Он ведь её с воздуха видел, сколько над ней часов налетал... сколько над ней боёв принял, защищая, сколько на ней крови его... Но вся людская кровь в землю уходит... и сколько он на ней недель без движения был, без малейшего, а потому и без имени — сказать не мог, написать не мог, даже глазом моргнуть... Так и остался с осколком в позвоночнике с тех пор... а был ведь совсем мальчишка!

В Семипалатинске не брали в аэроклуб, так записал себе два года лишних, благо ростом-то вымахал! И пошло... Все училище лётное в 19 кончают, он — в семнадцать Оренбургское закончил... Да когда! В воскресенье 22 июня 1941-го. Судьба? Ну, насчёт судьбы — это спорно... я бы не рискнул всё в его жизни ей подарить... а впрочем... Когда он был обездвижен и нем, понял, что к нему пришла музыка — это было такое потрясение, что могло ему и жизни стоить... Да не поверил он сначала, и волей своей заставил себя встать, а потом в часть вернуться — война же шла! Война! Россия горела... Не судьбой — волей своей вернул себе право за штурвал опять сесть. До Наркомата обороны пришлось добираться в Москву — без документов, с одной справкой из госпиталя и... пистолетом... «на всякий случай». Он вернулся в свою эскадрилью и смог снова в боевой самолёт сесть. Вопреки всему. Вопреки всем предписаниям начальства и врачей.

Здесь необходимо сделать отступление и пояснить. Все светила медицины не вняли доказательствам боевого лётчика и подписали окончательный приговор — от полётов Афанасьев был отстранён навсегда, но... командир его эскадрильи, боевой друг Филипп Пархоменко, который заменил на этом посту

капитана Леонида Афанасьева, на свой страх и риск разрешил ему попробовать... полетать... подняться в воздух...

Лётчики говорят, что даже незначительный перерыв в полётах, сразу виден профессионалам, сказывается на технике пилотирования, но... Вся жизнь Леонида Викторовича состоит из этих противостояний «но!»... Уже после второго полёта на машине с двойным управлением — «спарке» все поняли, что Афанасьев пилотирует так, будто никакого перерыва и не было...

Пархоменко отпустил Афанасьева в боевой вылет. Волновался страшно... это ж его друг боевой — Афанасьев...

А тот ногу-то свою потихоньку к педали управления ремешком пристёгивал, чтоб не видели, — не работала нога, не слушалась... Если подобиют — всё, из кабины не выпрыгнешь с парашютом... В обузу был эскадрилье?.. Да он после возвращения такие ордена заработал, что даже не вручают лётчикам — Орден Александра Невского! Таким только полководцев награждали за выдающиеся операции!

После войны, которую до конца прошли вместе, встретились два боевых друга в Москве, да как! Филипп Пархоменко стал известным певцом прима-тенором, солистом Большого театра! Леонид Афанасьев — известным композитором... Такая вот знаменитая не только боевыми делами была эскадрилья капитана Афанасьева... Он ведь тогда уже всех увлекал своей игрой на аккордеоне...

Я одного не мог взять в толк: как удалось Леониду Викторовичу сохранить... не знаю даже, как назвать... технику... навык... мастерство, может быть, пилотирования. Ведь лётчики ревниво и придирчиво относятся к своей опасной, а в военные-то годы вдесятеро более опасной работе... Небо не терпит вранья, бахвальства, опрометчивых поступков и лжи... Афанасьеву трудно было ответить на этот вопрос... и не потому, что он не знал, как объяснить мне — потому что прежде, чем произнести слова, он долго молчал, вспоминая тяжкие месяцы своей борьбы, воистину — не на жизнь, а на смерть, с тяжёлым ранением... «Я летал всё это время, что был неподвижен. Летал всё время. День и ночь. И когда бодрствовал, и когда спал, и когда был в забытьё»... Кто-то не верит? Напрасно. Я хорошо знал этого Человека. Он пишется с большой буквы!..

Леонид Афанасьев. Он везде, во всём был «не как все». Боевал не как все, умирал не как все... Никто не брался осколок из его позвоночника извлечь... не умели... не делали нигде таких операций — шансов не было... А он уже после войны, когда оставил авиацию и стал студентом консерватории, уговорил профессора-хирурга, потому что учиться не мог — невыносимая боль не позволяла сидеть за роялем... а в то время уже не мог он жить без музыки... Что ему пенсия военная да кресло на колёсиках в двадцать три года!...

Не было шансов. И не вышло чуда. В Москве, в знаменитой клинике, из коридора морговского его, уже покрытого простыней, обратно на стол хирургический вернули. Бегом. Скорей. Случайно увидел другой профессор и решил попробовать вернуть человека обратно, с того света вернуть. Чудо? А может, я думаю, он так жить хотел, что его на небесах не приняли? Не ко двору пришёлся. Там смирившиеся нужны, а он только: жить и жить! Всё «не как у людей»...

Если бы мама Леонида Афанасьева, преподаватель музыкального училища и его первый учитель, заранее могла знать, чем для него музыка станет! Может, и пересилила бы она тягу сына в небо. Но о чём бы рассказал он нам, если бы не летал и не прошёл сквозь ад войны? Сколько людей музыке учились... сколько композиторский диплом получило... а сколько КОМПОЗИТОРАМИ стало?

А он стал композитором и рассказал о таком, чего нам не видать вовеки...

В Ташкентскую консерваторию он тоже попал не как все.

Когда вчистую по ранению списали из армии, решил учиться строить самолёты — ничего же ещё не умел, не успел он приобрести мирной профессии — он был только боевой лётчик... Пошёл на подготовительные курсы... да не в технический вуз, туда уже опоздал, не было мест, а... в консерваторию — не всё ли равно, мол, где русский язык и историю вспоминать: за пять лет забылась школьная наука... А на курсах, конечно, организовал он оркестр, как теперь бы сказали эстрадно-симфонический, и руководил им. Исполняли ребята не только известную музыку, но и первые опыты своего руководителя... Там его и услышал Евгений Григорьевич

Брусиловский, замечательный, надо заметить, композитор и педагог... его «Ласточку» тогда вся страна пела... и чудесный «Вальс» у всех на слуху был...

Эта встреча и повернула жизнь юноши Леонида Афанасьева.

Стоит вспомнить, что война перемешала жизнь буквально всех людей в стране... Многие эвакуированные вузы, художественные и музыкальные училища, консерватории, балетные школы, театральные и музыкальные коллективы... после окончания войны не спешили возвращаться обратно на покинутые и разорённые места... Многие профессора, педагоги обжились за пять лет на новых землях, да так и остались там навсегда. Это сильно размыло черту российской провинции — она превратилась просто в глубинку, где был очень мощный, выживший в страшных чистках и передерягах судьбы, слой интеллигенции.

Когда профессор Брусиловский сказал, что больше ничему научить своего любимца не может, двинулся его бесстрашный ученик в Москву — без знакомств, без денег — но с одним страстным желанием: взлететь высоко в музыкальное небо.

Его приняли в аспирантуру Московской консерватории — ни у кого не возникло сомнений в его таланте. Выдающиеся композиторы завершали огранку его таланта: Арам Хачатурян, Юрий Шапорин, Виссарион Шебалин...

Да, было что сказать людям этому красавцу парню — высокому, черноволосому, с орлиным взглядом, он был рождён для неба и опять вернулся в него... но теперь своей музыкой.

Представьте только, что за «Концерт для скрипки с оркестром», первое крупное сочинение, мальчишке в общем-то, ему ж и тридцати не было, присудили Сталинскую премию... А сочинение было посвящено вовсе не Вождю всех народов... это сочинение было о тех, с кем служил и воевал.

Можно сколько угодно говорить и убеждать окружающих, что художник опередил время, что он будет понят потомками и т.д. — я даже в кавычки не беру эти затёртые пошлости... Востребованность — вот, что необходимо художнику! Это его мерило, и это его судьба! Можно сколько угодно издать красномомных собраний сочинений и сделать их обязательной программой оболванивания целого государства, можно, но они

неизбежно превращаются в дубину, которая колотит по голове — не больше. Можно назначить пролетарским поэтом, рупором эпохи, заставить писать коммунистические псалмы и гимны, вырабатывать прозаические кирпичи и колоннады поэм — здания, из них построенные, рухнули на нашем веку, на наших глазах, и долго ещё будет разъедать горло ядовитая пыль, в которую превратились эти, с позволения сказать, творения...

А можно ночью в конце недельного недосыпа сочинить мелодию «Гляжу в озёра синие, в полях ромашки рву...», и она навсегда останется на той земле, из которой вышел, которую полил кровью и в которую ушёл безвременно и полузабытым...

Полузабытым? А как возникает легенда?.. Порой это происходило на моих глазах. Это не одномоментно, бывает она годами, десятилетиями складывается! Но несколько раз я был свидетелем возникновения такого феномена... Жизнь Леонида Афанасьева несомненно — яркий пример этого... Обычно легенда — это послесловие в веках... с Леонидом Афанасьевым случилось другое: он жил в легенде, внутри её... И вот он ушёл. Навсегда. Она осталась. Может быть, тоже навсегда?..

Но до этого ещё далеко. Мы пьем чай. Кофе. Курим. Сбиваемся с ритма...

Там, на подступах, было уже точно и автобиографично:

Он подрос и осмелел,
И с мечтою затаённой
В небо синее смотрел
Соколёнок, соколёнок...

У Леонида Викторовича как-то так получалось, что поэты про него стихи сочиняли! Для его же песен. Это Леонид Куксо написал... про его мечту летать, про его судьбу... фильм с этой песней тоже про лётчика... «Это было в разведке»... и там, кроме песен, такие симфонические картины!.. Огромные и порой перевешивающие эмоциями своими сам фильм, или так поднимающие его, как только музыка умеет и может... Вспомните Дмитрия Шостаковича с «Гамлетом», Михаила Зива с «Чистым небом», Кирилла Молчанова с «А зори здесь тихие», Альфреда

Шнитке с «Мёртвыми душами» — примеров множество, и музыковеды, специалисты ещё объяснят этот феномен, но мне кажется, что одна из причин такого развёрнутого симфонизма в кино — духота, в которой мы тогда жили, свирепая цензура не то что любого произведения — каждого слова и шага. Вот и находили возможность высказать боль свою (выдав её за страдания персонажей) композиторы. И спасибо режиссёрам, которые не ограничили их, может быть, интуитивно, а может быть, сознавая, какую серьёзную услугу они оказывают... даже не им, композиторам, — музыке, эпохе...

И опять — необъяснимо, но я пишу стихи песни для него — про него:

За давностью лет не забыты
Страницы листов наградных.
Везде они ищут по свету
Былых адресатов своих.
Героев не двое, не трое...
И строки приказов звучат.
Награды находят героев —
Герои не ищут наград!

Спасибо Иосифу Кобзону — он отлично записал эту песню... Может, боевому лётчику Леониду Афанасьеву ещё вернут его Звезду Героя — ведь песни, как известно, не умирают, а порой сбываются... Это же его, Леонида Афанасьева, в самом конце войны представили к званию Героя Советского Союза — и не вручили... Почему? Причину нашли... не хочется даже об этом писать...

Может быть, власти больше не нужны были герои — ведь это она, власть (так она считала) выиграла войну, помните: «Мудрое руководство... гениальный стратег» и т.д. А расплачивалась (за всё платить надо) нами... гражданами...

Он умел дружить. Без фанаберии, искренне и открыто. Любил угощать и не считал копейки. И горькие стихи понимал, и мою неловкость перед ним, и всеобщую тягу к нему при его популярности, при его статности, страстности и обаянии. А что взамен? И я писал...

А что мы можем предъявить
Из биографий недопетых —
Полуголодных, неодетых,
Уже спешили нас бомбить.

Недошалив, недоиграв,
Не жили мы, не умирали,
Но не давали нам медали,
И разве кто-то в том неправ?

И может, было нам страшной,
Теперь мы только понимаем,
Но ничего не поменяем
Из тех войной подбитых дней.

Живём в тени фронтовиков,
Не боевые, тыловые,
А что меж нами — грань веков?
Десяток лет. Но мы иные.

А нам былого не забыть:
Отцов погибших,
Смех ребячий.
Всё ценится уже иначе,
И что теперь нам предъявить?

Теперь знаменитый композитор Афанасьев колесил по России, по местам, над которыми летал, воевал... Всюду он был желанным гостем, родным человеком... черпал из бездонной людской доброты, согревался их теплом и отдавал сторицей... Клубы, заводы, общежития, дворцы культуры, театры... телевидение, радио, журналы, газеты...

На Центральном телевидении организовали программу «Алло, мы ищем таланты!», и в жюри среди прочих за столом сидели рядом два друга, два композитора — Леонид Афанасьев и Микаэл Таривердиев... После первой же передачи все с нетерпением ждали выхода следующей, чтобы посмотреть на них — красивых, свободно общающихся, не зажатых, не похожих на других.

В искусстве статистика — не доказательство, но если достиг высоты, понимаешь, как трудно удержаться на ней, и вот тут список убеждает: две симфонии, концерт для скрипки, около пятидесяти фильмов(!), оперетты, музыка к драматическим спектаклям и, конечно, песни...

Он надевал парадный пиджак с наградами только в День Победы, когда встречался с оставшимися в живых своими однополчанами... Если кто-то из незнакомых видел его при таком параде впервые и не подозревал о его боевых путях, удивлялись... а он только усмехался, шутил... казалось, ему износа не будет... Работать он умел, дружить... юлить и приспосабливаться — нет!

Взгляните на фотографию. Это уже начало девяностых, и знаете, что спрашивает меня Леонид Викторович, пока фотограф налаживает технику: «Скажи, как жить? Ты знаешь?» Я не знал.

Он никогда не был небожителем. Он был в небе лишь для того, чтобы защитить землю, и когда теперь видел, как в подземном переходе через Тверскую, на площади Пушкина, здесь в двух шагах от его дома, свободно и бравируя, продают фашистские знаки и фашистские газеты — его руки сжимались в кулаки, желваки ходили, и он думал, что этих фашистов музыкой не убедить и не победить, что этих надо уничтожать сверху, с неба, всей огневой мощью... И он опять рвался в небо! Он не мог понять и пережить — фашисты в центре Москвы! За что же бились насмерть и заплатили невиданной кровавой ценой!

Может быть, лексика устарела? Нет! Мне повезло в жизни быть знакомым и дружить со многими выдающимися лётчиками, и я учился у них верить в справедливость и мастерство... В небе не спрячешься за чужую спину, не отсидишься в пропагандистском тылу и не простишь измену. В небе ценят то же, что и на земле. Только платят много дороже... и без отсрочки...

Казалось, что ушло его время. Он не смог вписаться в новое... Мне так показалось... Не знаю — прав ли?..

Нет уже ни дорогого моему сердцу Леонида Афанасьева, ни Игоря Шаферана. Осталась их песня о России. И скажем без пафоса, а по праву: Россия не должна забыть тех, кто любил её искренне, беззаветно, не жалея ни крови, ни жизни.

И мы тоже будем помнить, потому что все вышли оттуда. Она — Родина наша.

ЗИГА

На самом-то деле Дзига, но «д» так уютно притулилось к «з», так слилось с ним, что получалось Зига — и произносить легче, и вроде бы понятнее, хотя что тут понятного... но все друзья звали его Зига, а между собой, за глаза, он был Зига и для тех, кто помоложе или вовсе с ним не знаком. Так часто случается: Мурадели все звали Ваню или Ваня, Афанасьева — Лёня, Щедрина — Родик... это в России выражение крайней близости — дружеской ли, душевной ли...

Я тоже звал его Зига, но только за глаза, а в общении — Сигизмунд Абрамович, Сигизмунд Абрамович Кац. Некоторые мои однолетки, то есть вдвое, по крайней мере, моложе Каца, обращались к нему на «ты» и «Зига», но мне не по душе это микошонство... Зато он всегда говорил мне запросто, по-отечески: «Миша» или «Садовский»... хорошо от этого становилось...

Трудно припомнить, когда мы познакомились с ним лично, потому что, как я выяснил потом, песни, которые любил петь с детства, именно им написаны, а вот как я его увидел и когда... не припомнить, но точно: совсем молодым, потому что...

В ранние шестидесятые, когда я начал получать первые копейки за литературный труд, но ещё держался за инженерный стул, чтобы прокормиться, гонорары выдавали просто: приходил автор в бухгалтерию в назначенный день и расписывался в ведомости, как за обычную зарплату, и дней таких в месяце тоже было два, как на любом производстве. В эти два дня выстраивались длинные очереди к заветному окошечку, но никто не сетовал, потому что тут можно было повидаться с друзьями, познакомиться с новыми интересными людьми, а то и затеять какое-нибудь интресное творческое

дело, которое начиналось тут же в буфете за рюмкой... тогда ещё было очень далеко до горбачёвской алкогольной придури... И вот в одной из очередей я вдруг буквально за спиной слышу быстрый, чуть с придыханием, знакомый говорок — конечно, это Зига! Несомненно. Я радостно оборачиваюсь, мне приятно, я горд — рядом с самым знаменитым Зигой в очереди за гонораром! И говорю: «Здравствуй, Сигизмунд Абрамович! Что, песня пошла?» Зига действительно стоит прямо за мной, как я его не заметил?! Он берёт меня под руку, притягивает к себе и сообщает полушепотом, как самую важную тайну: «Миша! Песня пошла, когда бухгалтер поставит галочку и скажет: «Поставьте сумму прописью и распишитесь!» Понял!?»

Ну, кто может ещё так сказать? Чьи афоризмы и изречения не менее знамениты, чем его песни?! Конечно, это Зига!

Какие песни? Вопрос резонный. Они, песни Каца, почему-то очень быстро, я бы сказал, буквально сразу же, как начинали звучать, — теряли автора. Поразительное постоянство повального большинства его опусов...

Ну, кто это в огромной стране не повторял вслед за сипловатым голосом любимца народа Михаила Жарова:

Еду, еду, еду я по свету
У прохожих на виду,
Коль я на машине не доеду,
Значит, я пешком дойду!

Или мы забыли?

Здравствуй столица,
Здравствуй Москва,
Здравствуй, московское небо!
Каждому дороги эти слова,
Как далеко бы он не был!
Здравствуй, моя столица,
Здравствуй, Москва!

Это всё из того же фильма «Машина 22—12»

Он стоит, модно одетый, на знаменитом «пяточке» у дверей Дома композиторов, где перекрещиваются многие пути — музыкальные, литературные, человеческие... о встречах на этом крошечном пространстве у афиш или за ними, на вытоптанном типичном московском скверике, загаженном собаками до... не стоит об этом... Лучше о том, что смело можно браться за перо и увековечивать — увековечивать именно те слова и мысли, что возникли здесь, где прошли буквально все музыканты от гениального Шостаковича, который жил в этом доме, Дунаевского, Хачатуряна, Хренникова... до самых молодых, ещё студентов или даже школьников, которые тут делали первые шаги в музыке, исполнительстве и сочинительстве, здесь рождались с полуслова широкие полотна и песни, новые спектакли, гастрольные поездки, знакомства, кончавшиеся дружбой, а иногда и свадьбой...

Давайте перечислим песни Сигизмунда Каца — несколько хотя бы, без которых невозможно представить те годы, без них мозаика жизни того времени будет выглядеть щербато и требовать немедленного восстановления — восстановления не только картины — справедливости... Итак!

Сядь со мною рядом,
Рассказать мне надо...

Вряд ли много людей вспомнят, что это песня из кинофильма «Боксёры», начатого в 1940-м на Одесской студии и вышедшего на экраны в первые месяцы войны...

А «Два Максима»...

Не припоминаете? Разве? Но и сегодня повторяется через столько поколений:

Так, так, так, — говорит пулемётчик,
Так, так, так, — говорит пулемёт...

А старшее поколение ещё помнит голос Бориса Крючкова, «главного» Максима... это он впервые исполнил песню...

«Шумел сурово брянский лес»...

Это песня из самых трудных месяцев войны 1942 года...

А вот уж поистине народная «Сирень цветёт», в которой Зиге принадлежит не только музыка, но и всем известный, народный в буквальном смысле, рефрен...

Сирень цветёт,
Не плачь, придёт...
(... война пройдёт.)
Твой милый, подружка, вернётся...

Это тоже из военных лет. Песня родилась в 1944 году, и буквально не было окна, из которого не слышался бы сладенький тенорок Владимира Нечаева, повторявший эти слова. А один солдат в письме спрашивал композитора: откуда, мол, поэт знал, что война в мае кончится, ведь сирень в мае цветёт, а он так угадал... Это не поэт угадал — сам композитор, не хватило ему стихов Алексея Суркова, и он написал для «рыбы» эти строки... а они остались, как примета времени. Впрочем, это счастливая судьба многих его творений... Вспомните!

«По московскому времени», «У нас в общежитии свадьба», «Дай руку, товарищ далёкий», «Если хочешь ты найти друзей»...

Может быть, совсем молодым людям эти песни не бередают душу, не возникают в памяти вслед за названием мелодии и строчки... а более взрослые и пожилые, знающие их, наверняка не связывали с именами композитора, тем более авторами стихов...

Я не берусь объяснить этого феномена, но так оно случилось. Зига, по-моему, относился к этому спокойно... шли его оперетты, звучали необычайно широко его песни, сам он пользовался, я бы сказал, заинтересованным вниманием коллег — с ним рядом всегда было легко и даже весело... его остроумные реплики свободно соперничали с остроумием его знаменитых по этой части друзей Михаила Светлова и Юрия Олеши...

Директором Всесоюзного издательства «Музыка» в то время был Абрам Гольцман. Издательство находилось, как бы по наследству, в бывшем знаменитом нотном издательстве Юргенсона на Неглинной улице в самом центре Москвы... Сигизмунда Каца пригласили поработать для детей, написать

для них песни, и он не отказался, хотя был занят, но... гонорар, мягко говоря, разочаровал его... Он решил поговорить с директором на эту тему. Пришёл, но кабинет был пуст, и секретарша куда-то отлучилась... тогда Сигизмунд Абрамович взял листок бумаги (говорят, даже нотной), написал и оставил на директорском столе:

«Писать для детей надо так же, как для взрослых, только немного лучше!»

А. М. Горький

И чуть ниже:

«А платить меньше!»

А. М. Гольцман»

Говорят, такая саркастическая «докладная записка» подействовала, платить с тех пор за произведения для детей стали больше.

В Союзе композиторов работа шла по секциям... одна из них — «Массовой песни» собирала композиторский цвет Москвы. Все те, кто был причастен к созданию любимых странной песен, и авторы музыки, и поэты приходили сюда ... Только что родившиеся шедевры исполнялись прямо с «горячего листа» чаще всего композиторскими голосами, в основном почему-то тихими и сиплыми... но зато какие мелодии! Иногда появлялись знаменитые певцы, чтобы «показать» песню, порой авторы приносили готовые записи перед эфиром, перед выходом фильма... фамилии перечислять бессмысленно — все бывали тут. Здесь была своеобразная академия песни, разговоры и оценки прослушанного произведения — существовала поистине потрясающая школа творчества... Никто, конечно, не заботился о том, чтобы высказывания, прямо скажем, великих мастеров остались на бумаге... жаль... уходили отсюда «в люди» только песни и остроты, потому что среди того поколения композиторов были великие острословы, такие как Никита Богословский и Сигизмунд Кац...

Зига никогда не говорил громко или резко, часто подходил к роялю — он играл великолепно, готовился стать пианистом, вернее сказать, стал им, но мелодический дар перетянул...

он подходил к роялю и сходу показывал своему товарищу, где его мелодия похожа (слишком уж) на существующую песню. Он компилировал так остроумно и неожиданно! Это никто не записал, это не воспроизвести... это ушло вместе с ним! Как жаль!

Его улыбка редко исчезала с лица. Какие душевные тревоги прятались за ней! А их немало выпало на долю провинциального юноши из Твери, приехавшего в Москву искать свою дорогу... Конечно, ему повезло, что семья Гнесиных увидела, услышала и оценила его... Елена Фабиановна следила за его успехами пианиста, а её брат, композитор Михаил Фабианович, убедил юношу, что его предназначение в жизни — сочинять!

И юноша стал автором, музыкальным руководителем, композитором самодеятельной «Синей блузы», именно там прозвучали его первые опусы. И под его музыку синеблузники распевали знаменитое:

Мы — синеблузники!
 Мы — профсоюзники!
 Мы не баяны-соловьи.
 Мы только гайки
 В великой спайке
 Одной трудящейся семьи.

Он закончил Московскую консерваторию в трагическом тридцать седьмом. Как вообще уцелел он в сталинской мясорубке, имея в паспорте страшное по тем временам обвинение: место рождения Варшава... при фамилии Кац? Его тянуло к большим, крупным формам: уже сложившийся музыкант, в 1940-м закончил оперу «Капитанская дочка» по повести Александра Сергеевича Пушкина, но она так и не увидела сцены — время потребовало совсем другого. Время военное, трагическое, небывалое.

Зига пишет песню за песней, и они оживляют это время. С ним сотрудничают Анатолий Софронов, Михаил Светлов, Зоя Петрова, Алексей Сурков, Алексей Фатьянов, Николай Доризо, Иосиф Уткин...

Отношение Зиги к слову было чрезвычайно острым, может быть, поэтому его песни написаны на стихи запоминающиеся,

простые, особенные — песенные. И сам он любил играть словами, делал это мастерски, виртуозно, он очень остро чувствовал фонетику написанного, ассонансы, которые рождают рядом стоящие буквы, слова, он удивительно оперировал этими ассонансами самым неожиданным образом. То, что не слышали другие, он мгновенно осознал и превращал в отточенную по форме шутку, остроту...

Приведу поразительный пример. Известный учёный музыковед, видный музыкальный критик Владимир Зак по просьбе Всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия» написал аннотацию к авторской пластинке песен композитора Сигизмунда Каца. Как обычно, эта небольшая статья была помещена на второй стороне конверта, в котором хранился диск. Пластинка вышла в свет, была моментально раскуплена, имела большой успех.

Что за этим последовало, рассказывает сам Владимир Зак:

«Когда пластинка вышла, Кац позвонил мне и сказал: «Люди меня спрашивают: — Что же это такое? Здесь на лицевой стороне — Кац, а там, на заднике, — Зак? — А я им тут же ответил: — Это у нас Государственный ЗакКац!» Когда же мы встретились с Сигизмундом Абрамовичем, он в ответ на моё восхищение этой его хохмой стал тут же импровизировать, говоря о том, что теперь Союз композиторов, после выхода этой пластинки, получившей хорошую прессу и имевшей большой успех, может вполне выпускать стенную газету «Зак Качество». Когда же я сказал ему: «Сигизмунд Абрамович, дорогой, как же вы так чувствуете вот эти параллели наших фамилий!» Он ответил: «И вы тоже должны принадлежать к этому племени, мы с вами образуем общее КацЗакчество!» Забыть это нет никакой возможности...

Я привёл лишь одну из импровизаций Сигизмунда Каца для того, чтобы снова, по прошествии долгих-долгих лет, перенестись в ту атмосферу творчества, которая заполняла всё обжитое Зигой пространство — эта острота чувства и мысли были основой его жизни и работы. Он не написал ни одной равнодушной ноты — мог ошибаться, заблуждаться, но никогда не был холодным, расчётливым и равнодушным.

Поэтому «вся страна поёт его песни» — это не газетный штамп, это простая констатация того, что было на самом деле,

но я никогда не встречал его имени в композиторской «обойме»... Идут по театрам страны его оперетты «Взаимная любовь», «Чемпион мира», «Звёздный рейс», лучшие актёры, певцы повторяют и повторяют его мелодии, пластинки разлетаются, но...

Широкая публика не знает ни его фамилии, ни его чуть лукавого, с вот-вот готовой появиться улыбкой, лица. Он, Народный артист, лауреат Госпремии не мелькает на экране телевизора, не даёт интервью, не кочует с воспоминаниями по страницам журналов... он работает... удивительно ровно, без спадов, много десятилетий...

По всему миру летят его мелодии — это не голословно! Ведь знаменитый номер «Партизаны» в Ансамбле народного танца Игоря Моисеева с успехом «на ура!» сколько уже десятилетий восхищает мир, а в основе его мелодия песни Сигизмунда Каца «Как у дуба старого», написанной ещё в конце тридцатых годов! Более шестидесяти пяти лет назад!.. И это всего лишь один пример...

Вот его коренастая фигура у входа в Дом композиторов. Вечная недокуренная сигарета в уголке рта... Он останавливает меня, как обычно, берёт под руку и притягивает к себе: «Садовский, ты когда обо мне напишешь?» Я озадачен, но нахожу, что ответить: «Сигизмунд Абрамович, вы же сами книгу издали... и о встречах с Есениным, и о выступлениях с Маяковским, и о своих знаменитых песнях!» — «Это не то! — машет рукой Кац. — Вот о других же ты написал!..» Я чувствую себя неловко. Ещё один обиженный композитор, человек... После появления в печати серии рассказов, а потом и злополучной книги «Звонкие судьбы» (в соавторстве с В.Викторовым) столько людей на нас обиделось, столько раз этот вопрос нам задавали, почему мы о них не написали — ведь у рассказов и книги подзаголовки «Биографии песен»... Мне неловко, но я успокаиваю себя: Зига шутит... иронизирует... Я не поверил, что он правда очень хотел, чтобы о нём написали, что ему это необходимо на склоне лет, что он страдает от невнимания к своему творчеству, что его терзает это невнимание... мне казалось тогда, что он такой известный, знаменитый!.. Это теперь, задним числом, понимаю, что невольно ранил его... а тогда... Нет, не почувствовал, не поверил. Вот и вторая часть книги, продолжение, готова по

просьбе читателей и издательства, но и там нет рассказа хотя бы об одной песне Каца. Как же так получилось, что за рок?.. Нет у меня ответа. Но уже другое время на дворе, и новому обществу не нужны ни песни Каца, ни эта книга... Теперь только сожаление терзает мою душу... да ничего не исправишь...

Он ушёл тихо и незаметно.

А чудо всё же произошло. Сегодня понятно, что не памятник ему тот, что установлен в центре города Брянска, и на котором выбиты строки песни Сигизмунда Каца «Шумел сурово Брянский лес», а бестелесные, но потому и нетленные мелодии поистине НАРОДНЫХ песен Каца. И тут ничего ни прибавить, ни убавить. Это так и есть: едет «Машина 22—12» и «Сирень цветёт», и это будет вечно...

А боль души и сожаление уходят в строки стихов. И я снова их вспоминаю и повторяю, как ещё больший укор себе... ведь так уже было... почему же снова? Неужели жизнь и вправду ничему нас не учит! Это покаяние — малая частичка неотданного долга замечательному человеку.

Не откладываете встреч,
И задерживайтесь долго,
Впрок ни часа не сберечь,
Не вернуть ни дня, как долга.

Что себя потом корить, —
Ни прибавить, ни исправить,
Ничего не повторить,
Телеграммы не отправить.

И утраты каждой боль —
Друга противостоянье,
Согласились чёрт и Бог:
В наказание — страданье!

Сколько раз кошмар ночной
Опрокинет из постели,
Время самый страшный зверь —
Опаляет душу в теле.

Не утишить боль потерь.
Заменить утраты нечем.
Сожалением теперь
Обеспечен, как ни вечен.

Не откладывайте встреч,
Не ленитесь, не скупитесь,
Как там жизнь ни перечь,
Повидаться торопитесь!

ПРИЗНАНИЯ ЧЕШИРСКОГО КОТА

В тишине московской квартиры на берегу Яузы, неподалеку от Электрозаводского моста, когда разойдутся по своим дневным делам люди, собираются за хлебосольным столом на очередное ежедневное «безумное чаепитие» персонажи одного автора, Ч. Л. Джонсона, жившего во второй половине позапрошлого века (1832—1898), и более известного всем читателям под именем Льюиса Кэрролла.

Чай разливает Чеширский Кот, каждый раз предстающий в другом виде и другом наряде, впрочем, как и все остальные сотрапезники, поскольку все они дети разных художников, иллюстрировавших замечательные книги, может быть, лучше сказать, сказки, может быть, проще сказать фантазии и пророчества английского математика, рассказанные маленьким девочкам просто для забавы... И что за воздух в этой стране, Англии, что так и тянет учёных, особо почему-то математиков, рассказывать детишкам в своей семье сказки, которые потом становятся книгами, замечательными и любимыми всеми в мире: и детьми, и взрослыми, и не обязательно читающими на английском, потому что... переводят, переводят, пересказывают эти книги на разных языках... это всё понятно и прекрасно...

Другое совершенно удивительно: как эти чаёвники попали в московскую квартиру. Теперь это не вопрос и не секрет: здесь одна из лучших в мире, самых полных и умело подобранных коллекций книг замечательного писателя, собранная человеком не только удивительным, но и замечательным, гостеприимным и добрейшим, и уж, конечно, по-московски хлебосольным. Зовут его Александр Михайлович Рушайло.

Давайте мы не будем говорить о нём в прошедшем времени, не будем, тем более что и в самом деле жить бы ему и жить,

и перевалило бы ему за не далеко шестьдесят сегодня, а он и до этой круглой даты не добрался...

О друге писать всегда и трудно и неблагоприятно... по отношению к самому себе, потому что вечно недоволен: не о самом главном сказал, не так сказал, не сумел рассказать, какой он замечательный — ну, кто же лучше тебя, друга, знает его и знает то, что ты не дотянул, куда как далеко не дотянул до оригинала в своём изображении... Ну, что же делать... казнить только... ибо никакие превосходные степени не передадут сути чистоты, доброты и подвижничества, ума и доброжелательности, эрудированности, увлечённости и десятков других достоинств Александра Михайловича... да чего там, Саши... мы же чай к нему пришли пить... Не буду я эти превосходные степени употреблять — они кроме недоверия к повествованию, ничего не добавляют — враньём всё покажется. Нет ангелов на земле. А я и утверждать такого не берусь, и примеров у меня нет — ни одного... поверьте...

— Что ж у тебя столько «котов», Саша? Ты вроде не кошатник?

— Послушай, но откуда у тебя такое сродство, такое проникновение что ли в этот простой текст, откуда любовь пошла? Может, оттого, что и ты профессиональный математик, учёный со степенью, умными «штуками» занимавшийся для полёта к другим планетам? Откуда?

— Я для тебя рассказываю? Или для читателей?

— Или! Ты так здорово рассказываешь, что записывать надо! Чайку, чайку горяченького...

— Давай сделаем так: я тебе расскажу, а ты выбери, что для читателей!

— Согласен, но знаешь только, почему? Если твой рассказ записать — книга будет, это будет прекрасная книга, а потом из неё мы возьмём из каждой главы понемногу, чтобы можно было уместить и в журнале, и в газете, и в эфире...

Он не успел записать этой книги, он в палате реанимации продиктовал последнюю свою статью... конечно, о своём любимом Кэрролле... она опубликована... а книга... Книга осталась навсегда в том виде, как была задумана им, — его книга: уникальная коллекция изданий трёх сказок Льюиса Кэрролла, оригиналы иллюстраций многих и многих прекрасных художников к

этим книгам с автографами и без, статьи и материалы по этой теме, библиография, каталог, ставший бестселлером среди учёных...

Ну, по порядку, по порядку. Житомир далеко от столицы, там мальчик родился и рос, школу с медалью закончил, а вот учиться поступил в Московский университет на мехмат, да ещё в 1953 году! С такой подпорченной национальностью анкетой! С первого захода! Провинциальный мальчик..., извините, не провинциальный! Он с детства был увлечён книгой, а книга все выводит на самые вершины Духа, и нет там ни провинции, ни окраин, потому что в начале было Слово, и Слово — есть Бог. Какая же провинция!

Он блестяще закончил университет и блестяще защитил диссертацию, и виделись ему полёты на далёкие планеты...

Саша был однолюбом. Во всём. Всю жизнь проработал в авиамоторостроении, в одном НИИ, всю жизнь прожил со своей Маргаритой — он же был Мастером, и всю жизнь любил Книгу, как он говорит, с восьми лет, когда был поражён подарочным изданием Шевченко... и пришла любовь, и превратилась в страсть, и не покинула его уже никогда...

Он рано утром к открытию «Союзпечати» бежал и стоял у киоска, чтобы на гроши, выданные мамой для завтрака, купить новые книжоночки, брошюрки из «Библиотеки бойца» или «Знание — сила».

Не обойтись нам без цитат: «Первое моё крупное приобретение — пятитомник Ильи Эренбурга. Мне кажется, я с самого начала знал, что книга интересна не только своим содержанием, информацией, но и тем, что она — вещь, произведение искусства. Потом стал понимать, что книга может быть носителем судьбы. Или судеб. Как-то в беседе с моим учителем А. И. Маркушевичем¹ я спросил: — Алексей Иванович, вот вы купили Фёдоровское издание Евангелия, зачем? Ведь оно у вас есть. — Ну как же, Александр Михайлович, — ответил он, — это совсем другая книга, другая история, иная жизнь».

Да, пришла другая жизнь, в которую он погрузился, в которой находил защиту от действительности, в которой он существовал четырёхмерно, ибо перевоплощался и сам передвигал

¹ А. И. Маркушевич — выдающийся библиофил, профессор МГУ.

время. Собирательство, конечно, состояние необычное, я бы сказал умственный лунатизм, и объяснение только затуманит и исказит суть... Он там, в своём собирательстве, в своём труде, напряжённом и непрерывном, труде по удовлетворению страсти, был свободен в несвободной стране, был недосигаем в парении на уровне Алисы, в общении с коллегой, которому стал равным партнёром! Вдумайтесь: более пяти сотен (!!!) изданий Кэрролла! На 37 языках мира! В 50 переводах! И полтысячи оригинальных рисунков, иллюстраций нескольких десятков художников, и статьи, и библиографические материалы, и...

Прислушаемся к голосу этого человека: «Знаете какая разница между приобретателем и собирателем? Приобретатель быстро теряет интерес к предмету, а собирательство предполагает перспективу развития».

— Разве, Саша?

— Ну, конечно, человек должен сосредоточиться на том, что хочет собирать, он должен любить людей, восхищаться людьми, работать для них. Представление, что собиратель живёт в мире одних только вещей, — глубоко ошибочно! Собирательство — это постоянный поиск, в основе которого лежит труд, упорство, иногда упрямый автоматизм действий и, конечно, интуиция.

Он к своим находкам относился не то что дружески — это мало сказать, с обожанием и нежностью отца! Он лечил и ласкал свои находки, он построил для них такой дом! Своими руками с ловкостью и вкусом краснодеревщика и тщанием и аккуратностью математика! А папки для листов рисунков! А рамки для настенных иллюстраций! Они славно зажили в этом московском доме и даже оставили место хозяевам!.. Но они не засиживались тут. Сам Рушайло так выстраивал их жизнь: «Поиск-находка-изучение-открытие-публикация, то есть использование возможности представить то, что ты нашёл, другим людям: устроить выставку, рассказать, показать, издать каталог».

Его радость, его счастье были в том, чтобы поделиться с другими своим новым пополнением. Пригласить всех на чаепитие!

Девочка Алиса влюбила в себя Сашу Рушайло ещё в школе, а ведь он по натуре — однолюб!

Я много лет был уверен, что коллекционеры богатые люди. Увы! Жизнь сводила меня со страстными и выдающимися собира-

телями — все они были изначально малосостоятельные люди, и по мере их собирательства возрастало не их богатство, а стоимость их коллекции. Сами же они так и оставались всю жизнь людьми без лишней копейки, ибо эта лишняя всегда шла не в семейный бюджет, а на улучшение коллекции, на удовлетворение страсти... И счастье, конечно, когда рядом с Мастером есть Маргарита...

— Посмотри, — это прижизненный перевод, — говорит мне Саша, — и видишь — золотой обрез! А шрифт, шрифт...

— Но это ж бешеные деньги! — восклицаю я.

— Совершенно не о-бя-за-тель-но! — лукаво возражает Саша.

— Серьёзно?

— Совершенно! Куплено на Арбате у букиниста за... пять рублей!

— За пять? — я не верю. (Это когда зарплата при Брежневке была сто двадцать у нас, мэнээсов)

— Ты пользовался гипнозом?

— Нет, моды не было тогда на Кэрролла, а продавец... хороший человек, но... не профессионал, не разбирался в книгах... повезло...

Везёт не всем в данном деле, а тем, кто страстно этого желает! Для него все переводчики, все художники, приложившие руку к изданию Кэрролла, были, несомненно, родными людьми, и он знал о них так много!

Примеры? Вот он держит в руках единственный сохранившийся в мире экземпляр из полуторатысячного тиража «Алисы» в переводе Михаила Павловича Чехова (младшего брата Антона Павловича) с иллюстрациями английского художника Гарри Фернисса... Это сборник «Английские сказки» 1913 года издания, приложение к журналу «Золотое детство», который издавал Михаил Чехов в России с 1907 по 1917 год... Но это мне писать легко сейчас, а когда в 1989 году Александр Михайлович нашёл этот сборник у букинистов, тот был, что называется, «слепым» — без выходных данных... и сколько надо труда, изобретательности, терпения, чтобы атрибутировать такую книгу! Ведь нет у неё аналогов, нет ни одной подобной в мире!..

В 1994 году в уютном и любимом многими ценителями Московском музее экслибриса была выставлена коллекция

Александра Рушайло. Даже для Москвы — это было событие (я тогда писал об этой выставке). Замечательная, умная, запоминающаяся экспозиция... ощущение не чужого посетителя в зале, а дорогого гостя в милом сердцу доме... И Александр Михайлович сам всех встречающий и каждому уделяющий внимание...

— Саша, ты устал, присядь, потом расскажешь, я подожду тебя, домой поедем вместе, а я посмотрю, похожу, сам... сам...

— Нет.

Он сам показывает мне стенды и издания, иллюстрации, чудесные книги и рисунки — коллекция огромная, выставка бесконечная — не для одного просмотра, но Саша неутомим с его большим и плохо гоняющим кровь сердцем...

— Саша, ты и экспозицию сам создал, удивительно всё это — нет другого слова...

Есть такие люди, слава Богу, которые жертвуют своей любви всё, но которая и держит их на свете и не даст никогда забыть. Жаль только, что не воспроизведёшь на бумаге никакими стараниями рассказы Александра Зиновьевича Крейна, основателя и директора Московского литературного музея Пушкина, когда он сам ведёт вас по залам своего любимого детища или совсем в ином роде — байки и истории картин на своей персональной выставке замечательного художника Заслуженного (и заслуженно) художника России Дмитрия Андреевича Воронцова, и одические высказывания о любимой коллекции Александра Михайловича Рушайло...

Я закрываю глаза и вижу эти стенды, плотную фигуру Александра Михайловича, его сверкающие очки, ровную неспешную походку — он такой основательный, он так рассказывает совершенно незнакомому человеку о книге, вынимает её и листает, чтобы показать побольше иллюстраций, что я люблюсь им и завидую его умению, его определённости в жизни, мне никогда не стать таким, и я радуюсь, что он есть, и что я всегда могу позвонить ему и поговорить, и зарядиться его расположением к людям...

В его коллекции книги со всего света — Англия, Япония, Австралия, Египет, Америка, Вьетнам... книги присылают, дарят, книги покупали, их разыскивали буквально в ненужном хламе...

Эта коллекция стала одной из крупнейших в мире... А российские художники приносят иллюстрации — это мастера высшего класса Май Митурич, Геннадий Калиновский, Юрий Ващенко, Виктор Чижиков... Значит, не кончается интерес к этому чудесному миру Алисы, и даже после классического перевода Нины Демуровой, с которой Саша так дружен, появляется новый перевод Леонида Яхнина... И Саша не успокаивается, он увлекает людей в мир Алисы, он приобщает их к ней... как?

— Почему бы тебе не сделать инсценировку? — подступает он ко мне.

— Пьесу?

— Да!

— Но это безумно сложно не только написать, но поставить... Все ассоциации, весь наш любимый в России «второй план», аллюзии, намёки, тихий юмор... к этой книге приложили сердца столько людей! Страшно...

— Но ты должен, должен! — Александр Михайлович очень серьёзен, он говорит это, потому что ему это нужно... вернее считает, что это нужно Алисе, чтобы ещё больше людей полюбило её... — Ты должен сделать мюзикл! Представляешь, как это здорово будет!

Через год после этой выставки его не стало. Но невозможно писать о нём в прошедшем времени, хотя бы потому, во-первых, что коллекция его не только жива, но стала предметом гордости мировой культуры, и его верная Маргарита Фёдоровна теперь — не знаю, как сказать — с той же преданностью и пониманием бережёт её, экспонирует, пополняет...

Вот письмо из Принстона от куратора коллекции Льюиса Кэрролла в Принстонском университете господина А. Д. Ванврайта: «...Очевидно, что Ваш каталог является важнейшим инструментом, содействующим изучению кэрроллианы, и я поздравляю Вас с его созданием. Он будет включён в нашу коллекцию, где станет весьма полезным помощником для студентов и всех интересующихся Льюисом Кэрроллом». Александр Михайлович был очень рад этому отклику, но с тех пор прошло десять лет, и коллекция выросла более чем вдвое! Непросто создать каталог. Он есть. Новый. Но где взять денег на издание?

Риторический вопрос? Увы.

Так и хочется воскликнуть: керроллисты всех стран... пустите шапку по кругу и сделайте такое красивое и важное дело — издайте каталог, составленный А. М. Рушайло... Может, мой призыв сегодня глас вопиющего в пустыне, но завтра его услышат? От государства ждать нечего... что ему до этих книг и коллекций...

Александр Михайлович держит в руках Кэрролла — даже названия не прочтёшь — иероглифы, но... «Ты знаешь, это такая интересная история! Эта книга...»

Он ушёл, не окончив фразы... ещё в больнице успел надиктовать статью для журнала... он много лет боролся за жизнь... и не успел победить... Говорю «не успел» не по ошибке... не знаю, выдастся ли ещё повод сказать то, что хочу, будет ли время... Ему нужна была операция... на сердце... операция дорогая и сложная... надо было ехать в Америку... Коллекция стоила очень дорого... денег бы хватило... и он уже готов был к этому... но время не хотело затормозить ни на мгновение, чтобы он использовал свой шанс...

Может быть, и не стоило бы писать об этом — он был удивительно скромен и терпелив, и никогда не жаловался... но даже в этом последнем, не знаю, какими усилиями пришедшем решении (а что если сознательно не осуществил его), Александр Михайлович Рушайло поднялся на высоту, доступную не многим, ибо то, что он совершил, — бесценно не только по сути, но и в материальном смысле, и жизнь кончилась не в смирении и покорности судьбе, а на высочайшем взлёте духа... Поэтому и нет возможности говорить о нём в прошедшем времени.

Вы всегда можете прийти в гости к Чеширскому Коту на чашечку чая и пообщаться с великим собирателем нашего времени.

ТАЯ, ТАЮШКА, ТАЮША...

Черная осень. Темные капли дождя. Ранние сумерки. Мертвый мокрый асфальт. Свет фонарей растворяется в черноте и до улицы не опускается. Конец ноября. Разгар шестидесятых. Это не писательский прием — это моя дорога по Тверской, тогда улице Горького, — от Белорусского вокзала вниз, к телеграфу... Еще жива пушкинская аптека, в которую он не раз обращался (кому она помешала, что ее снесли в хрущевскую вольницу?), и там — то ли с тех пор, еще пушкинских, то ли по какой другой неведомой причине любят писателей, художников, композиторов... особенно молодых... Провизор — старая женщина с рыжими поредевшими волосами... Как она узнавала нас, никому еще не известных, а только начинающих, подающих надежды, молодых, амбициозных, безденежных, с нашими нелепыми насморками, кашлями, шеями, замотанными шарфами в этом гнусном дожде и темноте — и в прямом и переносном смысле... Да простит она меня... вылетело из памяти ее имя, но сама она, как близкий и сделавший много добра человек, перед глазами... Даже и не нужно ничего, а ведь все в дефиците по тогдашней советской жизни, но все равно хочется зайти, если ты рядом тут и спешешь мимо... просто поздороваться и ответить на какие-то пустячные вопросы, а за это взамен получить столько теплоты в улыбке и «заходите, если что-то надо»...

Давно кончилась оттепель пятидесятых, и напоззло, как эта осень, черное безвременье... И моя забота гонит меня по Тверской в Большой Гнездниковский переулок, д. 9, на последний, десятый этаж, где размещается издательство «Советский писатель». Но не в него я иду... и не рукопись несу... Там, в задней комнатенке, один стол, и за этим столом моя надежда и спасение... это секретарь профкома литераторов при издательстве

«Советский писатель», поскольку я ушел «на вольные хлеба», т.е. нигде не работаю и не числюсь, значит, по советским законам — тунеядец...

Никакого отношения, кроме соседства, эта организация, «профком литераторов», к издательству не имеет и существует с самого начала давних тридцатых, еще до первого Горьковского съезда Союза писателей... Власть уже тогда заботилась о том, чтобы надежно управлять искусством, вот и создали такие профсоюзы литераторов — их несколько в столице — и они удостоверяют, что ты действительно живешь литературой...

В памяти недавний пугающий процесс Бродского с омерзительно распоясавшейся бессовестной судьей, и страшно самому попасть в такие же лапы — от них не уйти... Кто же подсказал мне, что есть такая спасительная организация? По-моему, поэт Михаил Пляцковский, который начал выходить в литературный свет чуть раньше меня, поделился опытом... И вот я на подступах к этому дому, построенному в начале века, замечательному во многих смыслах и известному коренным москвичам как дом купца Ниринзее... Для меня, как потом оказалось, этот дом вообще особенный, потому что с годами я узнал многих его обитателей, потому что в нем — Учебный театр ГИТИСа, а в доме рядом — музей-квартира Александра Борисовича Гольденвейзера, где я познакомился с его вдовой, замечательной Еленой Ивановной и где выступал со своими стихами, а в соседнем подъезде — композитор Леонид Афанасьев, с которым я подружился и вместе работал, а... но это — до другого рассказа. И вот я поднимаюсь наверх на самом медленном в Москве огромном лифте, изготовленном на мануфактуре Смирнова в начале века, прохожу через бесконечную редакторскую с полутора десятком столов, заваленных рукописями, издательскую комнату... А дальше справки... анкета... рекомендации... справка о гонораре в месяц — надо было наскрести по разным издательствам, газетам, редакциям, радио хотя бы 50 рублей в месяц, прожиточный минимум нищего писателя... и, конечно, «фотография, как на паспорт»... И тогда — спасительный членский билет! И можно в милицию и домоуправление теперь предоставить справку на бланке! Я литератор! Пушкин тоже называл себя литератором!!! Можно даже получить характеристику! Можно

познакомиться с хорошими людьми, которых сплотила одна стезя — узкая и пока, странно, но не перекрытая властью! А чего бы ей проще! Да одним насупленным взглядом и росчерком пера!.. Со многими я там сошелся в течение долгих лет... но сегодня — первое заседание детской секции, в которую меня приняли, это значит: собрались те, кто пишет для детей... Нас немного: дождь, старость большинства членов, которые состоят в этом профкоме, или группкоме, как его еще называют, чуть ли не со дня основания... Разговор о том, что надо помочь кому-то... он болеет, и кто-то вызывается помочь, а потом еще кому-то — и я впервые слышу фамилию Кондратьев... Он живет, оказывается, не так далеко от меня... и я сразу же включаюсь в работу... Алексей Николаевич Кондратьев... поэт Алексей Кондратьев, которого я никогда не видел, не слышал и не читал...

Никто, пожалуй, не восстановит число и месяц, но я не биографию Кондратьева пишу, и не мемуары... Это только попутно вспомнилось начало нашей дружбы... да и об этом я бы умолчал, но о писателе Кондратьеве речь, а как писатель привязан к своему времени объяснять не надо — так вот оно тогда какое было... время... Осеннее, невзрачное и страшное под верхним слоем ничем не колышимой ряски... даже 68-м годом... осужденным обывателем вслед за вымороченной прессой и с серым кардином Сусловым, набравшим предсмертную паучью силу...

Я жил в новом, спальном, районе и был обладателем невиданной роскоши — телефона! Позвонил Алексею Николаевичу и спросил, когда можно его навестить. Он мне ответил, что в любое время, потому что из дома выбирается очень редко... и я поехал, ничего не подозревая.... а что было подозревать...

В ответ на мой звонок дверь загудела и сама открылась, а из глубины квартиры донеслось: «Проходите!». Я двинулся по коридору и в конце его, сквозь открытую дверь комнаты, увидел большое лицо и огромные за очками глаза, уставленные на меня... посредством зеркала на кронштейне, приделанного к стене...

Он лежал. И это наискось установленное зеркало, которое слушалось его руки, сообщало ему: кто вошел в дверь, какая птица села в кормушку на балконе, что показывает телевизор, где лежит книга — на столе или... Он лежал, не мог сам поменять

своего положения... Я несколько растерялся, очевидно, но осталось в памяти не это, а ощущение очень крепкого рукопожатия и две гантели на одеяле по обе стороны укрытых ног...

Я бы хотел представить вам, читатель мой дорогой, все стихи Алексея Кондартьева... Их не так уж и много, но это невозможно, к сожалению... Призову сегодня лишь те, что помогут нарисовать его портрет... Остальные найдёте сами, если очень захочется, ведь он издавался... и центральными издательствами... одна книга для взрослых вышла в том самом «Советском писателе» в Москве...

Итак... вот его стихи.

АНКЕТА

Я родился через два месяца
После ареста отца.
И с тех пор не случилось повеситься.
Видно, так проживу до конца.

Я храню, как святыню, — бумагу,
Что преступником не был отец.
И твержу, как урок, как присягу,
Что конец — всему делу венец.

Мать отправили в ссылку со мною,
Но по-божески: к Волге-реке,
И дышал тяжело за спиною,
Потухал Ленинград вдалеке.

Сын врага трудового народа
(лет за пять перед близкой войной) —
Полтора мне исполнилось года,
Как покинул я город родной.

Был Саратов, где мы голодали,
И испуг от воздушных тревог...
Вы, быть может, не меньше видали.
Я не хвастаю здесь, видит Бог!

Вы поверьте, — написано честно,
Я нигде не сорвался на крик.
Интересно ли вам? —
Интересно? —
Уважаемый наш кадровик.

Да уж! Кадры у нас решали все!.. А крика, действительно,
до последнего его мига ни разу никто от него не слышал — он
ведь вот какой был! Совсем другой!

УДИВЛЕНИЕ

Гвоздь
с молотком
друзьями были.

Гвоздь
молотком
по шляпке били.

И прячась
в стену
от испуга,

гвоздь
удивлялся
рвению друга.

Или:

ГРИБНАЯ ПОРА

В чаще белые грибы
от заботы хмурят лбы!
А поганки
без забот
смело смотрят на народ!

Много позже, когда этого человека уже не было на свете, я понял, что тогда, с момента знакомства, поразило его чувство времени. Его удивительно активное, деятельное участие в жизни, казалось, опередило именно время, будто он знал секрет «всемирной паутины» — Интернета до его изобретателей, владея им не монопольно, а делясь с сотнями, если не тысячами знакомых и друзей! Главное, что удивительно, — к нему всегда было легко дозвониться, а вместе с тем, его телефон не то что не умолкал и раскалялся, а был просто еще одним жизненно важным органом.

Алексей Николаевич успевал прочесть все новинки, помнил, кто какие стихи где опубликовал, какие книги вышли, знал все новости из писательских кругов и не только...

Ему не хватало непосредственного общения, и он замещал его всеми доступными способами. На тумбочке стоял приемник «Фестиваль», подаренный, по-моему, детским домом, и этот очень хороший аппарат имел дистанционное управление. Умельцы из какой-то школы провели провода к дверному замку, и гости могли войти в квартиру, а кружок «Умелые руки» детского дома научил телевизор включаться и переключать программы с помощью тех же проводов на расстоянии — а ведь тогда в СССР ещё даже не слышали про самые обычные нынешние «управлялки», которые и программу поменяют, и громче-тише, пожалуйста, — готово... И форточка открывалась им самим, и доска с бумагой подъезжала к груди — такой маленький писательский столик... а стихи отсюда, из под его пера улетали в редакции...

По словам,
как по камням,
не надеясь на награду,
доберусь?
Переберусь?
Рвусь через свою ограду.

А к добру ли,
или к худу,
неизвестно мне пока;
видимо,
не будет чуда —
не протянется рука.

И такое же мученье,
для кого-то,
может быть, —
во Вселенной заточенье:
Он,
готов себя сгубить,
бьется там в ожесточеньи, —
хочет стену продолбить.

Такие стихи надо перечитать. Помолчать. Выучить. И не выказывая это их автору, подивиться его мужеству и оптимизму...

— Слушайте, Алексей Николаевич, помогите, пожалуйста! — это я к нему по телефону...

— Сэр Мишель, я к вашим услугам... — это он в ответ.

— Строчка замучила — никак! Заело! — а он замечательный версификатор! И это обычное дело (и он мне звонит частенько), когда действительно заходишь в тупик и нервничаешь, и бьешься, и... Ох уж эти враки о вдохновении и легкости письма!

— Сэр! Я слушаю — читайте, — он никогда за десятки лет не сказал, что занят, что... сколько причин на белом свете...

Может быть, прятался за шутку?

— О, сэр, от вас ушла жена! —

Теперь вам одиноко!..

— Нет, сэр, мне участь смягчена

До окончания срока!

Но ему никто участи не смягчил. Был обычный мальчишка с исковерканой дикой властью судьбой. Жил, как миллионы таких же... Ссылка — да, но футбол, школа, кино... А в 14 лет особая беда грянула — полиомиелит... за что, спросите?.. И роковое число что-ли, — четырнадцать операций... не помогли они...

Сочиню я другую судьбу
и пошлю всемогущему Богу:
пусть архангел поднимет трубу,
возвещая большую тревогу!
Затрубит над моей головой:

— Поскорей обратите внимание:
человек недоволен судьбой —
надо срочно менять мирозданье!

К нему приезжали друзья — специально с ним погулять, они катили коляску по Ленинскому проспекту к Воробьевым горам или в Парк культуры и наслаждались юмором и оптимизмом Алексея Николаевича... и то, и другое непросто: коляска в собранном виде в лифт — ну никак, а в подъезде до двери сколько ступенек... И в театре — не предусмотрено, в кино — тоже... и в библиотеке... Везде: нет!.. Слово инвалид значило: ущербный... и отвяжись, и барахтайся сам со своими заботами, не видишь что ли — с «нормальными» бы разобраться... И они, власть имущие, разбирались... да так, что хруст стоял по всем городам и весям!

По-видимому, нет святых на свете, —
смиримся с этой истиной простой;
святые — и недолго — только дети,
а дальше — или культ, или застой.

Но раз бы в жизни повидать святого,
который и всечастен, и всеблаг,
и услышать души безгрешной слово:

— Не предавал? — Так я тебе не враг.

Не один партийный бонза тех времен скрежетал бы зубами от этих строчек... А можно ли их было издать?! На свет они появились давно — к людям пришли только в 90-е годы...

Главный редактор очень известного детского журнала в силу своего возраста и, очевидно, положения поучал меня, молодого и зеленого, что надо бывать в редакции — ибо «рукописи мало, мы должны хорошо знать, кого печатаем, как живет, что думает...» и далее в том же духе... Возможно, он проходил службу еще и по другому ведомству... но имени его помянуть не стану... Да еще рядом с Алексеем Николаевичем...

А ведь он, Кондратьев, ни разу не опустился до того, чтобы объяснить, почему ему не удастся побывать в редакции... Он наивно полагал, что рукописи достаточно, что она говорит сама за себя...

Конечно, по мере того, как у него появлялось имя, стало известно в литературных кругах, почему он не присутствует на собраниях... в Союзе писателей... в редакциях не появляется... Но не все могли постичь, что «сострадание нам дается, как нам дается благодать»... Это ведь состояние души, а тут только Божий промысел, и ничего более...

Затеял я такую «забаву», честно признаюсь: брал рукопись Алексея Кондратьева и нес ее в тот самый журнал, где меня, если не ненавидели, то терпеть не могли (еще и за то, что приходилось им меня изредка печатать, в силу не зависящих обстоятельств, но об этом другим разом)... Так вот, с рукописью своего товарища, коллеги — а для них, конечно, секрет, что друга! — шел я в эту редакцию и добивался (а лица при этом у работающих в ней становились перекошенными от злости), чтобы стихи его почитали внимательно, и не через год, а срочно... и чтобы мотивировали, если не хотят печатать... Мотивировали!.. Но лучше печатали бы! И печатали... Со своими стихами никогда бы не пошел — унизиться не мог себе позволить, а с чужими (это для них — чужими, а мне-то — родными) за честь считал...

Я ходил с его стихами по тем редакциям, куда мне, с моими стихами, вход был закрыт, я ходил по тем редакциям, где меня знали и любили, а уж про те, где я заседал в редсоветах — и говорить нечего... Трудно было печататься в России в те годы, впрочем, и всегда трудно: редакционные планы переполнены — это же не «Малая земля», и Алексей Кондратьев не Г. Марков и не С. Михалков, и бумаги нет — это же не «Малая земля» и Алексей Кондратьев не Г. Марков и не С. Михалков — не думайте, что опечатка! Они везде одинаково затверженно отвечали... Нет у них на эти стихи ни места в плане, ни бумаги, а хозяйство плановое!..

И все же мы праздновали победы!

— Сэр Мишель! — раздавался в трубке радостный голос Алексея Николаевича. — Вашими молитвами... — он так радовался каждой своей опубликованной строке!..

— Да бросьте вы, Кондратьев!.. — борюсь я с ним. — Стихи, они и в этой редакции стихи...

— Полно, сэр, не скромничайте!.. Пьем шампанское?

— Пьем!

Он рассылал свои публикации и книжки, книжечки десятка-

ми... нет, случилось — и сотнями! А сколько денег это стоило! Не знаю, хватало ли ему гонорара?! А Оленька, его жена и по мере сил секретарь, таскала бандероли на почту... Ей тоже было трудно двигаться... ее эта болезнь тоже не помиловала... Но помогали... то почтальон, принесший обильную почту Кондратьеву на дом, то друзья, то школьники, дети, с которыми он дружил...

Чужой ребенок подошел ко мне
и ласково прижался теплым боком.
— О, Господи! — воззвал я ненароком, —
Безмерный дар не по моей вине.

Той девочке — пяти, шести годов —
я нежно гладил пепельные прядки;
ее глаза со мной играли в прятки, —
взгляд вспыхивал — и снова был таков.

Посмейтесь, но тогда я был велик, —
я б на змеиное рванулс жалю!
Но девочка со смехом убежала...
А жаль, что я не умер в этот миг.

Да нет же! Он, слава Богу, ошибся! Хоть поэты и предсказатели своей судьбы во все времена... У него родился Пашка! Павел! Сын! Он и Ольга были так счастливы, как могут быть счастливы очень добрые люди! И такие стихи пошли! Особенно детские!.. Мне бы все их собрать в один «дом» с твердыми обложками, да кто издаст в наше меркантильное время? А может, поэтому? Может, из-за меркантильности и издадут? Читайте же:

ТАЯ, ТАЮШКА, ТАЮША...
(Колыбельная для Таи)

Таенька — Тая,
Таенька — Тая...
Хочешь дождик с тобой посчитаю?
Стук-перестук... потемнело стекло:
Сколько же с неба воды натекло!

Струйки текут и текут, повторяя:

«Таенька — Тая,
Таенька — Тая...»

Скучно деревьям сейчас за окном,

Шепчут деревья о том и о сем...

Песенка листьев такая простая:

«Таенька — Тая,
Таенька — Тая...»

А совесть гложет. Самое страшное наказание самого себя — сожаление... объясню... покаюсь... может, легче станет...

Он никогда не жаловался, ни-ког-да! Скажет только: «Сэр, Мишель! Если вы куда-то едете, возьмите меня с собой в машину: в «Жигули» я умещаюсь, а в «Москвич» — нет!» А у меня «Жигули» появились! И мы едем вместе — он сзади, и коляска сложенная рядом... Ему не хватало живых впечатлений — улицы, машины, дома, лотки, прохожие... Мы разве думаем о том, как прекрасно просто идти по улице, какое это счастье! А оказывается!.. И я бегу в редакцию, а Алексей Николаевич смотрит на Неглинку, я наивно тороплюсь — он один! А он говорит с сожалением: «Вы уже вернулись!..» Я слишком спешил, наверное, и слишком мало раз он сидел сзади в моей машине и с непередаваемым юмором и наблюдательностью комментировал жизнь вокруг...

Из его оптимизма я часто черпал, когда было мне совсем худо. «А он? — спрашивал я себя. — Ему как?» И все буквально, кроме здоровья родных и друзей, меркло и скукоживалось... Все эти «отлупы» из редакций, исковерканные редакторами книги, которым по многу раз делали «обрезание», все эти неприяты в Союз писателей, все эти антисемитские выкрики на закрытых редсоветах, о которых мне потом передавали, и отмененные по той же причине авторские вечера, и не врученные заслуженные на конкурсах (под девизом, конечно) премии, когда узнавали, кто автор — что это? Пыль... А он, Кондратьев, внушал радость жить тем, что был рядом... Так как же от этого можно было отрываться, торопиться и потом оправдывать себя семьей, детьми и своими болячками...

Позволю себе показать вам одно свое переживание в стихах, которое иначе не выскажешь...

Не откладывайте встреч
И задерживайтесь долго,
Впрок ни часа не сберечь,
Не вернуть ни дня, как долга.

Что себя потом корить, —
Ни прибавить, ни исправить,
Ничего не повторить,
Телеграммы не отправить.

И утраты каждой боль —
Друга противостоянье,
Согласились чёрт и Бог:
В наказание — страданье!

Сколько раз кошмар ночной
Опрокинет из постели,
Время самый страшный зверь —
Опаляет душу в теле.

Не утишить боль потерь.
Заменить утраты нечем.
Сожалением теперь
Обеспечен, как ни вечен.

Не откладывайте встреч,
Не ленитесь, не скупитесь,
Как там жизнь ни перечь,
Повидаться торопитесь!.

Сколько ж раз так за жизнь случается... и страдается потом... безысходно это... навсегда ведь...

Простите, Алексей Николаевич!..

Мы так и были на «вы» всегда... Не придавали обращению никакого значения, по-моему, это ведь не мешает дружить... Мне кажется, тут ни возраст — мы почти одногодки, — ни положение... Ну, так вышло... прежде и не замечал как-то...

Зато всегда удивлялся, нет — восхищался, КАК он делал стихи. Совсем не как тот, кого вождь назначил «лучшим поэтом пролетарской эпохи», который написал книжку «Как делать стихи?»,

и нам всучивали (простите за слово — нет точнее) ее за образец... Алексей Кондратьев не изводил «тысячи тон словесной руды», а работал ювелирно, выстругивал бережно, нежно, как из свеженькой смолистой сосновой дощечки каждую строчку. Поэтому все они незаменимы в каждой строфе. Вслушайтесь. Всмотритесь в глубину строчек, а порой и в их расположение...

БЕРЕЗА

Березу любят все, —
Она у нас пригрета:
Все молятся красе
Березового света.

От милой белизны,
От ласковой печали
Опять глаза ясны,
Как будто бы вначале.

В начале чувств и дней,
Когда их было много...
Сейчас мы перед ней
В предчувствии итога.

Итог неисправим,
И потому в испуге
Мы на нее глядим,
Тоскуя друг о друге.

Томит житейский хлам;
Но милосердно все же
Лицо остудит нам
Ее живая кожа.

Березу любят все...

Мне хочется помолчать и послушать его голос, потому что однажды слышанные в авторском исполнении стихи потом, при чте-

нии, обязательно звучат его голосом, даже те, которых он вам и не читал — это проверено... много тысяч раз... А голос у Кондратьева такой глуховато-звонкий, знаете, может быть, Утесовский? Узнаваемый... Смотрите...

В ПУТИ

Я в пути
Узнал у ветра,
Что найти
Не могут метра!

Он удрал
Из километра
Под покровом
Ночи!

Говорят,
Что этот метр
Не вернется
В километр;

А без метра
Километр
Стал на метр
Короче!

ЕМЕЛЯ

Емеля мелет языком
которую неделю!
И все ругают дураком
болтливого Емелю!
Емеле страшно замолчать,
не говорить и не кричать;
и услышать впервые,
что говорят другие.

ЦИРК

Под куполом цирка
Гимнастки летали!
За ними
Внимательно
Львы наблюдали.
Рычали они для острстки:
«Не вздумайте падать, гимнастки»!

МЕНЬШЕ — БОЛЬШЕ

Смотрел человек на часы
и дергал себя за усы.
Чем меньше спешили часы,
тем больше редели усы.

КОБРА

Возможно ли, —
быть коброй
и все-таки
быть доброй?

А бывало он звонил, чтобы я порадовался вместе с ним его удаче, хотя и поздно, а до завтрашнего утра терпеть тяжело... Он чувствовал очень тонко и точно, кто и как к нему относится... Как у всякого художника, а у него особенно, острота ощущений была необычайной... И звучит его голос, и он ждёт... похвалы ли, а вдруг критики?.. Но по-моему: восхищения!

ГИЕНА

Никто себе не выбирает гены.
Войдите в положение гиены.

НОСОРОГ

Заплаканы глаза у носорога:
закрыта к людям для него дорога.
Ведь люди из-за этой толстой шкуры
не видят тонкости его натуры.

КОМАР

Нигде не рады комару,
Везде комар не ко двору.
Ведь на его укусы —
Устойчивые вкусы.

ПЕВЦЫ

Соловей-соловушка
Повстречал воробушка:
Под большим секретом
Стали петь дуэтом!

ВОРОБЕЙ

Весел в холод воробей!
Весел в голод воробей!
И куда он прячет горе? —
Непонятно — хоть убей!

ГРУСТНОЕ

Уронила на козу
Бабка грустную слезу,
А для бабки ни слезы
У бесчувственной козы.

Я замечал, да и вы, наверное, что у людей, которые неважно видят — обостряется слух, у людей которые плохо слышат — превосходное зрение... Природа как бы возмещает, пытается исправить свою несправедливость... Острота чувства Алексея Николаевича поразительна, а он еще титаническим трудом сумел добиться от самого себя возможно точного выражения своих переживаний и потрясающей искренности, когда пишет о самых сокровенных, интимных моментах своей жизни...

Невзначай
по прихоти судьбы,
вот сейчас тебя увидеть мне бы,
без упрека,
грусти
и мольбы,
женщина — мое второе небо.

Ты прости, что позабыть не смог
темнотой испуганные руки,
тела твоего живой поток,
двух сердец ночные перестуки.

День, прожженный горечью насквозь,
вечера холодную усталость.

Так забыть тебя и не пришлось.
Ты прости,
что ты во мне осталась.

Уже после его кончины я узнал, что в пору моей битвы с Союзом писателей, он звонил туда в партком и стыдил его членов за их методы... существования и руководства... Он не случайно был детским писателем — верил в добро. И не верил, что есть люди, которые исповедуют совсем другое...

Я часто думаю о нем. Не о стихах — они во мне, уже как моя частичка, без них худо... невозможно... а о нем... Еще одна растоптанная имперским монстром судьба не сдавшегося человека...

Ну, вы послушайте, кто мог писать такие стихи:

Поговорим о надежде.
Все-таки, как ей не быть?
Ведь заходила и прежде,
Хоть не могла полюбить.

Ходит хозяйкой по дому,
В книгу заглянет, в тетрадь...
Значит, пришла не к чужому?
Снова, сначала, опять.

Вот так он умел любить...

Говорите со мной, говорите,
пусть случаен и мелок зачин;
одарите меня, одарите,
не имея особых причин.

Светлый мир у себя не оставлю,
всем, кого я ни встречу, раздам;
безымянную душу прославлю
по далеким от нас городам.

Дайте руки свои на прощанье,
ведь у нас не предвидится встреч;
только сердце дает обещанье
помнить облик и голос, и речь.

Алексей Кондратьев на сей раз ошибся. Он будет встречаться с нами многожды, потому что не покинул этот мир, а пророс сквозь него своими стихами, стал его частью.

ЗЯМА

Вопрос не из простых терзает меня долгие годы: что же такое судьба? Извилистая дорога жизни, и по ней можно предсказать, куда дальше потянет кривая? Заранее начертанная линия некоей высшей силой, и можно научиться понимать, куда надо идти? Может быть, собственное творение «сквозь тернии», несмотря ни на какие обстоятельства, путь, который «держишь» благодаря собственной воле по приказам своего же разума?.. Наверняка, каждый ответит по-своему, но думаю, что эпоха, вне зависимости от личности, всегда над желаниями, стремлениями и эгоистичными выводами каждого. Она обобщает наши жизни, стягивает в пучок их линии, получается жгут, из которого вырваться единице трудно, а усреднённой единице — невозможно... разве что в лучший из миров, где тоже, если есть существование, своя судьба и свои эпохи...

Но оглядываюсь назад и чувствую некую запрограммированность своего пути, и, уже надоевшая частым упоминанием, спираль повторения событий у меня в судьбе проявляется географически совершенно явственно...

Если вы пойдёте со мной по Тверской вверх от Красной площади по правой стороне улицы и, не доходя Лесной, мы свернём в один из переулков, ну, хоть Александра Невского, пересечём 2-ю Тверскую Ямскую — окажемся на тихом пятачке, заросшем деревьями... Особо хорошо тут в пору бабьего лета... пройти по дорожкам, укатанным красно-кирпичной крошкой, пошуршать листьями, посторониться, пропуская малыша на велосипеде, надувшего шаром розовые щёки и издающего би-би-бип! Глядя на него так легко перенестись назад... на целую жизнь! Это Миусы — моя родина! Здесь я сделал свои первые в жизни шаги, первый раз катался на двухколёсном велосипеде (трёхколёсный по малости тогдашней не помню), сюда я вернулся после войны из краткой и вынужденной после 20 октября 1941 года эвакуации, когда

город объявили на осадном положении. Здесь я пошёл в первый класс 128 школы и «отдыхался» — каждый день после третьего урока учительница Лидия Николаевна Лебедева отправляла меня на воздух, так как силёнок из-за недоедания и недосыпания у меня на большее не хватало... Мы жили неподалёку, на любимой 2-й Тверской-Ямской, в ванной комнате своей довоенной квартиры, которую захватил нагло и незаконно полковник Генштаба, и в одной из комнат которой сделал продовольственный склад...

Через много лет сюда, на Миусы, в дом Союза композиторов на постоянный семинар молодых композиторов, который вёл Глеб Сидельников, меня привела Алла Бабинцева. Она написала на мои стихи две песни... первые, записанные на Всесоюзном радио... а напротив, в «Политиздате», в отрывном календаре появились мои стихи...

Круги, круги, витки спирали... С годами сквер стал меньше... памятник и Дом пионеров (так тогда он назывался) откусили часть площади и замкнули пространство... Сквер стал камернее, тише, незаметнее и, может быть, уютнее...

Вот мы и пришли. Теперь постоим у подъезда рядом с мемориальной доской в память Рейнгольда Морицевича Глиэра. Он здесь жил. Это тот самый дом композиторов... Здесь же была квартира Зиновия Львовича Компанейца, к которому судьба привела меня... в каком году? Каким образом я с ним познакомился?.. Точно, что не позже середины шестидесятых... прошлого, 20-го века!..

В Советском Союзе не существовало звания Народный композитор, было — Народный артист, Заслуженный деятель... иногда их присваивали творцам музыки. У Зиновия Львовича «Заслуженный» появилось только под конец жизни, а на самом деле он был народный из народных! Перенародный просто, я бы сказал! Хотя бы потому, что вся огромная страна СССР начала свой день под его мелодию: «На зарядку! На зарядку! На зарядку, на зарядку становись!» Вот и всё. Обычное дело теперь сказать шаблонно: «если бы он больше ничего не написал в жизни, то имя его уже навсегда бы сохранилось...» и т. д. — это оставим для панегириков журналистам и чиновникам от искусства, но представим себе другое: сколько поколений выросло с этим призывом, сколько дней — да круглый год, сколько лет — да всю жизнь... и сегодня новые ребята, не знающие прошлого, не желающие его ведать, всё равно с этой песней. Зиновий

Компанеец — «На зарядку становись!» — стихи Якова Белинского.

До конца его жизни я работал с ним, дружил, преклонялся и завидовал его оптимизму, молодости, мудрости... любил его — вот и всё! Я уже писал много раз, что мне повезло несказанно: мои друзья и соавторы, в большинстве оказались старше меня... Порой на тридцать, сорок лет... бывало вдвое старше, даже больше, чем вдвое! Вот это были университеты! «Мои университеты».

«Я музыку сочинять рано начал... на рояле сам и исполнял! Вот представляете, — тогда ещё Зиновий Львович меня на «вы» называл, в начале знакомства, а мне — лет двадцать пять, — представляете, отец меня за ручку ведёт, я ему чуть выше колена, идём по коридору консерватории, а навстречу большой такой человек, огромный дядька! Останавливается и спрашивает сверху: это, мол, кто такой и что тут делает?.. Оказалось — Глазунов... Александр Константинович! Ректор Петербургской консерватории!.. Вот так! Когда было?.. Ну, давайте считать... Это ещё до революции... задолго... лет за десять... мне шесть лет было, значит... Я ему свои опусы играл! Ха-ха-ха... записывать нотами не умел... играл по памяти...»

Рассказывает Зяма здорово! Да почему Зяма? Его так все звали. Ровесники, друзья так к нему обращались, а остальные — за глаза... и я тоже... Зиновий — значит, Зяма... Его среди профессионалов знали все. поголовно. Композиторы, поэты, дирижёры, режиссёры, актёры, оркестранты, певцы...

Биографию его писать не стану — где и как он учился, перечислять подробно его знаменитые песни, оценивать их, вспоминать, с кем он творчески сотрудничал, работал... Я всегда лишь о том, что сам видел, слышал, пережил, в чём участвовал... А мы с Зиновием Львовичем Компанейцем в 60-е, 70-е, 80-е годы написали много. Если не сказать очень много. У него была такая жилка-юморинка, железа такая с рождения... он шутил мягко, добро... С настоящим еврейским юмором жил всегда... и его песенки для детей как-то прирастали к душе... Поймает ухо мелодию, и всё... осталась песенка в тебе...

У че-ре, чере-пашонка

Костяная рубашонка...

(стихи Владимира Орлова)

Композитор радуется находке поэта и обыгрывает её мастерски...

Или:

Черное море спросил я в Крыму:
— Чёрным назвали тебя почему?

Он ищет в стихах сюжет, ему нужна живая картинка, движение...

А дальше море отвечает:

— Нет, не скажу! Это секрет!
За кромкой прибоя
Оно голубое,
А чёрного цвета в нём нет!

И композитор несколько раз повторяет, радуясь, последнюю строчку!

Это стихи Виктора Викторова. Я присутствую на записи, потому что сегодня, в эту смену, в ДЗЗ (Всесоюзном Доме звукозаписи) на улице Качалова записывают и мои песни. Ребята-хористы, оркестр, дирижёр — в студии, а я — в аппаратной. И когда начинается мелодия с этими строчками, скупой на слова и неулыбчивый звукорежиссёр Коля Данилин вдруг произносит: «А это хорошо! Здорово!» Похвала такого рода — высшее признание. И правда: песня тут же стала популярной, как говорится «не отходя от кассы». Её сначала «замурлыкали» взрослые в аппаратной, в холле, где отдыхают и дымят сигаретами оркестранты, а потом вся страна.

Сюжет действительно очень привлекает Зяму.

В одной из первых наших песен мы написали с ним историю про воробья зимой... как он бедняга замёрз, а мы с другом Васей его подняли, заколеченвшего, побежали скорей домой, отогрели и спасли, а он нам в ответ «Поёт, поёт, поёт, поёт, поёт, как соловей!» Написал Зиновий Львович, а ребята по всей стране запели... Из эфира эта песенка не уходила! Может, ещё благодаря блестящему исполнению Маргариты Суворовой...

Или «Арбузики». Уж такая немудрящая штучка для малышей:

На солнце греют пузики
 Арбузы карапузики,
 В пижамках полосатых
 Они рядом лежат
 И в гости приглашают,
 И в гости приглашают,
 И в гости приглашают
 Весёлых арбузят!

Удивительное дело: такую интонацию находит Зяма, что от неё не отвяжешься! «Режьте, братцы, режьте билетки!» Помните?..

Его профессиональные интересы просто необъятны! Он уже в «зрелом возрасте», за семьдесят, успевал везде — и в камерной музыке, и в песне, и в песне для детей, и ещё откликнуться на все события! И ездил по стране много... любил встречаться с ребятами...

А ребята, как и во всём мире, любили и любят играть в войну. В индейцев, казаков-разбойников, пиратов, красных и белых, немцев и «наших». Из этих игр в середине семидесятых возникла всесоюзная военная игра «Зарница». Мы с Зиновием Львовичем по предложению радио написали её гимн...

Тревожные ритмы столетья
 Сегодня слышней, чем вчера...

Песня композитору явно удалась. Её запели все — и дети, и взрослые, она записана на радио с оркестром под управлением Юрия Силантьева... Впечатляющее это ощущение, когда детские многотысячные хоры исполняют песню... Много раз мне доводилось это слышать... И сразу вспоминалось виденное и пережитое... и ночная осадная Москва с «колбасами» аэростатов в небе, и бомбёжка эшелона в пути из осадной столицы, и вся долгая война, грохочущий полигон на Урале, голод, холод, похоронки — всё по полной программе... Я написал об этом повесть для детей «Настоящий гром», изданную в конце 60-х. Если посчитать, сколько лет страна прожила мирно в двадцатом веке... мало получится... слишком мало... И дети играют в войну... и сейчас играют... как мы прежде, но и квали-

фицированное — на экранах телевизоров, с помощью джойстиков управляются и за «чужих», и за «наших»...

В середине девяностых годов была очень популярной серия телевизионных передач «Старая квартира». Приглашённые люди перед зрительным залом вспоминали о событиях определённо года, в которых они принимали участие. Воссоздавалась обстановка старой московской квартиры... мебель, еда, одежда, быт и разговоры на кухне с чайком и чем покрепче, анекдоты, спектакли, песни... Меня тоже пригласили в одну из передач как автора «Зарницы». И когда я рассказал про «Зарницу» и напомнил мелодию, зал в несколько сотен человек сразу подхватил её, запел... Ведущий презрительно скривился... в то время стало модным отрицать «официальное» пионерское прошлое... в России любят и умеют перегибать палку... Но ведь так было! Память нельзя кроить по своему желанию — она мстит и наказывает за это! И истинный патриотизм в том, чтобы сохранить правду, а не переиначить на свой лад бывшее!

Кадр вырезали из передачи. А люди рассказывали об участниках этой игры много хорошего. О подлинных случаях, когда ребята помогли в трудную минуту, проявили мужество, спасли, защитили в критический момент... Речь шла о сострадании и самопожертвовании... о том, что это истинное воспитание...

Сегодня, 11 ноября 2004 года, в городе Нью-Йорке я смотрю на парад ветеранов в праздничный День ветеранов Америки. Их мало... идут седые солдаты Корейской войны, Вьетнамской... Дело не в том, чтобы только оценивать события, надо уметь сохранить истинную память о них... Идут рядом со стариками колонны школьников: девочек и мальчиков, юношей и девушек, их ряды многочисленны. Они маршируют в военной форме моряков и лётчиков, пехотинцев и пожарных частей. Шагают слаженно, отрепетированно, вымуштрованно! Это не к параду они так приготовились — у них военное дело в школе по всей стране! Публика, стоящая вдоль прославленной Пятой авеню, с гордостью смотрит на марширующие под медь оркестров колонны, хлопает им, и приветственно машет...

И значит, не зря я писал тогда в «Зарнице»:

Тревожные ритмы столетья
Сегодня слышней, чем вчера...

Уже столетие другое, и ритмы стали, к сожалению, ещё тревожнее, горячее и слышнее. Значит:

На марш позвала нас не зря на рассвете
Военная наша игра...

Если готовятся к кровавой жестокой битве малолетние шахидки-смертницы, игра перестаёт быть игрой, и благодушие — не средство борьбы, и хоть страшно одевать детей в военную форму, но кто защитит их завтра, когда они станут взрослыми? Ведь мир не нашёл пока другого противостояния от террористического нашествия на цивилизацию... кроме силы... к сожалению...

И «Зарница» нужна... она опять возрождается... Зря выбросили тот кадр. Зря. И Зиновия Львовича мне не удаётся найти нигде в старых телевизионных передачах... да и фотографий мало сохранилось... кто думает о них при жизни, что они потом пригодятся...

Память, память... как ты хрупка и беззащитна... и всё же как сильна и неподкупна!

Звонит мне Зиновий Львович:

— А не могли бы вы, Миша, обо мне статью написать?

— Конечно! — я соглашаюсь сразу, не спрашивая куда.

— В журнал «Советиш геймланд» («Советская Родина») — продолжает композитор. Издавался в то время журнал на языке идиш. Я читал его изредка...

— Зиновий Львович, но я же не умею писать на идиш, я только читаю...

— Ничего! В редакции переведут. Вы только напишите!..

— Конечно! — соглашаюсь я, тем более что в это время в редакции у поэта Аврома Гонтаря, заведующего поэзией, лежат мои стихи и тоже ждут перевода...

Зиновия Львовича часто называли еврейским композитором, поэтому и журнал «Советиш Геймланд» о нём писал. Он действительно создал много еврейской музыки. Ещё в 1939 году — «Рапсодию на еврейские темы»... Но что значит еврейский композитор? Он «Фантазию на башкирские темы» ещё раньше создал, в 1936 году... Поэт, пишущий по-русски — русский поэт, по-еврейски — еврейский, по-узбекски — узбекский... хотя каждый повествует обо всём на свете, не привязывая своё

творчество к одной теме. Евреи Лион Фейхтвангер — немецкий писатель, а Борис Пастернак — русский поэт...

А композитор? Что, опять по пятому пункту определять? По анкете? В Советском Союзе еврейский композитор означало: «пишущий только на еврейские темы». А вот русский композитор или узбекский и т.д. имело совсем другой смысл... Компанеец вовсе не был приверженцем одной темы! Он человек широкого кругозора, и интересы его планетарны. Почему еврейский композитор?.. Кому выгодны и нужны эти национальные определения?.. Для чего эти национальные бирки? Очевидно, что власть была расчётлива — делала широкий жест: «Вот, смотрите, у нас нет антисемитизма!», а на самом-то деле никогда не забывала, что «еврейский вопрос» решён не до конца. В нужный момент такой ярлык ещё как мог ей пригодиться. Слово «еврей» сделали, если не ругательным, то оскорбительным, и подтекст его был определённый: отщепенец, изгой.

Поясню на примерах.

Дети в школе стеснялись сказать, что они евреи! А зачем семи-восемилетнему пацану при записи в районную библиотеку или в кружок во Дворце пионеров надо было заполнять пятый пункт — национальность?

Эта власть ничего не делала просто так! Она же строила «светлое будущее»...

Доходило порой до курьёзов. Еврейскую, всемирно известную, халу продавали с биркой «плетёнка», а в голодном Ярославле пустые прилавки заполняли коробками из серой рыхлой бумаги. Надпись расплывшимися фиолетовыми буквами гласила: «Восточные сладости»... Когда же покупатель открывал коробку, там оказывалась вся вкуснота еврейского стола, правда, не в лучшем исполнении — кихелах, земелах, гоменташ...

В те же годы заместитель главного редактора «толстого» и «уважаемого» журнала писал мне, возвращая подборку моих стихов: «Чувствуется, что стихи написаны рукой мастера, но не подходят по профилю нашего журнала.» Я ответил этому «товарищу»: «У меня профиль еврейский, а у вашего журнала какой?» Ситуация поистине приобретает трагический оттенок, если добавить, что приславший мне «отлуп» — сам еврей, и умер, как мне сказали, в Нью-Йорке в преклонном возрасте, успев вовремя убежать от нагайки, которую благоговейно целовал.

Наивно было бороться с коммунистической овчаркой, охраняющей идеологию власти. Меня извиняет, что я был молод, горяч... Фамилию этого человека не называю не по своей забывчивости — чтобы не делать паблисити мусору истории.

Статья вышла. Зяма меня благодарит, благодарит... «Чего он так благодарит? — думаю. — Любой бы рад написать о нём!» Я совершенно в этом уверен и недоумеваю, с чего бы вдруг Компанеец так меня благодарит?.. Он еврейский человек. Очень. И внешне, и манерами, и своей тягой к еврейскому, к еврейской музыке... Он обрабатывает еврейские народные песни, пишет еврейские песни для исполнителей и еврейскую камерную музыку... Я понимаю, что это непросто, не в профессиональном смысле — он вырос в атмосфере еврейской музыки, с детства напитан этими интонациями и мелодиями. Нет, трудность в другом: быть евреем трудно! В стране, где слово «еврей» зазорно, где антисемитизм идёт с самого коммунистического верха, где еврейскую культуру ещё не додушили, но мечтают об этом... я что, совершил смелый поступок? Отчего он так благодарит?..

Время уносит атмосферу эпохи, но её можно восстановить по маленьким штрихам, составить мозаику прошедшего по отдельным негромким событиям, фактам... Приведу рассказ моего учителя и друга, знаменитого музыковеда, доктора искусствоведения Владимира Зака. В то время он был заместителем председателя комиссии музыковедения и музыкальной критики Союза композиторов СССР. Передаю почти дословно: «На заседаниях секретариата Союза композиторов СССР Зиновия Львовича я вообще не видел. А тут прихожу в назначенное время, почти все уже в сборе, Тихон Николаевич Хренников на председательском месте. Он первый секретарь Союза и, значит, сам будет вести заседание, а Зиновий Львович сидит напротив с нотами в руках. Начинается заседание. Доходит очередь до Компанейца. Тихон Николаевич обращается к собравшимся композиторам и музыковедам: «Вот, товарищи, Зиновий Львович хочет нам показать свою новую работу. Давайте послушаем и выскажемся». Зяма объявляет, что принёс две песни на стихи поэта Арона Вергелиса и будет петь на идиш. Все настороженно затихли. Компанеец играет и поёт. Песни, как всегда, очень профессиональные, хорошие. Закончил Зяма играть, и Хренников предлагает: «Ну, товарищи, давайте обменяемся мнениями!» — гробовая тишина.

Хренников после паузы как бы помогает нерешительной аудитории и снова приглашает: «Песни достаточно интересные и заслуживающие внимания, кто хочет сказать что-нибудь?» — гробовая тишина. Но Тихон Николаевич не сдаётся: «Товарищи, ну, как вы считаете, может быть, мы рекомендуем их для печати, исполнения?» — гробовая тишина. И тут вдруг встаёт Борис Михайлович Терентьев (Первый секретарь Союза композиторов Москвы), вынимает изо рта вечную не горящую боцманскую трубку, бьёт кулаком по столу и произносит с сердцем: «А что, в самом деле, так нельзя писать?» — гробовая тишина».

Представляю себе эту картину очень ясно. Вижу этот кабинет, лица композиторов, сидящих за длинным столом, Тихона Николаевича... В Союзе композиторов не было антисемитизма... да просто по факту не могло быть — большинство его членов были евреями, ведь из Союза композиторов за всё время репрессий ни один человек — ни один! — не попал в пасть коммунистического молота! Неужели так велик страх!? Страх, что могут передать — мол, такой-то хвалил еврейские песни еврейского композитора!?

Какое мужество было внутри этого тихого, элегантного, всегда великолепно одетого русского интеллигента с жутким по понятиям господствующей и юдофобствующей правящей партии изъяном — он еврей...

«Ну что же делать? Так вышло!», по выражению классика сатиры нашего времени...

У Зиновия Львовича всегда ровное настроение. Мне не доводилось видеть его раздражённым, спорящим... Как ему это удаётся? В такое непростое время! Он всегда расположен к людям и не обременяет их просьбами, своими тяготами... О нём не ходит сплетен, и коллеги не дарят его своей завистью...

Компанец работает успешно. В прошлом были знамениты его песни для взрослых, особенно до и сразу после войны, чего стоит хотя бы такие, как «Песня былых походов», «Всё, чем теперь сильны мы и богаты», «Кружевница и кузнец», «Кони сытые бьют копытами!» После войны он больше пишет для детей. Много пишет. Очень много. Хорошие стихи, а он разборчив к текстовому материалу, кладёт на музыку... Его соавторы Леонард Кондрашенко, Виктор Викторов, Владимир Орлов, Вадим Семернин... Кстати, хотел бы заметить, что многие очень известные композиторы в тот период, 60—80-х, обратились к творчеству для детей... Кирилл

Молчанов, Вано Мурадели, Александр Флярковский, Геннадий Гладков, Людмила Лядова... Может быть, ужесточение цензуры этому способствовало, может быть, возникшее движение «Хоровых студий», начатое дирижёром и композитором Георгием Струве, а как следствие — появление новых и новых сотен детских хоровых коллективов, которым необходим был репертуар. А ещё — утверждаю: во многом репертуарная политика таких редакторов, как Ростислав Григорьевич Бойко и Ольга Осиповна Очаковская в музыкальных издательствах, и Геннадий Алексеевич Крылов — на Всесоюзном радио... Они сами звонили композиторам и поэта́м, предлагали темы, исполнителей... — были катализаторами в творческой работе по созданию песни... Звучит это несколько казённо, но это не эмоциональное восприятие времени, а факт — многие композиторы и поэты были благодарны этим людям! Нельзя, чтобы их имена затерялись...

Хорошо идти по Тверской (тогда она была улицей Горького, но мы её всё равно называли Тверской) скрипучим зимним днём. Зиновий Львович прижимает локтем к пальто тоненькую кожаную папочку с «молнией» поверху, а в ней новые песни — мы идём на заседание в Союз композиторов, где будем их показывать... Можно подъехать несколько остановок на троллейбусе, но нам нравится идти и вдыхать морозный воздух, остановиться у подножия памятника, прислушаться и сквозь шум городской суеты разобрать, как декламирует поэт:

...вот уж по Тверской
Возок несётся чрез ухабы,
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины, моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Теперь всё переменялось!.. Я уже не застал даже остатков описанного, разве что аптеку на противоположной стороне, в ко-

торую по преданию заглядывал Пушкин и которую в семидесятые годы зачем-то снесли, на том месте разбили сквер, а позади него соорудили нелепые часы, по которым время не определишь...

Зиновий Львович останавливается и вспоминает все, как по описи из незабвенных строчек... Он будто оттуда, из того века... и все переломы и жестокости времени не отодвинули его от прекрасного, а наоборот... он дорожит этим! Как хорошо! Его неспешность, несуетливость и тяга к красоте...

С ним все любили работать: если он брался сочинять, и песня получалась, а это уж точно в 99 случаях из 100, то она появлялась и в записи на радио, и в сборниках, и песенниках, и в репертуаре лучших детских хоров в лучших залах! Редкий концерт в Большом зале консерватории, Зале имени Чайковского, концертных залах гостиниц «Россия», «Орлёнок» и Дворца пионеров — везде — редкий концерт обходился без песен Зиновия Компанейца... Такое тесное общение с детскими голосами вызвало в композиторе желание попробовать себя в жанре, к которому он прежде обращался крайне редко. «А давайте напишем цикл хоров без сопровождения», — неожиданно для меня предлагает он. Так появились «Четыре сестрицы» — миниатюры о временах года, и композитор очень радовался их успеху...

Я думаю, что в «золотом фонде радио» (так его называли) не сотни, а тысячи записей музыки Зиновия Компанейца, но как их послушать сегодня, как попасть в нотную библиотеку радио, где за многие десятилетия скопилось неоценимое богатство?.. Да по этим записям, клавирам и партитурам можно составить самую подробную биографию страны! Так хочется, чтобы кто-то «заболел» этим, разузнал, раскопал, вернул людям любимые песни не одного десятка первостатейных композиторов... Пока же, увы... уходят песни, уходят их создатели, исполнители, и новые поколения даже не представляют, чего их лишило бурное время, или, вернее, чья-то бесхозяйственность, а может, хуже того, — алчность...

Странно! При таком успехе имя Зиновия Компанейца в тени. Может, потому что он не любит толкаться на людях, как теперь говорят — «не любит тусовок». А песни его всё время в эфире, в репертуаре многочисленных коллективов, солистов, в школьных программах по музыке, в детском саду... он печатается активно, исполняется... и видит мир глазами мудреца. С ним необыкновенно интересно и занимательно не только в работе.

— Где вы достали такой костюм? — спрашивает его коллега. В пору всеобщего дефицита и железного занавеса вопрос не праздный.

— Сшил, — коротко отвечает Зяма.

— Где, если не секрет? Такой изумительный материал! Импортный? Так прекрасно сидит на вас! — настаивает человек.

— Нет, — отвечает Зяма с едва заметной усмешкой. — Не секрет! Я всегда шью у Соломона в костюмерных мастерских Большого театра. — Я присутствую при этом разговоре, и Зяма потом, наедине со мной, дополняет рассказ... «Соломон уехал было к брату в Америку, а я не знал, что делать. Остался без портного! Вдруг он через некоторое время возвращается. Его спрашивают: «Вам там не понравилось?» «А... Я знаю?..» — отвечает Соломон чисто по-еврейски, вопросом на вопрос. «Ну, что там, нечего есть, не было денег?» «Почему? — возмущается Соломон. — Брат богатый человек, у него два больших дома, машины...» «Так что же вы вернулись?» «Я знаю?! — задумывается Соломон. — Тут бярррьозки... и вообще, там не с кем поговорить!» — И его опять взяли на работу на прежнее место! — заключает Зяма. — Представляете!?» Нет. Я не представляю. Это уж небывалый по тем временам случай...

Возможно, память не точно сохранила имя портного и название мастерских, зато — доподлинно сам рассказ и атмосферу того времени...

Костюм для Компанейца, очевидно, не просто одежда — больше! Прихожу к нему домой. Он в белой рубашке с галстуком, в костюмных брюках, поверх всего — длинный толстый махровый халат с толстым махровым поясом. Это не к моему визиту он приоделся. Так Зиновий Львович приходит работать к роялю, на свидание с Музыкой, если он вообще хоть на минуту с ней расставался...

В квартире вкусно пахнет. Печёным! Я любитель домашне-го печева! Устраиваемся на кухне, по-московски. Меня угощают чаем с «шарлоткой»... разговоры обо всём. Зяму можно слушать часами!.. Но... работа, работа... идём к роялю... У нас новый авторский сборник выходит «Весёлая тетрадь» — ровно дюжина песен для детей. 1971 год... разгул сусловщины... цензура свирепа... мои произведения для взрослых вообще не публикуют... Компанеец тоже не очень в чести... уж слишком он тесно связал своё творчество с еврейскими темами...

Иногда, в паузу, повернувшись боком к клавиатуре, Компанец прерывается и начинает вспоминать, а я буквально превращаюсь в губку...

«Я сюда, в этот дом, к своему педагогу ходил... Видел доску у подъезда... Да, к Глизру... это мой педагог в Москве... Он дома со студентами занимался...» Или вдруг о знакомстве с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым: «Он высший гений двадцатого века!» Зяма его боготворил...

Конечно, пересказ тех разговоров бессмыслен, ибо не передаст, даже при самом точном воспроизведении, практически ничего... Для того чтобы событие, человек, о котором вспоминал Зяма, ожили, заиграли, нужны его обаяние, его чуть пришепётывание изредка, улыбка и паузы, ритм рассказа, интонации — он же музыкант всю жизнь — от вундеркинда с рождения до чудесного мастера, с которым счастье быть знакомым и работать...

Иногда люди начинают судить и считать, мол, прожил человек жизнь, а что от него осталось?!.. Стоит ли так?..

Зяма прошёл через столько трагических эпох недоброго века и остался самим собой! Вот о чём интересно подумать — как ему это удалось? Благодаря чему? А может, он не прилагал особых усилий, но жил, как жил, в собственном мире музыки, созданном внутри — не пускал туда чужих и всё... У меня нет ответа. О своей душе композитор говорил редко... словами, конечно, вся музыка, созданная им, — его душа... Надо вслушаться и услышать, понять...

Он считал, что есть много тем более интересных, чем его персона, и был необыкновенно добр. Выступать с ним перед детской аудиторией — наслаждение. Зиновий Львович не заигрывал со слушателями, а просто открывался им, и ребята сразу понимали, что он один из них, такой же, просто постарел маленько, полысел, да что за беда! Зато умеет шутить и понимать шутку, играть увлечённо, с ним весело, хорошо...

От общения с ним все получали радость — а таковых было много — сотни... в те трудные годы искренние чувства ценились особо... От общения с его музыкой радость получают миллионы. Всегда. Это судьба?

ПРИВИЛЕГИЯ ПАМЯТИ

Размышлизмы мои писались и копились годами. Так получилась книга «Шкаф, полный времени». Название мне нравится кроме прочего потому, что время действительно спрессовывается и оказывается в своеобразном шкафу. Конечно, очевидно, — одна обложка не вместит весь объём, все размышлизмы, но это уже дело издателя. А я с огорчением обнаружил, оглядывая сделанное, что мало страниц в этой книге посвящено женщинам! Это тем более удивительно, что замечательные представительницы несправедливо названного «слабым» пола сильно повлияли на мою биографию, начиная с самой первой — моей любимой необыкновенной мамы, не матери, как принято писать, а Мамы!

Причин такому неравномерному распределению авторского внимания несколько, но главные, я думаю, в трепетном отношении ко всем, о ком хотел бы написать, а ещё в трудности постижения женской психологии и женского характера, что, в свою очередь, порождает неосознанный страх неверно истолковать и представить факты, события, разговоры...

Я не вторгаюсь в приделы памяти — я там существую и безо всяких ухищрений и натуги; вижу, слышу, ощущаю давно происшедшее... Только с годами, может быть, немного по-другому ценю и оцениваю его, и всё больше благодарю Всевышнего за его щедрость, что даровал на протяжении моей жизни встречи с выдающимися необыкновенными людьми.

Однажды Кирилл Молчанов¹ позвонил мне, что случилось весьма не часто, — он предпочитал, чтобы все звонили ему, —

¹ Молчанов Кирилл Владимирович — выдающийся русский композитор второй половины XX века, с которым я сотрудничал долгие годы. Смотри размышлизм «Возвращение».

позвонил и попросил приехать. «Только не на Студенческую, — предупредил он, — я теперь живу по другому адресу».

И вот я иду по Брюсовскому переулку: Союз композиторов, знаменитый пятачок-скверик, Малая церковь Вознесения на Вражке, дом Художественного театра, стоящий стена в стену с ней.... Такие знакомые с отрочества места... Поднимаюсь и звоню в дверь. Мне открывает сам Кирилл Владимирович с разрывающимся от лая пуделем Маней на руках, незнакомая женщина кивает из глубины длинного коридора, завешенного и заставленного полками с книгами, проходим пустую комнату-залу с зеркалом во всю стену и станком вдоль неё и закрываемся в кабинете... «Это моя новая теща, Фрида Фёдоровна, — кивает назад Молчанов. — Я теперь здесь живу...»

Так впервые я попал в квартиру солистки Большого театра Народной артистки СССР и лауреата всяческих премий Нины Владимировны Тимофеевой. А позже узнал, что это квартира, где прежде жил Василий Иванович Качалов. Я никогда не пишу о семейных делах своих друзей, соавторов, героев размышлизмов. И в данном случае не отступаю от правила.

В этот ли, в другой ли раз, когда зашёл разговор о балете и я обмолвился, что не могу никак попасть на премьерный «Спартак», Молчанов сразу загородился руками и запротестовал: «Это не ко мне! Это к Нине! Контромарки у неё! — я молчал, не понимая в чём дело, ведь он директор Большого театра, как никак! И кто такая Нина?.. — Вы не знакомы? Сейчас познакомлю!»

Так и состоялось моё знакомство с Ниной Владимировной Тимофеевой, балериной, которую охарактеризовать эпитетами невозможно — их просто совершенно недостаточно и нет необходимых в нашем великом русском языке.

Я действительно ничего не знал — ни о том, что Молчанов ушёл от прежней жены и женился на Тимофеевой, ни о том скандале, который затеяли двуличные чиновники, его и её недоброжелатели, ни о всей закулисной грязи, которую выливали на них... поэтому моё ошеломление было совершенно откровенно очевидно и позабавило и, по-моему, обрадовало их обоих...

Эта балерина, которая виделась мне из зала высокой и неодолимо, неприступно уверенной, вблизи оказалась совсем небольшой, с замечательно застенчивой и бесконечной улыб-

кой, а дом этот с того первого мига стал не только открытым и близким для меня, но родным...

Артистический мир вообще странный и необъяснимый, а балетный — особенно...

Три стены, обитые тёмно-красным шёлком и раздвигающиеся в четвёртой зеркальной, шесть старинных стульев вдоль окон напротив станка, тихо звучащая из маленького стереомагнитофона мелодия и великая балерина, будто не сидящая, а парящая над креслом с иголкой в руках, склонившаяся над лежащими на коленях пуантами, пришивает к ним перед спектаклем шёлковые неширокие ленточки... Я не могу оторвать взгляда от ловких пальцев, от этих балетных крыльев, которые будут мелькать, вызывая восторг зала...

— Ты придёшь завтра на репетицию? — спрашивает Тимофеева. Ну, что за вопрос!

— Конечно! Конечно!

— Тогда заезжай за мной, чтобы не заказывать пропуск — пойдём вместе! — и назавтра я следую за Ниной Владимировной в 16-й подъезд Большого мимо вахтёра, с подчеркнутым интересом (как же: новый мужчина рядом с балериной) рассматривающего меня, ибо вместо пропуска Тимофеева роняет: «Это со мной!» и для убедительности вполобрата ухватывает меня за рукав куртки...

Сегодня у Тимофеевой новый партнёр — Анисимов... и что-то не ладится в поддержках, оба они нервничают, а я сижу у зеркальной стены, наполовину спрятавшись за роялем, и чувствую некую вину и неловкость оттого, что допущен в мир, который не должен быть открыт зрителю, по моему глубокому убеждению... Я не хочу быть свидетелем этой черновой кровавой работы, не хочу не потому, что боюсь разочароваться, не потому, что мне это неприятно — нет! Всё наоборот! Я учусь тут великому упорству и жертвенности, этой беззаветной самоотдаче и ответственности артистов на рядовой репетиции, как перед самым решающим шагом в жизни! Нет, нет и нет!

В зале лишних — я один! А всего нас четверо: концертмейстер, Тимофеева и Анисимов. Потные и раздражённые, наконец они прерываются, усаживаются по-турецки на пол посреди зала и что-то негромко обсуждают, жестикулируя и останавливая руками друг друга... Мне невозможно прервать эту работу, но из-

нутри что-то гонит подойти и извиниться за моё присутствие, ибо я уверен, что мешаю, из-за меня не получается что-то, чего я не вижу и не понимаю.... Но нет, невозможно подойти: артисты работают! Я совсем не в своей тарелке... и тут на счастье скрипнула дверь, и входит Васильев, и артисты встают ему навстречу! «Володя, Володя!» Нина Владимировна подзывает меня и знакомит. Несколько минут лёгкого разговора, и, наконец, я нахожу миг, чтобы вставить свои извинения и намерение уйти...

— Ты спешишь? — удивляется Тимофеева.

— Нет, но мне кажется, я мешаю вам, и поэтому у вас что-то не получается... — она долго смотрит на меня, чуть подвигается и пристально, уставясь в глаза, резюмирует:

— Ты знаешь, что плохому танцору всегда мешает? — и утверждаяще кивает головой: — Я когда работаю, мне ничто помешать не может! Сиди, пожалуйста, не уходи! Я хочу чтобы ты посмотрел... — и без перерыва — Спасибо! — она всегда, везде, всем говорит спасибо... Поначалу я не внял этой манере... западной, как мне кажется...

И действительно, я вспоминаю свою недавнюю молодость, когда у меня не было не только стола, но даже дома... Я забирался на конечной остановке у Даниловского рынка в пустой троллейбус №10 на заднюю длинную скамейку в левый дальний угол и ехал в нём, переполненном, по Садовому кольцу, по круговому маршруту больше часа, а потом опять, на конечной остановке, у Даниловского, отрывал себе билетик за четыре копейки и снова совершал круг по Москве... Ничто не мешало мне черкать в блокнотике на коленях корявыми от тряски буквами стихи... многие из них вошли в мои книжки, многие стали песнями, пережили крах страны и не затерялись до сих пор...

Моей наивности тогда, как мне кажется, не было предела.

Вот я жду Нину Владимировну в Шереметьево, возвращающуюся после очередных гастролей, стою в толпе встречающих, раскланиваюсь с проходящими мимо — Максимова, Васильев, Адырхаева, Анисимов... ну, наконец-то! Нина Владимировна! Видно, что она устала... глаза грустные. Я за рулём, в машине нас двое, мельком, отрываясь от дороги, смотрю на неё и спрашиваю:

— Соскучились, наверное, ужасно? — чувствую на себе её взгляд и оборачиваюсь...

— По чему?

— Ну, — мнусь и предполагаю я, — по Москве, по театру, по своим, по маме, по Надюше... — она выдерживает паузу...

— Правда: соскучилась... по своим... Только, знаешь, мы когда уже подлетали к Москве, уже буквально над Шереметьево, я с ужасом считала, сколько мне здесь дней торчать до следующих гастролей, — я ошеломлённо молчу. — Три месяца, представляешь!..

Я не представляю, но моё образование движется семимильными шагами — разве случайно после каждых гастролей театр недосчитывается своих артистов? Разве бегут от хорошей жизни? Разве свободу дозируют по прихоти директора театра (уже не Молчанова), режиссёра и балетмейстера, а гастроли назначают, как высшую награду?! И кому? Чиновники решают за артистов принять или не принять им приглашение на участие в спектакле, партийные бонзы выстраивают мизансцены жизни выдающихся личностей, которых годами ждут лучшие сцены и залы мира...

Как наивно сегодня всё это звучит. И разве тогда, давно, в нашем советском доме, превращённом в тюрьму на 270 миллионов человек, мы не знали этого?! Смирились? Наверное. Как это ни горько признавать, приспособлялись, но не видели выхода и не верили, что доживём до иных времён и порядков...

Вряд ли в таком коротком тексте необходима последовательность дат и событий, к тому же, и малая часть их всё равно не уместится здесь... Я уже много раз оговаривал в размышлизмах, что ни в коем случае не стремлюсь писать биографию моих героев — портрет, попытку заглянуть в их глубину и понять их на основе наших встреч, событий не общеизвестных, а лишь тех, что досутупны нам двоим...

Мне тогда казалось, что Тимофеева востребована и удовлетворена своей работой — она Эгина в первом премьерном составе «Спартак», и я не могу выразить и передать счастья, в которое погружаюсь, видя её на сцене с Владимиром Васильевым, Марисом Лиепа, Михаилом Лавровским... После спектакля в её небольшой домашний репетиционный зал войти невозможно — он весь уставлен вазами, бутылками, вёдрами (!) с цветами, она работает, как каторжная, не в переносном, а в прямом смысле слова — по шесть часов каждый день! У станка, в зале, на сцене, одна, с партнёрами, она снимается в телефильмах и сама ставит танцы,

пишет и издаёт книгу о балете «Мир балета»... Когда я впервые увидел её пластическое откровение на музыку «Стабат Матер» Перголези — не стесняясь, плакал...

У Тимофеевой бенефис в Большом в честь круглой даты её работы на этой сцене. И вот она, потрясающая Мехменэ Бану в блестящем балете Арифа Меликова «Легенда о любви»... я сижу близко, совсем близко и ясно вижу, как в центральной сцене партнёр Тимофеевой (фамилию не называю по понятной причине) неудачно приземляется после прыжка, падает, его лицо искажено от боли, и он буквально уползает в кулисы... Уверен, что у тех, кто знает спектакль, а в зале много профессионалов, замерло сердце: надо закрывать занавес и... бенефис испорчен! Но... Тимофеева... Нина Тимофеева! Взгляд — посыл дирижёру, и ни секунды заминки! Теперь труднейшую сцену она исполняет одна! За двоих! Нет, публика ни о чём не догадалась! Овации! Зал бушует и засыпает её цветами!.. Я чувствую, как колотится сердце и пытаюсь успокоиться — ведь миновало, миновало... Но как она смогла совершить такое! Какими нервами, каким умением, какой верой!

— Что случилось? — спрашиваю я, когда грома отгремели. Нина Владимировна смотрит на меня, и чувствую, что она еле сдерживается:

— Представляешь, К. сломал ногу... Думали: растяжение, вывих, порвал связки... оказалось — перелом...

А вы-то, читатель, никогда не видели ноги балерины после спектакля? За сценой, дома? Эти лёгкие, порхающие, нежно перетянутые крест-на-крест розоватыми ленточками на щиколотках, в шёлковых блестящих, сверкающих пуантах? Не видели, когда они свободны от одеяния и на них невозможно наступить от боли, гематом и кровоподтёков... И не надо! Не надо вам этого видеть!

И я ещё раз убеждённо утверждаю, что нечего делать зрителю за кулисами театра — и описать это невозможно, впрочем, как и сам танец. Одно искусство не имеет права подменять другое! Я не берусь передать словами сам танец, другое дело чувства, которые он рождает...

Но всё же, чтобы избежать субъективности и дилетантства и поскольку за Пушкинским «блистательна, полувоздушна» всё равно не угнаться, предоставим слово знаменитому и рисковому это делать Виталию Вульффу:

«Мехменэ Бану в балете Григоровича «Легенда о любви» изумляла дьявольской энергией. Технические возможности Тимофеевой казались беспредельными, словно трудностей для нее не существовало. Динамика движения передавала силу внутреннего порыва, страстную натуру, она выполняла головоломные трюки, но у нее они были выражением напряженнейшей внутренней жизни. Недавно Юрий Григорович признался, что Мехменэ Бану лучше всех танцевала Тимофеева, но и в «Спартаке» она была лучшей Эгиной.

О виртуозности ее танца слагались легенды в балетном мире. За его пределами она была скромна. Природный ум, такт и истинная культура берегли ее, она не суежилась, а работала и очень много танцевала. Когда Васильев ставил балет на музыку Молчанова «Макбет», Тимофеева танцевала леди Макбет. Не случайно в классическом репертуаре Тимофеева не всегда достигала высот, которые открывала в современных балетах. Ее редкому таланту близки остроконфликтные и драматические ситуации. В ней — особая манкая пластическая выразительность. Ей особенно удаются темы борьбы и смятения, душевного надрыва, спрятанного от глаз. Балетная мелодрама ей чужда. Ее сценический мир — это мир страдания.

Танцую Мехменэ Бану в «Легенде о любви», Нина Тимофеева передавала ощущение скорбного торжества. Для того чтобы не сломаться, она выпрямлялась. Невозможно забыть «взмахи ее повелительных батманов» (выражение Б. Львова-Анохина), вихрь ее вращений, позы, повороты, чеканность остановок. Она никогда не теряла психологической логики, её лицо было полно муки и какой-то лихорадочной работы мысли. Сложности пластики зрителю были незаметны. Хореография Григоровича была ей особенно близка — соединение графической четкости рисунка с психологической многозначностью.

Когда она танцевала Эгину в «Спартаке», то в ее монологах, в стальной упругости ее движений были очевидны все расчеты и просчеты знатной куртизанки. В ее соблазнительных танцах был нескрываемый цинизм. Тимофеева демонстрировала не только высокое танцевальное мастерство, но и искусство актрисы.

Не берусь оценивать эту цитату. У каждого свои мерки. Мне ближе другое высказывание в одну строку, но крупно — на весь свет!

Во время гастролей Большого в Италии со спектаклем Кирилла Молчанова «Макбет» итальянская пресса утверждала: «Нина Тимофеева — величайшая трагическая актриса мира». Я держу в руках эту газету и благодарен тому, кто написал и крупно поперёк первой полосы напечатал это. Балерина — трагическая актриса — вот в чём праведная суть, уникальность и величие этой неповторимой женщины!

Нина Тимофеева пришла в Большой из Петербурга с вагановской школой, что само по себе уже драматично, ибо соперничество двух школ (московской и петербургской) — это был принципиальный спор... Но балерина не только не затерялась в когорте блистательных танцовщиц, начиная с Галины Улановой, которая на многие годы стала её учителем, другом, наставником, а потом и репетитором, она, Нина Тимофеева, сразу встала в первую линейку и танцевала с первого дня все труднейшие заглавные партии репертуара Первого театра страны. А соперничать было с кем! Все великие имена балета середины и второй половины двадцатого века собрались на главной сцене страны... И Тимофеева среди них была не только в первой линейке, но неповторима и незаменима... некоторые партии танцевала без дублёра! Больше того. Специально для неё создавали репертуарные произведения! Упомянутый выше в цитате балет Кирилла Молчанова «Макбет» был написан специально для Нины Тимофеевой, любимой жены композитора, и стал её величайшим триумфом. В этом произведении замечательного композитора, мелодиста и драматурга нет ни одной проходной ноты, нет ни одной служебной сцены, и все персонажи были исполнены мастерами самого высокого мирового класса... Но сколько труда стоило не поставить, а «пробить» постановку! Ведь хореографом выступил Владимир Васильев, а не диктатор-монополист Григорович. Не хочу оценивать его персону, да и не место для этого, мне всегда были не по душе его работы, и я писал после исковерканного им вместе с художником Вирсаладзе «Лебединого озера»:

Постигнув, что судьба слепа,
Решил свои повысить акции,
И из балетов Петипа
Печёт он «новые редакции».

Это его выражение, формула «новая редакция» без спроса и стеснения. Мёртвые молчат, а своя рука — владыка!

Я не за демократию в театре, но категорически против служебного диктата, когда должность и кресло становятся аргументами в художественном споре, когда исполнителя хотят превратить в бессловесного раба, которого можно казнить и миловать по собственной неконтролируемой прихоти!

У каждого своя стезя в искусстве. Не берусь ни судить, ни осуждать, но когда в одночасье, пользуясь властью, Юрий Григорович уволил из театра весь цвет балета: Плисецкую, Тимофееву, Максимову, Адырхаеву, Васильева, Лавровского... под лозунгом «дорогу молодым» и оставил в труппе свою жену Бессмертнову, любому, совершенно не посвящённому в закулисную кухню, стало ясно, что это не творческий порыв, а циничное сведение счётов... Почему он не начал с себя, уже явно творчески выдохшегося? Да потому, что власти любезны и нужны были серые и послушные...

Кстати, замечу по справедливости: не похоже, что после ухода Григоровича, новым руководителям балета Большого удалось исправить ситуацию в театре...

Зависть или капризы в угоду вкусовщине — могучие силы сопротивления... Поэтому и не добрался до сцены написанный Кириллом Молчановым балет «Три карты» по пушкинской «Пиковой даме». Он был также создан для Нины Тимофеевой. Я вникал в либретто (по просьбе Молчанова), когда ещё сочинялась музыка, и новое, интересное, неожиданное прочтение и понимание Пушкинского текста давало и новые возможности замечательному мелодисту-композитору, вернее сказать, он сам давал себе эти возможности, поскольку либретто, как и всегда, принадлежало его перу...

Слава Богу, балет не пропал и был поставлен на телевидении, снят на плёнку: это прекрасный дуэт Молчанова и Тимофеевой.

Общение с этими двумя выдающимися художниками помогло мне поскорее избавиться от последних остатков не то что веры, но доверия к тому, что довлело над нами, над страной, над искусством, над каждым человеком, обречённым жить при этой власти.

Нина Владимировна — творец самоотверженный и неугомонный, отдыхать она никогда не умела. Одной из первых привезла из очередных гастролей огромную, тяжеленную (тогда других не было)

видеокамеру и дома после репетиций и спектаклей просматривала материал, чтобы самой со стороны оценить свой танец.

Её сомнения, неуверенность, незаметность — всё будничное, заканчивались с первым тактом танца — когда она находилась на сцене, взгляд зрителя не мог оторваться от неё, какая-то удивительная притягательность, магнетизм, что-то необъяснимое, что именно, наверное, и составляет предмет искусства... из маленькой женщины она преображалась в неотразимую великую актрису...

Вспоминается, как знаменитого Павла Орленева спросили, как он при таком маленьком росте и искажённом «р» играет Гамлета? Ответ был обескураживающе прост: «А я гасту на сцене, гасту!»

На мой взгляд, её «Танец с шарфом» в Макбете уже перерастал жанр — это было некое общение со зрителем, с миром на волновом, космическом уровне...

И казалось, ничто не может прервать этого общения... но...

Кирилл Владимирович очень любил этот балет, не пропускал спектакли, когда танцевала Нина, а дублёрши у неё не было... Как-то накануне спектакля он позвонил мне из Дома творчества композиторов в Рузе и попросил за ним заехать, чтобы вместе пойти на «Макбета»... На завтра, в воскресенье, я уже собирался в дорогу, когда мне перезвонили, что Кирилла Владимировича подбросят друзья, которые собирались в Москву, и чтобы я приходил прямо в театр...

Сегодня мне трудно даже объяснить, почему я не пошёл тогда на спектакль... почему? Что удержало меня?.. Тимофеева знала, что Молчанов в ложе... она была, говорят, как всегда великолепно... В перерыве Кирилл Владимирович не зашёл к ней... ей объяснили, что он себя неважно чувствует... но... это была неправда — сердце его остановилось в конце первого акта мгновенно... «скорая» ничего не сумела сделать... Срочно послали за балериной, которая смогла бы заменить Тимофееву, хотя повторяю: у неё не было дублёрши... антракт затягивался... появилась артистка на замену... пришлось сказать правду Нине Владимировне, и... она отказалась покинуть сцену... Она дотанцевала спектакль до конца... в память Кирилла...

Мне позвонили в антракте спектакля, сказали, что случилось, но я не поверил! Не знал, что делать... а кто знает, как

можно утешить человека в такую минуту!? Я не чувствовал своей вины, что не пошёл на спектакль — разве что-то могло спасти его, замечательного композитора, настоящего друга... и как это ни пафосно звучит, но ведь поистине он умер на поле боя! В Театре, который любил, для которого много, много сделал и который отнял у него не один год жизни...

Здесь мне хочется поставить длинное многоточие, чтобы читатель вслед за автором мог сам представить две картины: в зале, в директорской ложе и за кулисами.....И.....

помолчать... Ибо нет таких слов, которые смогут описать происходившее. Ибо «мысль изреченная — есть ложь», и жизнь не укладывается в рамки предположений и в строки предложений...

Когда мы с Ниной Владимировной разбирали бумаги, ноты, записи, либретто Молчанова, мне в руки попала и маленькая книжечка-блокнотик с закрулёнными потёртыми углами, исписанная плотно-плотно. Это оказался дневник Тимофеевой, очевидно, подаренный мужу после того, как они поженились... Так случайно я вторгся в чужую интимную тайну... сейчас впервые по прошествии многих лет признаюсь в этом публично. Ни одной строки не выписал я оттуда, ни одной фразы и никому не сказал о том, что держал в своих руках, но радость после волнующего чтения этих страниц от ощущения, что так бывает на свете, что любовь — это и есть жизнь, это чувство до сих пор не покидает меня.

Тимофеева! Величие и блеск её на сцене наполнены такой силой и красоты чувством!

Вот ведь как устроена жизнь: сюрприз через мгновение становится привычным... я с трудом нахожу в Иерусалиме необходимый адрес, и мы оба с ней не сдерживаем чувства — обнимаемся и вытираем слёзы!.. А потом вчетвером с Ниной Владимировной, её дочкой Надей, чудесной балериной, и моей женой пьем чай в окружении бесчисленных собак и кошек, которые нашли приют и защиту в доме великой артистки! Да что им до этого!

Кстати сказать, и до сих, в доме Тимофеевой всегда есть место брошенным, сырым, обездоленным животным, поскольку в стране нет государственной службы их спасения...

И вот мы смотрим видео недавнего спектакля, в котором на сцене две Тимофеевы в сшитых самими костюмах, в окружении

своих партнёров-учеников... Нина в отличной форме, но... конечно, для неё нужны и другая сцена, и другого уровня коллеги... Но она с великим энтузиазмом и преданностью помогает Израилю создавать свою балетную труппу при Иерусалимской Академии музыки и танца...

Я не воспоминаю пишу, но размышляю... мне не по душе происшедшее за последнее время — Нина Тимофеева не сдавалась, она преодолела непонимание и там, в демократической стране, которая её пригласила, а затем в 2002 отказалась помогать и решила закрыть «балетную» программу, чтобы съэкономить деньги... что сказать? Дураков везде хватает, к сожалению! Дело же не в том, что страна пригласила балерину, а в том, что она согласилась!!! Ибо известно, что лучшие сцены мира были счастливы, когда на них выходила Нина Тимофеева, и любой театр, каждая балетная школа, музыкальная академия в мире предоставили бы балерине такого высочайшего класса всё, что смогли бы, лишь бы «заполучить» её! Я тогда написал статью в русскоязычную прессу Израиля, где назвал всё своими именами... не выходцы ли из России приняли там «мудрое» решение?! Ведь матушке-родине ничего и никого не жалко! И всегда так было! Барышников и Макарова в Америке, Плисецкая в Испании, Деревянко, Таранда... Господи, какой длинный список... и Надя Тимофеева уехала, бросив «Молодой балет» всё того же Григоровича...

Конечно, великая балерина Тимофеева достойна не таких условий жизни и работы, но!.. Она так горячо, заинтересованно говорит о том, что делает...

— Знаешь, я счастлива!.. — говорит мне Нина Владимировна.

— Но ведь затраты не по отдаче... и здесь так жарко... — возражаю я.

— А мне, представляешь, в самый раз! И дышится легко!.. — а я с ней не умею и не хочу спорить...

Настоящее искусство, действительно, самодостаточно, ему не нужна ни реклама, ни широкое потребление, вообще, кажется, двадцатый век подвёл жирную черту под прошлым, прежним... Куда уж дальше, если великим писателем, которого награждают, в России стала Донцова, а на Западе величайшими бестселлерами всех времён «Код да Винчи» и «Гарри Поттер»...

Сорок лет назад мир потрясла книга Селенджера «Над пропастью во ржи». Потрясла не на мгновение, не на час — осталась на долгие годы... Мир не заметил, как скатился с тех высот до вышеупомянутых поделок! Мир беспокоится, чтобы не вымереть от загрязнения и потепления, а не дошло ли человечество до крайней черты потому, что дух его в детстве питают «поттерами», и повзрослев, он востребует такие «коды» и другую духовную «фаст фуд»?

Конец света не объявят по радио! Его каждый день показывают по телеканалам: смерть, кровь, террористы, катастрофы, а нажми кнопку, и рядом махровая попса и разнузданная порнуха... Извините, читатель, за употребление этих слов, они засыпают нас ежечасно...

Когда-то, в глухую мрачную пору сусловщины и, соответственно, разгула мракобесия и антисемитизма в России поэт Юрий Смирнов написал:

Лишь о футболе и не боле
Глаголит русский человек...

Это тогда спорт сделали политической категорией и отвлекали им, и забивали мозги гражданам, чтобы не сосредоточивались на истинных проблемах, сегодня к спорту повсеместно добавили ширпотреб культуры: попсу, блатняк, порно, бездумье, бездумье, вседозволенность и вседоступность Интернета... Надо ждать ещё какого-то конца света, Апокалипсиса?.. Или миру нужен новый идол, который примет муки за все грехи человеческие?..

В середине восьмидесятых Москву всколыхнули постановки Владимира Васильева, особенно они выделялись на фоне балетной рутины. «Судьба артиста» стоит пред глазами. Страстные ритмы танго и вся жизнь от маленькой хрупкой девочки, только что вставшей на пуанты (Надя Тимофеева), до трагической фигуры прошедшего огня и воды человека, артиста... в этом мини спектакле даже самые первые шаги на сцену Нины Тимофеевой из кулисы заставляли затаить дыхание. Её танец входил в душу, сердце, мозг, память — заполнял меня целиком, чтобы не только остаться там, но стать мерой. Точкой отсчёта истинного.

Такая духовная сила дана немногим артистам. Она свыше и навсегда.

О Тимофеевой много написано. Порой подробно. Редко проникновенно — больше о фактах биографии общеизвестных и о гастрольных успехах, а ведь чудо в том, что в маленькой женщине происходила и происходит несопоставимо гигантская работа, тонкая, сложная, интеллектуально мало доступная простым смертным, а результат этой работы кажется так эфимерен и легок... Может быть, Нина Владимировна и не очень страдает от недостатка финансов, домашних неудобств, сценической необеспеченности и недостаточности, поскольку живёт внутренней работой... но мы-то! Мы ведь не получаем всего того, что могла бы она с радостью подарить миру, будь он чуть приветливее и справедливее!

Голливудские дивы, снявшись в одном фильме, становятся знаменитыми и супербогатыми — дай им Бог! А куда он смотрит, когда дает всем сестрам по серьгам? Или он не любит балет? Да не балет даже — ведь таким личностям подвластна не часть, область искусства, а всё оно, в целом...

Нина Владимировна остаётся преданной своему любимому делу.

Сейчас Н+Н Тимофеевы открыли балетную школу-студию, в которой сто учеников. Непросто даётся существование этого центра балета страны. Чтобы выжить, превратили репетиционный зал в зрительский — получилось 120 мест. И вот раз в неделю в этом зале идут спектакли, танцевальные программы. За эти годы их накопилось много — более шести десятков, они помогают оставаться на плаву студии, в которой всё держится на двух самоотверженных балеринах... они сами шьют костюмы, готовят декорации, даже кулисы и, конечно, сами ставят спектакли!

Это израильское чудо называется просто: «Балетная студия Нина». Могу только восхищаться такой стойкостью и радоваться за тех сто счастливиц, которым повезло быть учениками великого Мастера.

Мир, как был, так и остаётся не на высоте... всегда нехватает людей такого уровня, которые могут оценить выдающиеся мировые фигуры и создать им условия, обеспечивающие полную отдачу...

Но жизнь и мужество Нины Тимофеевой прощают человечеству его суетливую чёрствость и возвышают его своим талантом.

СЛАВА

Она так и не нашла его. Они разминулись. Слава Бойко и Слава. Думал ли он о ней? Желал ли? Догадываюсь — да... но я никогда напрямую его не спрашивал об этом. Он был ревнив к чужому успеху — не завистлив, а действительно ревнив, и часто Судьба давала ему поводы для этого. Его композиторское мастерство — несомненно высшего качества, а хоровое письмо настолько оригинально, родниково прозрачно и самобытно в интонационном, мелодическом рисунке, что безошибочно узнаётся. Его романсы, особенно на стихи Пушкина и Исаакяна превосходны. Они достояние классики с момента своего написания и первого исполнения. Каждое сочинение Ростислава Бойко построено на красивых мелодиях, просто, чётко, доступно, как бывает с сочинениями крупных мастеров в пору расцвета, и за этой простотой и доступностью глубина философии и море переживаний... А вообще бессмысленно словами передавать суть музыки даже в самом общем виде... мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь и отзывы о музыке можно было выразить её языком — страстным и бескомпромиссным, как вечный язык любви...

Конечно, любая оценка субъективна, особенно высокая похвала, но, думаю, что имею на это право, ибо знал Ростислава Григорьевича Бойко с самого начала шестидесятых, почти с начала его карьеры, и до конца его драматической жизни уже в этом, XXI, веке...

За долгие годы совместной работы и дружбы было много эпизодов, которые больше расскажут об этом замечательном композиторе, высокообразованном эрудите, культуртрегере, страстном охотнике, книгочее, философе, убеждённом семьянине и верном друге...

Может быть, это звучит несколько пафосно, но дальнейшее повествование объяснит эту тональность.

Время необъятно и безжалостно. Сколько интересного и поучительного вмещается в нём и исчезает бесследно! Единственный способ остановить мгновение — рассказать о нём. Поэтому не усташусь упреков в нескромности и воспользуюсь своим правом **единственного** свидетеля того, о чём упомяну, поскольку был непосредственным участником происходившего... Ростислава Григорьевича уже нет — мой долг, по мере сил, сделать так, чтобы наряду с его музыкой осталась и его личность в памяти людей.

Писать о близком человеке чрезвычайно тяжело. Причин две. Первая — все слова кажутся недостаточно точными и то, что из них составляется, никак не кажется похожим на живого, «настоящего», а от этого начинаешь терзаться, исправлять и всё портить, тогда уже вообще теряешь ориентир и повторяешь с начала всю эту круговерть.

Вторая — когда пишешь о близком человеке, опять вместе с ним переживаешь все обиды, несправедливости, удары судьбы, а на это надо столько сил! Тяжело. Если же отстраниться и писать спокойно — ничего не получится! Лучше не писать! Пишу-то именно о близком, потому и пишу, собственно, что близкий, что знаю, как мне кажется, чуть больше других о его переживаниях и удачах, поисках своего голоса в жизни, о разочарованиях... а писать, о том, что сердце не пропускает сквозь себя, стоит ли?!

Познакомились мы с композитором Ростиславом Бойко так.

Я нёс в издательство «Музыка» на Неглинную, 14 свой первый в жизни договор на первую в жизни издаваемую песню — сочинение Леонида Бакалова на мои стихи. Волновался...

В доме по этому адресу я, конечно, бывал многократно, потому что там находился самый крупный в стране магазин «Ноты», но даже не подозревал, что там же, этажом выше, — издательство, хотя мог бы... ведь знал, что прежде там находился такой же магазин и знаменитое издательство Юргенсона.

Меня принимает литературный редактор Лариса Вигура. Я возвращаю официальные бумаги и прошу прочесть несколько моих стихотворений для детей — редакция-то детская...

Утро. Тишина. Сажу и ждущего «сурового решения»!

— А вот, познакомьтесь, — предлагает Лариса Георгиевна, и рекомендует вошедшую женщину: — Заведующая редакцией Ольга Осиповна Очаковская... — далее немая сцена, потому что мы знакомы много лет... я ещё мальчишкой запевал в хоре, а Ольга Осиповна была районный методист — отбирала номера для концерта... Следом входит молодой, крупный, краснощёкий, улыбочивый мужчина. Его встречают приветливо и радостно. Ясно: он тут свой...

— А вы мне стихи обещали?! Хорошие! — говорит он с порога.

— Вот, Ольга Осиповна, посмотрите! — Лариса Георгиевна передаёт ей мои листочки, она углубляется в чтение, а мне неловко, непривычно, неудобно!.. Я бы рад исчезнуть, Бог с ними, со стихами и песнями... но куда там!

— Вот вам стихи, Слава, — говорит Ольга Осиповна и протягивает их гостю. — Когда вы успели поэтом стать? — это она ко мне обращается. — А я и не знала... — меня знакомят с вошедшим... но мне ничего не говорит его имя... Ростислав Бойко... А он благодарит и быстро прощается... Теперь я остаюсь под обстрелом вопросов... сколько лет прошло...

У меня нет телефона. Я стесняюсь беспокоить композитора, но он находит меня открытой, и я еду к нему работать... Всё впервые, всё ново для меня, непривычно... даже его тесные комнаты в общей квартире... мне казалось, что композиторы живут «не так»!

И наконец премьера. Боже мой, сразу в знаменитом Зале Чайковского! Почти целое отделение — большой хор и солисты, и чтецы, замечательные вдохновенные малыши, восторженный зал, аплодисменты, аплодисменты... и на сцене сам профессор Владислав Соколов — замечательный хоровой дирижёр! «Автора! Автора!» Поднимается Слава, кого-то ищет... оканчивается, меня! Выйти кланяться на такую сцену! Нет... но он не идёт один!..

Это не поза — мы соавторы! Его отношение к этому вопросу предельно честно и принципиально. Он придирчив к литературному материалу... до педантичности, до... до бескомпромиссности, до ссоры и обиды... но выбранный материал становится

ся его собственным, частью его самого, и он уже не разделяет стихов и музыки, «своего» и «чужого», есть одно произведение и два автора. Это понимание его позиции ко мне приходит потом, когда я узнаю о его любви к литературе, о его умении находить нужный ему материал, о его бескорыстном отношении к авторам... Скольким помогал он делать первые творческие шаги!

Это шло от воспитания. Мы редко говорили о его прошлом, детстве, войне... что-то мешало ему открыть ворота в эту дорожку ему, заповедную страну... только урывками, к слову... музыкальная семья. Отец — оперный артист в Ленинграде в театре МАЛИГОТ, потом Слава — ученик в Хоровой капелле им. Глинки в Ленинграде, война, эвакуация... тут частенько он больше раскрывался в разговорах и с азартом вспоминал рыбалку и охоту... Две эти страсти не оставили его всю жизнь... Работа, конечно, сближает... но вовсе не обязательно делает друзьями... У нас было всё не так: его авторитетное покровительство (так он себя чувствовал в жизни) и бесконечное доверие, уважение к тому, что я делал, и я бы сказал, любопытство исследователя: «А что ты ещё можешь? Потянешь?»

Пришла дружба.

Мы общались очень часто и не только по работе.

Вдруг звонок: «Сколько сможешь наскрести денег — привези! Сегодня, пожалуйста! Замечательное ружьё предложили неожиданно, завтра его уже не будет!» И в Сортавалла, в дом творчества композиторов, он вёз не только нотную бумагу, но обязательно ещё снасти и охотничьи доспехи!..

В музыкальном мире он был абсолютно своим — не вторгшимся в него, а выросшим в нём... знал сотни людей, с которыми учился в хоровом училище, потом в консерватории, которую закончил по классу композиции у Арама Ильича Хачатуряна.

В этой области искусства корпоративность особенно сильна. Бойко вошёл в музыкальные круги самого высокого уровня очень скоро и естественно, он учился в разные годы вместе с Андреем Эшпаем, Александром Флярковским, Тодором Петковым, Родионом Щедриным, Юрием Саульским... И официальное признание пришло к нему сразу по окончании консерватории: он был тут же принят в Союз композиторов, пошёл работать редактором в вокально-хоровую редакцию издательства этого Союза...

«Светлый путь» мы видели только в кино — лживую сказку о прекрасной жизни в Советской стране, разыгранную манекенами... а внешне благополучная, удачная, даже счастливая биография любого творческого человека всегда драматична, особенно в те годы и в той стране...

Я не пишу биографию Ростислава Бойко — сцены из жизни. Вот он уже заведует редакцией для детей. Он доверяет своему вкусу и знает, чего хочет: надо привлечь молодых, интересных авторов и открыть детям прекрасный увлекательный мир Музыки, уговорить именитых композиторов и поэтов, открыть дорогу новым авторам... Много хорошего уже сделано, много, но сколько поделок, ремесленного рукоделия, ведь это творчество приносит мизерные дивиденды и в творческом, и в моральном плане... но мы ведь «все вышли из детства»...

И ничего не даётся просто... По неизвестным мотивам (о которых на самом деле легко догадаться) в редакцию назначают графомана-завистника... Он хочет, чтобы сочиняли музыку на его стихи, буквально «всучивает» свои «произведения» каждому композитору, кто появляется в редакции. Мало, кто пишет на его вирши... и начинается борьба! Не на жизнь а насмерть!.. Бойко вынужден с ним работать и не может ничего изменить!.. Сколько сил и времени это отнимает! И скольких интересных авторов этому редактору всё же удалось буквально отлучить от участия в работе редакции!..

Ростислав Бойко затевает новый музыкальный альманах «Гусельки». Сколько выдумки и запала! Он ищет художников, поэтов, конечно, композиторов — всё новое, лучшее! В редакции появляются... Иосиф Андриасов — он только что получил заграницей «Золотой диск» за свои записи «модернистской музыки», это не по душе власти... Михаил Марутаев — а этот, по мнению властей, вместо того чтобы заниматься своим делом — писать музыку, ищет общую гармонию мира и «поверяет алгеброй гармонию» — теперь он признанный во всём мире учёный, академик, автор многих трудов и замечательных музыкальных произведений¹. Власть волнуется — на всякий случай лучше «не пущать», потому что до гармонии вокруг в советской дей-

¹ Смотри размышлизм «Тезка».

ствительности не дотянуться... Вячеслав Артёмов, сочиняющий опусы, не вписывающиеся в представление чиновников от музыки. Позже, в середине девяностых, этот композитор сочинит «Реквием памяти жертв сталинского режима» — жертв власти, при которой мы жили, Реквием, прозвучавший на лучших сценах мира, Реквием, отмеченный вниманием и высокой оценкой президентов государств, королевой Великобритании, произведение, вписанное в историю человечества... Мне повезло: я стал соавтором этих композиторов благодаря Славе Бойко... но... Завистливый редактор-графоман не мог успокоиться — пошли сигналы, «куда надо», что в редакции занимаются антисоветской деятельностью! Но Бойко бескомпромиссен, и сделка с совестью — это не его стезя! Он не отступил и не уступил!

Ах, Матушка правда, сколько сил ты отняла от творчества и у скольких творцов!..

Слава любую ситуацию проживает болезненно, пропускает через душу, через сердце, а оно не очень здоровое...

У Славы трудный характер. С ним, порой, сложно общаться. Он бывает язвителен, вспыльчив... особенно, когда раздражён и удручён вынужденной, но бессмысленной борьбой с нечистоплотными людьми...

Мы встречаемся в Большом зале консерватории. Случайно. Сегодня аншлаг — исполняется музыка Скрябина, и дирижёр — заезжая знаменитость, что в те, шестидесятые, великая редкость в Москве. Слава крайне удивлён, увидев меня.

— Ты здесь? — произносит он язвительно и раздражённо. — Поэты не ходят на симфонические концерты... — я молчу. — Ты знаешь, как называются симфонии Скрябина? — тут же с ехидцей устраивает мне экзамен Слава, но я не хочу ввязываться в ненужную мелкую перебранку, я знаю, что он раздражён чем-то другим, и не я тому причина...

— Ты имеешь в виду «поэмы»?

— Именно! — дирижирует рукой Слава и вдруг весь меняется, радуясь своей находке: — Потому ты и пришёл! Я же говорю, что поэты не ходят на симфонические концерты! Я никогда не видел! — я молчу и вспоминаю, что вроде тоже никогда не встречал, а Слава вдруг берёт меня под руку, ведёт по проходу, раскладываясь налево и направо, наклоняется к самому моему уху

и шепчет: — Я твои стихи Ваню отдал. Они ему очень понравились. Он теперь напишет цикл хоров. Для меня! — он особенно выделяет последнее, а я с трудом соображаю, кто такой Ваню? У меня даже в мыслях нет, что это недоступный небожитель Ваню Мурадели... Только что раздажённый Бойко мгновенно переменился — он горд тем, что замечательный композитор для его редакции создаст интересное произведение!..

У меня в дальнем глухом конце Москвы уже появился телефон. Поздний звонок Ростислава Григорьевича:

— Мне срочно нужны стихи, извини, что так поздно звоню... песня... — я долго выслушиваю подробные объяснения, какая это должна быть песня и в наступившей паузе отвечаю...

— У меня есть уже точно такая, только с другим композитором, и она опубликована...

— Это не имеет значения! — перебивает Бойко

— Как? — моему удивлению и возражению, что там многомиллионный тираж, Слава резонно противопоставляет коммунистический расхожий тезис:

— «Всё, что написано, принадлежит народу!» А если опубликовано — тем более! — уточняет он... и пишет новую музыку на те же стихи, и песня, в отличие от первой, становится известной и популярной...

Нет. Даром Бойко ничего не даётся. «Напиши мне о животных по-своему... по-твоему... не в русле...» Я всегда прислушиваюсь к его просьбам... и постепенно появляется «Мой зоопарк». В этом цикле трёхголосных хоров без сопровождения многие музыкальные идеи композитора, а стихи о том, о чём я не могу рассказать взрослым своим читателям, потому что моих «взрослых» стихов не печатают — не о том пишу... не вижу «светлого завтра»...

Видно, тут уж «редактору-слуге власти» не обойтись «сообщениями». Подробное письмо направлено в высокие партийные инстанции — готовится к печати «антисоветское произведение». Ярлык повешен. Нервотрёпка началась. Цикл ошипан, перья разлетелись. Бойко переживает это не как неудачу — как трагедию... Но он бессилён... Я привожу примеры, о которых знаю не с чужих слов, ситуации, которые прожил... Но... через полгода снова Большой зал. И в исполнении хора под управлением про-

фессора Владислава Соколова цикл «Мой зоопарк» звучит целиком, и ликующий Слава, красный от волнения, с вечным началом улыбки на губах, смущённый и вдохновенный... нет, он не пойдёт один на сцену, он ищет соавтора, потому что знает, чего нам обоим стоило это исполнение!

И дальше, в уже знакомой редакции издательства «Музыка», благодаря стараниям Ольги Осиповны Очаковской этот цикл публикуется целиком, без единой купюры...

В одном стихотворении в начале:

У птицы, у секретаря,
Такое прозвище не зря!

В конце:

Да, видно, все секретари
Похожи... что ни говори!

«Секретарь» для стукача был только партийной должностью!
Как же над ним издеваться?

В другом стихотворении:

Слоны слоняются по свету,
Из клеток смотрят на ребят.
Им грустно, и они об этом
Трубят, трубят, трубят, трубят...

Или:

Попугай — магнитофон.
Скажешь ты — повторит он.
Так что будьте осторожны
С попугаями, друзья!
Вразумить их невозможно
Да и выключить нельзя!..

Это уж прямой вызов стукачам. Такого нельзя простить.

Зависть — неодолимое чувство многих душ. И я считаю — одна из мощнейших движущих сил жизни. Она толкает на любые подлости, а уж сказать за спиной гадость... безответственно и просто...

«Как ты можешь иметь с ним дело? — доброхот-композитор вальяжно берёт меня под руку. — Он же страшный... анти...» Но я успеваю перебить его, предполагая наперёд, что он приподнесёт мне: «Не надо. Если вы хотите что-то сказать мне о моём соавторе, — не говорю, что друге, — то только в его присутствии — прошу вас! Можно ещё на детской секции в Союзе композиторов, которой он руководит...»

Но доброхот настойчив. Он, видимо, знает о моей борьбе за собственное достоинство, о моей нетерпимости к национальной дискриминации, мягко говоря... он в недоумении... Столько похожих примеров вокруг поощряют его настырную инициативность!...

Слава гордился своими казачьими корнями... в последние годы, когда уже не мог сочинять из-за тяжелейшей болезни и читал, читал, читал... разыскал родовые ниточки, тянущиеся в глубь истории к Гетману Мазепе и дальше, дальше... а мне было хорошо, что ему есть чем и кем гордиться в прошлом... в моей семье помнили только дедушку... дальше был мрак, тянувшийся из средневековья в еврейское местечко в Белоруссии...

Слава верил в порядочность и верность. Его жена, известный хормейстер, очаровательная женщина, Лариса Мирановна Абелян, которую все звали Ларочка, своим героическим самопожертвованием продлила его дни, помогая ему не впасть в отчаяние, одолевая болезнь... болезнь, навязанную раненой душе тяжким веком и страшной подозрительной и мстительной властью...

Недолго выдержал он на посту редактора — его терзали за справедливость и честность, за то, что он талантлив и нетерпим к бездарям... Эти самые бездари такого простить не могли... Но за семь лет Ростислав Бойко-редактор издал и «спровоцировал» столько хорошего! Ставшего классикой творчества для детей! В том числе и его собственные сочинения: чудесная жемчужинка — маленькая опера-сказка «Песенка в лесу» (на стихи Якова Акима), «Серебряный пояс» (цикл на стихи сво-

его друга, поэта Виктора Викторова), «Уроки-чудеса» (цикл песен и хоров на стихи автора этих строк) да даже отдельные крошечные песенки, как «Новый дом по чертежу» (на стихи Леонида Дербенёва) — это можно смело сказать: шедевры! У них, как показало время, долгая судьба.

Триумф его хора «О чём говорили деревья?» — удивительный пример осуществления творческого желания композитора. Он просил меня написать стихотворение о лесе... Может быть, вспоминал детство и село Арбаж в Кировской области, куда попал в эвакуацию вместе с ленинградским хоровым училищем, когда началась война... три года он прожил там и час-тенько упоминал в разговорах... «...знаешь, там такие зимы, что действительно птички на лету замерзали» или «... разве тут грибы! Вот, когда мне было десять...» Когда ему было десять, шла война, и грибы в лесной глуши казались такими вкусными, что никакие деликатесы столичной жизни не затмили их...

Долго не находилось у меня необходимого стихотворения... почему он искал его именно у меня? И однажды оно пришло... написалось...

О чём шумит осина, осина, осина?

О небе синем-синем, о синем, о синем...

О чём вздыхают ели, ох, ели, ох, ели?

Что нет давно метели, метели, метели.

А в конце:

Услышал сплетник-ветер, ох, ветер, ох, ветер

И всем разнёс на свете, на свете, на свете...

О чём говорили деревья...

Эти повторы в каждой строке, конечно, от композитора... мне досталось потом нелегко, потому что не всегда ритмический строй строфы позволял сделать это механически — удвоением, утроением слов...

Триумф этого сочинения начался в Париже на международном хоровом форуме. Его исполнил знаменитый Детский хор Института художественного воспитания Академии педаго-

гических наук СССР под управлением профессора, Народного артиста СССР Владислава Соколова... Оттуда прилетели рецензии, слухи, запись и награды, а потом был концерт в любимом Большом зале консерватории в Москве и оглушительный успех...

Пришлось хористам дважды на бис петь, и каждый раз после двенадцатиголосного заключительного аккорда зал замирал в гробовой тишине, пока где-то в вышине угасали последние отзвуки, а потом вскакивал и бушевал...

Полный Большой зал! И партер, и два амфитеатра, битком набитые — это был не детский утренник, а филармонический абонементный концерт! У Славы на глазах выступили слёзы! Он сдерживался... Соколов разводил руками — больше повторять было невозможно... да и петь после этого что-либо другое было невозможно... Анна Чехова (бессменный замечательный конферансье Большого зала консерватории) объявила антракт...

Чуть в сторону — несколько строк.

После ухода Бойко из редакции в ней остались начатые при нём работы, в том числе и сборник песен на мои стихи... Вообще музыкальные издательства издавали авторские сборники только композиторов, не поэтов. Это было редкое исключение. Просто песни, в него вошедшие, издавались уже по очень много раз, некоторые больше двадцати... популярные, детские... Успехи этих песен, соавторство с Бойко и дружба с ним не прошли мне даром... литературный редактор (в данном случае слово мужского рода не означает пола редактора) собрал редсовет (обсуждать песни, изданные в этой же редакции по много раз!). Пригласили несколько «поэтов». Новый безвольный завредакцией шёл на поводу и сборник разгромили, что называется, в пух и прах. Это был последний год жизни серого кардинала Суслова. Сумрак навис над страной. Меня не печатали нигде! Очевидно, поступило негласное распоряжение... цепочка распространилась на все издательства, отменили мой авторский вечер в концертном зале Олимпийской деревни... пришлось защищаться и, хотя многие отговаривали, вслух заявить об антисемитизме на любимой Родине! Терять мне было нечего... кроме друзей! Я это заявил громко... Этим, очевидно, сохранил многих...

Человеческое ничтожество стало достоинством. Власть на всех уровнях вытягивала послушную глумливую серость снизу и создавала непробиваемый слой. Это была последняя попытка защиты: многоярусный, вездесущий, непробиваемый слой — не было надежды пройти сквозь него, он втягивал в себя и поглощал. Или заставлял становиться его частицей, или намертво замуровывал где-то в середине, в своей толщине, замуровывал глухо, надёжно, беспросветно — намертво...

Это чувствовали все. Это была тихая агония. Я встретил Славу после какого-то крупного партийного собрания в Союзе композиторов, где он выступил с открытым забралом... Он шёл нараспашку в лёгкой дублёнке, лицо в багровом нездоровом румянце, лихорадочно блестящие глаза... ему было плохо не только от непонимания и противостояния своих же коллег... ему было просто физически плохо. Я видел это, старался сделать так, чтобы он выговорился... Напрасно... только отдельные фразы возбуждённой речи... он не мог успокоиться, кипел... Природа как бы стихийно оберегла его болезнью: вырвала из течения привычной жизни, которая так давила и корёжила его... Но, к сожалению, вырвала безвозвратно... без надежды на выздоровление...

И снова Большой зал. Опять битком набитый! Сегодня авторский концерт Ростислава Бойко — только симфонические произведения. Главный оркестр страны — Государственный симфонический! Дирижёр Евгений Светланов!.. Бойко нет в зале. Он болен. Нет, я не прав. С первым звуком стало ясно, что весь зал — от малиновых партьер на дверях, до недоступного хрустального многоярусного круга под потолком — всё полно Ростиславом Бойко! Потому что его музыка, собранная воедино, мне кажется, впервые вдруг открыла публике очень большого творца — выразительного, незабываемого, мелодичного, кристально-чистого и нравственного, ранимого и светлого, страдающего и не отчаивающегося...

Его сюита для солиста, хора и симфонического оркестра «Вятские песни» настолько захватила слушателей... мне даже показалось, что великие композиторы прошлого чуть выдвинулись из своих овальных рам на стенах и кивали одобрительно головами, пытаясь найти виновника успеха, чтобы поприветствовать его!

Ещё студенту Бойко его учитель Арам Ильич Хачатурян сказал: «Вы хотя и медленно, на мой взгляд, но зато прочно строите дом своей Музыки».

Дом композитор Ростислав Бойко построил замечательный. Жаль, что сегодня в него так редко заходят люди. Больше всего в памяти сорокалетних задержались песенки, которые были в обязательной программе детских садов, школ, а из них, конечно, такие, как «Ленин и весна» (слова Е. Карасёва)... у него вообще, обширная «ленениана», песни, посвящённые праздникам, «красным датам»... Ими открывали большие концерты, официальные празднества в огромных залах при диване коммунистических старцев, правивших жизнью.

Я думаю, пытаюсь понять: зачем он писал их, эти «красные» песни, хоры? Что это — попытка откупиться от власти? Обязательный налог творчества, чтобы больше печататься? Исключено! По «зову души и сердца»? Нет! Это знаю точно! Его душа была отдана великим образцам поэзии Пушкина, Тютчева, Иссаакяна... он был язвительно саркастичен в разговорах, когда упоминал власть... Никто теперь не ответит. Но даже эти дежурные опусы были мелодичны и прозрачны, он не умел писать плохо. А у коллег и не просоветски настроенных людей они вызывали презрительные насмешливые замечания в адрес их автора... Эх, «пусть в неё кинет камень, кто безгрешен!» Но публика того времени не была приверженна библейским мудростям. К величайшему сожалению... доставалось Славе. Почему-то возможность «укусить» коллегу была для многих значительно привлекательнее радости от его удач! А их-то было значительно больше!

Как-то в первые годы знакомства (трудно точно восстановить дату) я встретил дома у Славы композитора Юрия Чичкова... Мой приход совпал с их бурным обсуждением чего-то... очевидно, важного... Они сначала мялись, им хотелось продолжить беседу, но я совершенно явно помешал... Потом Слава, решившись, открылся мне:

— Мы с Юрой решили купить себе по куску земли, — я явно не понимал, о чём речь, что называется «не врубался».

— На кладбище, — пояснил Слава. — Чтобы потом лежать в хорошем месте... хлопот меньше... — я был совершенно растерян... Чичков поддержал:

— Давай с нами... компания своя... веселее будет... — я опять не понял, когда будет веселее: покупать сейчас, где-то на каком-то не известном для меня кладбище место, дурачась и отпуская шуточки, чтобы подбодрить себя, или потом, когда вечная метла сгребёт нас... Мы посмеялись, пошутили, но так никуда и не поехали... По-моему, они осуществили своё намерение... хотя на дворе свирепствовал лютый морозный застой... Первым ушёл Юра, совершенно потерявший себя в начале девяностых в половодье беспардонной, грабительской «демократии», потом Слава...

Россия никогда не берегла «людишек», транжирила таланты спокон веку... Не от щедрости — от дурости и беспардонного равнодушия, как выкачивает из себя нефть, газ, руду на потребу цепкой власти, на вынос, не думая о завтрашнем дне своего народа... но справедливость жизни приходит трагически поздно, недоступно для ощущения погубленного таланта...

Большой зал, полный слушателей, полный до последней прозвучавшей ноты встал и устроил овацию... большинство знало, что Ростислав Григорьевич Бойко, тысячелико смотрящий с программ, очень болен, казалось, все хотели, чтобы этот грохот и радостное возбуждение донеслись до него в небольшую квартиру на Студенческой улице, чтобы он почувствовал горячую благодарность сердец, Родины, которую любил ещё больше оттого, что она безнадежно больна и втоптана в грязь властью, которой, оказывается, не удалось и с ним поступить так же, несмотря ни на что...

«ДОРОГОЙ ЗОЗУЛЕЧКА !» ¹

Такая фамилия запоминается сразу. А сочетание Ефим Зозуля несомненно хорошо знакомо людям старшего поколения. В популярнейшем и любимом читателями «Огоньке» 30—40-х годов он часто публиковал свои рассказы, очерки, статьи и много времени проработал в нём как журналист и занимал, по свидетельству документов, достаточно высокие должности.

Уверен, что попади в руки сегодняшнего читателя, даже неискущённого, сборничек рассказов из «огоньковской» серии — они, эти рассказы, конечно, запомнились бы и полюбились ему. Но, к сожалению, нынешний книжный рынок формируется не профессионалами-издателями, а людьми, в большинстве малокультурными, рассматривающими и использующими литературу как средство обогащения, — отсюда и засилье, буквально сель макулатурной прозы в безобразно крикливых обложках... Но это предмет особого разговора.

Проза писателя Ефима Зозули ароматна и добра, мускулиста и прозрачна, его фраза проста и доступна любому читателю, но в ней нет нарочитой опрощённости, а потому его творчество интересно людям различного социального и интеллектуального уровня...

Конечно, даже краткий рассказ о его жзни, о том, что он писал, занял бы очень много места... Он — один из заметных людей, писателей, деятелей тех трагических и легендарных, лет был знаком, тесно общался, дружил со многими, чьи имена у нас на слуху, потому именно, что они из той эпохи, что

¹ Ефим Давыдович Зозуля погиб на фронте в конце 1941 года. Это обращение к нему взято из письма Михаила Кольцова.

оставили след в истории страны... чаще всего погибли трагически от произвола режима, которому беззаветно и праведно служили. Этот феномен еще объясняют историки и психологи...

У нас сегодня другая задача: воспользоваться любезно предоставленной художником Леонидом Шошенским, внуком писателя, возможностью познакомиться с некоторыми малоизвестными или вовсе неизвестными прежде широкой публике материалами, связанными с жизнью писателя и художника Ефима Давыдовича Зозули.

Прежде чем погрузиться в атмосферу далёких 20—40-х годов прошлого века (подумайте, как звучит!), необходимо сделать одно отступление.

Надо поклониться в благодарности семье писателя — его вдове, дочери, внуку (нашему собеседнику) за мужество, верность и благородство. Представьте себе, что значило хранить письма репрессированного друга — как тогда квалифицировали «врага народа» или «шпиона», — за одно это можно было угодить в те места, откуда мало кто вернулся. Более беспощадного по отношению к своим гражданам режима, очевидно, никогда не было на земле... А каково сохранить все эти бесценные материалы, не растерять, не променять на сиюминутные блага или даже буханку хлеба, сохранить и бережно перевезти через океан...

Леонид Шошенский говорит, что ещё не всё собрано в одном месте, у него в руках... но я не возьму на себя смелость расспрашивать его, где остальное и какая возможность и надежда объединить весь архив. Может быть, и зря я так трушу, но тот страх перед монстром, который с детства вбит в душу (думаю, что не только мою, а нашего и ещё двух поколений) не позволяет мне не оглянуться, не задуматься: а не наврежу ли этим. Тут впору сказать — воистину: «бережёного Бог бережёт...»

А теперь бережно прикоснёмся к этим жёлтым от времени и очень ветхим листкам бумаги, фотографиям... Вот что сам писал о себе (как можно с большой уверенностью предположить) в самом начале 20-х годов молодой человек Ефим Зозуля.

«АВТОБИОГРАФИЯ:

Родился в Москве в 1891 году. Вскоре после рождения был увезен в Лодзь, где прожил десять лет. В 1901 г. умер отец, — мелкий торговый служащий, — семья распалась. Мальчиком переехал в Одессу, где учился. 14 лет опять вернулся в Лодзь. Начался 1905 год, прошедший в Лодзи, крупном фабричном центре, весьма бурно. За знакомство с партийными людьми, посещение нелегальных собраний и т. п., посажен в тюрьму. Сидел три месяца в Сарадзе. Затем ещё два раза по два месяца — в Лодзи. В тюрьмах еще больше сошёлся с партийной публикой, но ни в одну из партий не вступал. Писал «для себя» статьи по вопросам искусства, изучал философию, увлекался Спинозой. Статьи по искусству претендовали на «научность», устанавливали «законы», приёмы и вообще изобиловали «формальным методом». О значении союза «и» в рассказах Чехова были мною исписаны две тетради. Особенно много труда, помню, было потрачено на «сложнейший» трактат о «Сказке о серебряном и наливном яблочке» — первом прочитанном мною и глупо поразившем меня произведении словесного искусства.

К 17 годам статьи всё больше и больше стали окрашиваться революционными настроениями. Годы реакции, наступившие после 1905 года, угнетали меня, как личное горе. Я расстался с товарищами, поженившимися (я дружил почти всегда почему-то со значительно старшими) и начавшими тонуть в лодзинской обывательщине. Решил покинуть Лодзь. Для того чтобы не быть беспомощным на чужбине, задумал изучить «интернациональное» ремесло. Остановился на малярно-вывесочном, поступил учеником в мастерскую и втянулся в работу. О двух годах, проведенных в мастерских, на лестницах, на витринах, на подвешенных на блоках досках под крышами и т. д. — вспоминаю всегда с хорошим чувством. Ремесло изучил преосновательно: умею и сейчас писать, красить, сколачивать и прикреплять вывески...

18 лет начал писать рассказы, которые писал и в детстве, а к 14 годам бросил, считая это занятие «несерьёзным». К концу 1911 года переезжаю в Одессу, где печатаю свои юношеские рассказы в газетах «Южная мысль» и «Одесские новости».

Посылаю изредка рассказы и в петербургские еженедельники. В 1914 году, женившись, переезжаю в Петербург, где живу до 1918 года. Печатаюсь в «Новом Сатириконе», «Солнце России», ряде других журналов и газет. Одновременно работаю по выпуску журналов, издательской технике, составлению иллюстрированных журналов. Это сложное ремесло всегда занимало и сейчас занимает меня так, как когда-то ремесло живописно-малярное... Очевидно, не изжить мне никогда прелести возни с рисунками, фотографиями, буквами, бумагой и краской. Не могу, впрочем, <.....> особенностью: всякий, кто подышал хоть немного воздухом типографии — нежной и суровой смесью краски, скипидара, свинца, пыли и масла, — тот обычно так или иначе не расстанется с ним...

1919 год провожу в Киеве. Там тоже, как всегда, «совмещаю» писание рассказов с работой по журнальной технике. В августе 1919 г., перед наступлением Деникина, переезжаю в Москву, в которой живу посейчас.

Ефим Зозуля»

Под этим документом нет даты. Неизвестно, для чего он пред-назначался... очевидно, требовался при «трудоустройстве»...

Зато совершенно ясно, что написан он с не свойственной для канцелярских бумаг теплотой, и в нём предвестники — отголоски зозулевского писательского стиля.

Молодой человек оказался востребованным сначала как журналист, — вот свидетельство: «Удостоверение № 713. Сим удостоверяется, что пред`явитель сего тов. Ефим Давидович Зозуля состоит сотрудником газеты «Правда» в качестве зав. худ. частью «Прожектора». Редакция просит все учреждения оказывать ему всяческое содействие в исполнении возложенных на него обязанностей. Секретарь редакции М. И. Ульянова». Выдано удостоверение 1 марта 1925 года и трижды продлено (по полгода) до 1 июля 1926 года. И четырежды на этом удостоверении стоит подпись М. И. Ульяновой — сестры вождя мирового пролетариата В. И. Ленина

А вот и ещё один документ, чудом уцелевший в стольких переездах... Российским Союзом работников просвещения, Московским Губотделом выдан профсоюзный членский билет №35859,

секцией «печати»... «газета «Правда»... зав. художественной частью «Прожектор», (выданное) «января 30 дня 1923 года» на имя Ефима Давидовича Зозули.

Автобиография — документ для нас по-своему замечательный ещё и тем, что он сегодня даёт нам объяснение, откуда и почему у писателя Зозули такая профессиональная кисть... Можно посмотреть фотографии нескольких его картин — крошечная часть некогда большого «запасника», хранившегося в семье...

«Все эти полотна с большим трудом удалось вывезти. Много раз различные музеи предлагали продать их в коллекции, но мы, семья, даже в крайних обстоятельствах никогда об этом не помышляли. Они несомненно представляют не только историческую ценность, как свидетели эпохи и представители направления конструктивизма — это прежде всего, в какой бы манере они ни были написаны, талантливые работы совершенно зрелого, профессионального мастера. К сожалению, столько полотен пропало, что трудно составить полное представление о художнике Ефиме Зозуле, но мне кажется, что он интересный художник... и не только мне, потому что он мой дед».

Так считает известный профессиональный художник внук Ефима Зозули.

Это только говорится, с лёгкой руки гениального писателя, что рукописи не горят... Совсем недавно именно так было утрачено огромной художественной ценности богатство — сгорело много холстов Ефима Зозули в загородном доме под Москвой, где они хранились без рам и даже подрамников, свёрнутые в рулон... как можно предположить, ещё с тех времён, когда пряталось всё «лишнее», не предназначенное для глаз «всевидящего ока».

Тем более мы должны быть благодарны внуку писателя художнику Леониду Шошенскому, что он бережно сохраняет имеющиеся у него работы деда... это ещё более ценно, потому что в одних руках, не разбросанные по разным адресам — в одном месте они полнее представляют автора — это коллекция. Пусть небольшая. Теперь полотна в хороших рамах соседствуют на стенах квартиры-мастерской с работами внука и правнука.

Со многими видными людьми своего времени Ефим Давыдович вел переписку... тогда еще телефон не успел вытеснить эпистолярный архаичный и прекрасный способ общения.

Прикоснёмся к никогда не публиковавшемуся.

Письмо это написано сразу двумя писателями, добрыми друзьями, как понятно из текста, Михаилом Кольцовым и Ефимом Зозулей. К сожалению, оно не датировано... но судя по тексту опять же, написано в годы, когда жилось еще голодно. Адресат этого письма — жена Ефима Зозули Серафима Александровна. Всего один листочек, вполне хорошо сохранившийся — не часто, видно, его вынимали из укромного места... Начинает Михаил Кольцов:

«Дорогая Симочка!

Вам послана плитка шоколада, которую Вы, если ещё не получили, то получите. Примите этот более, чем убогий подарок, как дань искреннего уважения, любви и т. д...

А помимо этого, очень хотел бы увидеть Вас, Симочка, и Ниночку, двоих моих диких, сумасшедших, но дорогих и родных существ.

Ваш всегда Мих. Кольцов»

И тут же, чуть ниже, другим почерком — рукой Ефима Зозули:

«Дорогая девочка, ты, может быть, не поймёшь, почему ты и Ниночка дикие и сумасшедшие. Я тоже не понимаю, но вижу (а это самое главное), что это — от любви, с которой меня встретил Кольцов и которая перебросилась на тебя и Ниночку.

Приехал я, комнату пока получаю — пока ничего. Как дальше будет — не знаю. Сообщу. Целую тебя и очень люблю. Целуй Ниночку. Кланяйся Вольфам».

Ниже опять рукой Кольцова:

«За шоколадом иди к Орешникову. Благо, я показал тебе, где его найти. Привет Боре.

Ещё раз целую Мих. Кольцов»

И наконец, в конце листка приписка Ефима Зозули:

«Если еще раз пошлет шоколад — то разрешаю целовать.

Ефим Зозуля»

Через столько десятилетий чувствуется в этих строках такая теплота и внимание — целый мир возникает, возрождается эпоха, когда человеческая жизнь стоила так мало и можно было подарить плитку шоколада, чтобы выразить чувства.

Как общеизвестно (извините за ликбез), Михаил Кольцов очень скоро занял ведущие позиции в советской журналистике, был любим не только вождями пролетариата, но и читателями. Его перу верили, его статьи цитировались, а книги передавались друг другу. К сожалению, судьба этого человека так же трагична, как и миллионов его соотечественников — современников. Сталинский режим расправился с ним вскоре после возвращения его из Испании.

Позволю себе поделиться с читателями — я часто и много думал об этом феномене: почему узурпаторы власти рубили не то что сук, но само дерево, на котором так безбедно почивали? Почему же?

Подумайте, вот ведь какой феномен — они все (именно большевистские лидеры, включая и недоучившегося В.И.Ульянова) были людьми малообразованными, малокультурными, неинтеллигентными и в силу этого (особенно своей неинтеллигентности) не терпели ничьего отличного от их собственного мнения, не терпели никого, кто был выше их по интеллекту, образованию, пониманию исторического и жизненного процессов, кто был талантливее их, и по-настоящему ближе людям. Категорически не хочу употреблять слово народ, потому что оно неистребимо несёт на себе форму их понимания этого слова.

На этой благодатной почве давал плоды «наполеоновский комплекс», который был присущ почти без исключения всем малорослым властолюбцам, — они становились человеконенавистниками, заболевали психически и уже не могли (да и не хотели) противостоять этой болезни, возведенной в норму. Какие же контрдоводы они применяли в споре? Один: силу власти. Неубедительно — зато очень действенно! Их девиз был: «нет человека — нет проблемы»!

По-моему, в их стане (или стае?) ничего не изменилось.

И вот этот человек, Михаил Кольцов, журналист, «правдист» послан в Испанию, когда там началась гражданская

война, чтобы освещать события и в тылу, и на фронте. Он и в окопах на передовой (как, заметим, в первую мировую — Эрнст Хемингуэй), и в дипломатических кругах, куда допущен не только потому, что известен как журналист, но ещё представляет официальную газету большевиков. Но и в тех полевых условиях, под бомбёжкой, на краю, где не до нежности, где нет времени поесть, побриться и выспаться, он не забывает своего друга и пишет ему, потому что его душа, сердце нуждаются в таком собеседнике...

Вот ещё одно из свидетельств тому. На одном сложенном вчетверо желтом от времени листочке бумаги выцветшими чернилами, но очень чётким почерком письмо. Михаила Кольцова. Оно датировано 14 августа 1937 года и пришло в Москву из Мадрида... совершенно очевидно, с оказией (такие письма не доверяют вездесущей цензуре), не по почте... Мне думается, оно не требует никаких комментариев, кроме одного замечания: ранее, как и предыдущее, никогда не публиковалось.

«Мадрид, 14/уш 37

Дорогой Зозулечка!

Еще раз большое, большое Вам спасибо за Ваши письма. Я читаю их с большим интересом и даже перечитываю.

Вы на 120% правы в своих замечаниях о необходимости писать непрерывно. (подчёркнуто Е. Зозулей) Если я этого не делаю, то только по не зависящим от меня причинам. (сохранена орфография оригинала М. С.) Во первых, у меня много работы и не-корреспондентской. Во-вторых, работа над очерками и подвалами, которые я в этот период считаю тоже важными, всегда отрывает целые куски времени (разъезды, беседы на фронте, в частях и прочее, что считаю обязательным для этого рода вещей, вне зависимости оттого, заметил или не заметил читатель эти старания автора быть сведующим), и это, конечно, отражается на текущих телеграммах.

Наконец, третье: в момент затишья или операций на участках, где я лично отсутствую — не хочется барабанить мелкие телеграммы, сделанные по газетам и дублирующие ТАСС.

Да и события, происходящие под носом, тоже стали заурядны для нас самих — что же говорить о читателе! Например, бесконечные бомбардировки Мадрида — стоит ли опять и опять повторять о них? Пусть это делает военная сводка.

Моя книга! Беда: никак не доберусь до книги. Такая уж моя незавидная судьба. К тому же, мне кажется, придётся вне очереди написать небольшую книжку — ответ Андре Жаку. (Об этом пока не надо разглашать!) А потом уже браться за большую книгу. То ли дело Эренбург. Уже сидит под Парижем на даче и рубает испанский роман.

А Вы как, Зозулечка? Что Вы пишете? Пишется ли? Почему не ездите? Почему бы Вам (что я уже предлагал Вам) не поехать в какое-нибудь место, не написать небольшую книжку или повесть. Об этом месте? Это не только имело бы успех само по себе, но и Вас самого подтолкнуло бы на дальнейшие затеи.

О Китае мы здесь тоже много читаем и думаем. И немного ревнуем ваше всех там внимание к Китаю. Но, конечно, абсолютно правильное.

Как Сима, Ниночка?¹ Часто очень скучаю по Москве. Скучать более сильно препятствует то обстоятельство, что здесь в обстановке — много московского и мысли — тоже московские.

Обнимаю Вас, Зозулечка
Ваш Мих. Кольцов»

В биографиях людей того поколения война стала привычной, с детства — сначала Японская, потом первая мировая... и далее, далее...

Хочется помолчать и задуматься. И перечитать снова...

Не будем выстраивать материалы, искать связь и прибегать к журналистским уловкам — они здесь ни к чему. Суть: из одной войны мы попадаем в другую... да так оно и было... совсем через небольшой отрезок времени, но этот отрезок 1937—1941 годы... конечно, я знаю о тех годах только понаслышке в силу своего возраста и в силу того, что именно в буквальном

¹ Сима — жена Ефима Зозули, Серафима Александровна Зозуля. Ниночка — дочь Ефима Зозули, Нина Ефимовна Зозуля (всё в тексте подчёркнуто автором письма).

смысле много слышал от людей того времени рассказов... в частности, от Анатолия Марковича Гуревича, интербригадовца и разведчика. Случайные обстоятельства свели меня с Анатолием Марковичем в начале 60-х годов в Ленинграде уже после всех его отсидок, реабилитаций... Я знаю о тех годах от испанского поэта, с которым был хорошо знаком и стихи которого переводил, — Хулио Матеу... от матери и друзей моего друга, известного испанского дирижёра Хосе Фелиппе... Не будем отвлекаться... то есть от непосредственных свидетелей, участников событий. И вот после всех утрат, несправедливых (и тогда не многие верили в «шпиономанию» свихнувшегося на этом жестокого вождя), после стольких горьких разочарований, когда грянула вторая мировая, когда она разрушила границу Советского Союза и стала Великой Отечественной, они ушли на фронт — защищать коммунистическую идею, в которую верили; свою Родину, свою семью...

Ефим Зозуля в первых рядах и с первых дней.

Теперь я держу в руках несколько листочков тоже пожелтевших, оборванных по краям. Вероятно, они из блокнта, или это «обрезки», т. е. край бумаги, остающийся после печатания газетных полос, если рулон нестандартного размера. Поскольку эти строки относятся к самому началу войны, вполне возможно, что фронтовой корреспондент, писатель Ефим Зозуля писал их, как говорится, в полевых условиях, близко к передовой и на том, что попало под руку — диктовать или писать на машинке не было возможности и времени, всё шло «с колёс» прямо в газету... Судя по этому номеру, упоминаемому в статье, можно предположить, что писалось это поздней осенью или в начале зимы 1941 года перед началом наступления Красной Армии под Москвой...

ГАЗЕТНЫЕ СТРОКИ

Любопытные немцы

В нашей газете «На врага» в № 196 читаем:

«Берлинский корреспондент газеты «Ирвинг Стандарт» передаёт, что, согласно сообщению берлинского корреспондента «Трибюн де Женев», частые воздушные тревоги начинают дей-

ствовать на нервы берлинцев, которые спрашивают, что это за бомбардировщики, откуда они прилетают и означает ли их появление начало нового этапа войны». (ТАСС)

Если люди очень любознательные — спрашивают, то простая вежливость обязывает ответить им. Из достоверных источников можем сообщить, что эти самые бомбардировщики, которые беспокоят берлинцев, советские бомбардировщики и прилетают они, откуда следует, и — скажем прямо¹ — на нервы берлинцам будут действовать ещё долго. Что же касается вопроса — означает ли их появление новый этап войны — то мы можем разъяснить особо любопытным, что нового этапа войны это не означает. Это всё тот же этап, начатый кровавым Гитлером и его шайкой и за который ему же придётся полностью расплачиваться — причём не по старой расценке — зуб за зуб, а по новой: за зуб — челюсть.

Вопрос о покое

На пресс-конференции иностранных корреспондентов опубликована часть письма немецкого солдата Ганса Штафса. Он пишет о наших партизанах:

«Здесь можно познакомиться с ужасами войны. Мы ведём тяжёлую борьбу с партизанами. Они обстреливают нас каждый день. Мы не имеем покоя».

Что верно, то верно. Красная армия и красные партизаны покоя немцам не дают. В этом смысле покой для них явно дефицитный товар. Но мы знаем место и не скрываем это — где фашисты обретут столь необходимый им покой: в могиле.

С полной нагрузкой

В «Красной звезде» от 19 августа находим интересную заметку о том, как лётчик-истребитель младший лейтенант Ковалёв на подступах к Москве сбил фашистского стервятника:

«Несколькими пулёмётными очередями тов. Ковалёв пробил у фашистского самолёта моторы и баки с бензином. Объятый пламенем бомбардировщик с полной бомбовой нагрузкой рухнул на землю и взорвался».

¹ Везде сохранены орфография и пунктуация оригинала (М. С.)

Вот это прекрасно сделал тов. Ковалев! Так делают и многие другие наши летчики. Зачем стервятнику расставаться с бомбами, предназначенными для убийства детей, стариков и женщин. Пускай летит вниз с полной бомбовой нагрузкой и на своей собственной стервячьей шкуре испытывает действие взрывов, которыми фашисты так бахвалятся.

Соппротивление разбойникам

Норвежский народ начал сопротивляться германским оккупантам. Норвежское правительство, находящееся в Лондоне, обратилось с воззванием к норвежскому народу не выступать на стороне Германии против СССР. *«Тот, кто выступит, — говорится в воззвании, — будет действовать против истинных интересов Норвегии».*

Германский комиссар Тербовен арестовывает общественных деятелей, снижает рабочим зарплату, берёт заложников и т. д. Что нового могут придумать фашисты? Рабочие возмущаются и бастуют. В ответ на это Тербовен заявил, что *«начальник гестапо сумеет прекратить забастовки и волнения».*

Конечно, сумеет. Кому ума не доставало расстреливать безоружных людей. Но вот вопрос: с каждым днём во всех странах, оккупированных германским фашизмом, ширится сопротивление: хватит ли пуль и снарядов? Ведь сами немцы жалуются, что и на фронте их не хватает.

Борьба за жилплощадь

У немцев бесконечные хлопоты: не хватает госпиталей. Ими давно полон Берлин и все германские большие и небольшие города. В «Известиях» от 17 августа читаем, что ими переполнены не только Варшава, Краков, но и многие другие города Польши. Во множестве городов конфисковываются тысячи и тысячи частных квартир для размещения раненых. Оголтело бросаясь на новые города — независимо от их стратегического значения, теряя сотни тысяч солдат, немцы обнадеживают уцелевших:

— *Идите вперед! Что-что, а жилплощадь для раненых будет!*

Люди, чуждые ненависти

Немецкий писатель-коммунист Вилли Бредель делает в «Правде» обзор фашистской «художественной» литературы. Фашистский писатель Арнольд Броннен дает в своем романе «СС» следующий портрет гитлеровца: *«Вообще Иогану Шраму была чужда ненависть».*

Но поляков и итальянцев он все же не очень любил. Вот точная выписка, как этот чуждый ненависти, «добрый» гитлеровец расправлялся с поляками.

«С первым поляком он столкнулся возле Малого Болота. Увидев Шрама, поляк бросился бежать. Гневное рычание Шрама заставило его остановиться. Шрам внимательно в него всматривался, ожидая, что поляк будет защищаться. Обнаружив, что поляк продолжает дрожать от страха, Шрам раскрыл ему прикладом череп.

Он сразу почувствовал себя лучше, настроение поднялось. Двух поляков он убил, разорвав их на части. Третьего он заколол штыком. Десять поляков пытались бежать, но он их убил, одного за другим, ударами приклада. Особенно увесистые удары он нанес десятому поляку, после чего немного передохнул. Ему стало легче».

Так выглядит гитлеровец в описании гитлеровского же писателя. Причем описывается фашист, «чуждый ненависти».

Интересно, как бы себя держал фашистский садист — убийца, если б он не был чужд ненависти?»

Здесь комментарии не требуются... жаль только, что ассоциации так и рвутся в душу — больно это читать чрезвычайно... и горько за то, что пережила земля и снова переживает... Впечатление такое, что это непрерывно происходит то на одной, то на другой территории, люди!

Архив, котрым располагает сегодня прямой потомок писателя и художника Ефима Зозули достаточно велик, и большую часть его составляют фотографии — их много, и на них много исторически интересных личностей окружают Ефима Зозулю — Алексей Максимович Горький, Илья Эренбург, Михаил Кольцов...

Архив, конечно, требует систематизации, описания... я думаю, что эти находки так же бесценны, как «золото Шлимана»,

но, к сожалению, не так долговечны... и сколько ещё таких реликвий перекинуло через океан? Много. Пока они лежат в укромных «сундуках» и портфелях, общественная ценность их равна нулю. Может быть, владельцы этих сокровищ захотят поделиться с людьми — приоткрыть ещё и ещё одну страничку нашего общего трагического прошлого, чтобы потомкам понятнее было, отчего многие поднялись с любимых и дорогих мест и приехали сюда, терпя горькие разлуки, безвозвратные потери, душевные и физические муки и веря одной лишь Надежде и покровительству Бога.

ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КОРОТКИХ СТИХОВ

В самом центре Москвы, на Мясницкой (название улицы Кирова так и не прижилось), прямо напротив Главпочтамта, в огромном доме на первом этаже помещалась редакция единственного еврейского журнала. Название на табличке у входа было написано по-русски: «Советиш Геймланд» — Советская Родина!

За тяжелой дверью с тёмным прохладным тамбуром, в большой приёмной, отгороженной от улицы огромными окнами с толстенными, вечно запylёнными снаружи, витринными стёклами, казалось, был совсем другой мир. Что больше всего поразило меня — это шкаф, стоящий у окна, в котором красовался полный энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, но главное, точно в таких же корочках и с таким же золотым тиснением Полная Еврейская Энциклопедия! И её можно было вынуть и читать!

Первый раз я пришёл сюда по рекомендации поэта Матвея Грубияна и композитора Зиновия Компанейца, устные рассказы которого воистину — летопись России начиная с десятых годов двадцатого века, когда он сам, ещё совсем мальчик (шесть лет), был принят в Петербургскую консерваторию её ректором, замечательным композитором и педагогом Александром Константиновичем Глазуновым, а потом учился уже юношей в Московской консерватории у Рейнгольда Морицевича Глиэра и был знаком с гением двадцатого столетия Сергеем Сергеевичем Прокофьевым.

Много замечательных песен написал Зиновий Компанеец, но чтобы подтвердить это, достаточно напомнить одну, которая звучала ежедневно в течение многих десятилетий по утрам по первой программе Радио перед «Пионерской зорькой», когда

начинался обязательный для всего Советского Союза «Урок утренней гимнастики» — правительство радело о здоровье народа. И все поколения детей и взрослых слышали: «На зарядку, на зарядку, / На зарядку, на зарядку становись!» В памяти сразу возникает любимая знакомая мелодия...

Мы с Зиновием Компанейцем написали немало популярных детских песен, и он как-то обратился ко мне от имени журнала с просьбой сделать очерк о его творчестве. Я возразил Зиновию Львовичу, что рад бы, но... только читаю и говорю на идиш, а писать не могу... Он легко опроверг меня: «Они сами переведут!»

Так я попал в редакцию, где всем заправлял заместитель главного редактора Хаим Бейдер — его все так и звали — по фамилии: Бейдер! Он знал всё — что пойдёт, что не пойдёт, а что — в следующий номер... Кто сегодня где? — Бейдер. Как попасть к главному редактору? — Бейдер... Он и повёл меня в кабинет «главного» — поэта Арона Вергелиса, по отечески подтолкнув в спину и пропуская вперёд... С порога, без паузы он стал представлять меня, говоря на идиш, но вскоре Вергелис прервал его, конечно, тоже на еврейском: «Аза вейлер ят! — обратился он к Бейдеру. — Неудобно, он же ничего не понимает!» — И я, страшно смущаясь, тут же запротестовал: «Их форштей алц! Их форштей!..»

Вергелис вскочил из кресла, всплеснул руками, снова уселся и стал расспрашивать, как это так получилось, что я такой молодой и понимаю... Это было для него, может быть, чем-то знаковым — ведь он издавал журнал на идиш, и ему всё время задавали каверзный вопрос: «Для кого? Ведь нет же читателя! Нет молодёжи с языком! Нет будущего!» А тут!..

Я написал очерк и стал сотрудничать с журналом, но, конечно, мечтал о большем: мне очень хотелось, чтобы в еврейском журнале напечатали мои стихи. Да кто их переведёт?.. И ещё я понимал, что для поэтов, пишущих на идиш, это единственная в стране возможность опубликовать в периодике свои произведения. Получалось поэтому, что я вроде бы претендую на их место... мне было очень неловко, но...

— Знаешь что, — сказал мне как-то Бейдер, — сходи к Аврому!

— К Аврому? — переспросил я.

— Да. К Гонтарю. Он теперь возглавляет отдел поэзии вместо Мойше Тейфа... — мне стало не по себе. Я даже не знал, что нет уже Мойше Тейфа... редко, значит, бывал в редакции. Бейдер, видя, что я загрустил, не понял, отчего, решил, потому что не знаком с Авромом Гонтарём, и повёл меня к нему сам.

Гонтарь был в галстуке, белоснежной рубашке, с изумительно красивой головой и такими еврейскими глазами!.. Из короткого разговора я понял, что дело со стихами «швах»... «Оставьте, конечно»... — грустно произнёс заводелом и замолчал. Я уже собрался уходить, но он не отпускал меня, стал расспрашивать, кто, откуда, где печатался... и когда узнал, что у меня вышло уже несколько сборников стихов для детей и даже в неприступном «Детгизе», вдруг «выудил» из-под груд скользящих бумаг на столе листочки с еврейской вязью и начал читать свои изумительные стихи! А когда понял, что мне не нужен подстрочник, просто загорелся: «Сможете перевести?» Ну, как я мог усомниться в своих способностях в такой ситуации?! — «Конечно, да! Смогу!»

Я схватил его стихи и помчался к своей маме, Басе Моисеевне Голуш, человеку необычайно талантливого и высокообразованному, с несколькими европейскими языками, одной из первых кандидатов биологических наук в Советском Союзе, учившейся в аспирантуре у знаменитого академика Алексея Николаевича Баха. Но первым её родным языком был идиш, на котором она воспитывалась и говорила в захолустном еврейском местечке Клецке в Белоруссии до того, как стала учиться в столичном университете. Это она открыла мне аромат и прелесть идиш, это она читала мне в подлиннике Изи Харика и Льва Квитко и пела своим изумительным голосом старые еврейские народные песни...

Мама воистину мой соавтор в этой работе над переводами! Мы читали с ней вместе вслух стихи Гонтаря, а потом вперемешку: она строфу на идиш — я перевод, она строфу на идиш — я перевод... И обсуждали, обсуждали все тонкости и тысячу раз подправляли перед тем, как мне идти к Гонтарю с готовым материалом...

В редакции, как мне показалось, — все поэты! Мы обсуждали переводы вместе, и тут уж не жди пощады: не понравится — разнесут на клочки, живого места не оставят... Но я был уверен, что это все свои, и перед «чужими» — твоя верная и праведная защита... Читал Гонтарь, читал, конечно, Бейдер, и, разумеется, я читал и внутренне трясся от страха и ещё, на самом деле, потаённого, нетерпеливого ожидания одобрения своей работы...

А переводы... переводы действительно понравились Аврому Гонтарю. Но это было полдела, и он пожелал мне удачи в сражении на журнально-издательском поле...

Начал я с «Детгиза», автором которого уже состоял! Что для меня самого и окружающих казалось невероятным, но там первая моя книжка вышла в 1968 году, а потом были и другие...

Однако этим стихам не повезло — предложений не печатать их нашлось много, даже такой, что, может быть, лучше издать свои оригинальные стихи, зачем переводы?.. Но ещё больше было трусости и вранья, отведенных взглядов и уверений, что качество переводов и, конечно, стихов тут ни при чём.

Были попытки на радио, в других издательствах, «Мурзилке»... — это были напрасные попытки в Советской России, в которой слово еврей оказалось если не ругательным, то зазорным, позорным и горьким на вкус.

Я прекратил хождения — не выдержал. Отступил. Не одолел стену...

Не стало замечательного поэта Аврома Гонтаря...

А стихи остались, и они не портятся от времени... если настоящие...

Вот и всё.

А дальше — стихи.

АВРОМ ГОНТАРЬ

*Перевод с еврейского
Мих. Садовского*

МИР ЗЕЛЁНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ

Как только солнце припекло
И почкам сделалось тепло,
Одна язык вдруг показала,
Оглядываться стала:
Как холодно мне было,
Я не забыла,
Но солнце свет пролило —
Зелёный фартук я надела снова,
К весне готова.

А на деревьях почки
Это услышали,
Все, как одна, и днём и ночью
Тоже стали
Причёсываться, умыться,
К весне принаряжаться —
И лес мы не узнали!

Все красавицы берёзки
Повесили серёжки
На каждой ветке
По дюжине.

Галстуки зелёные
Надели клёны,
А дубы развесили
Флажки зелёные.

А дрожащая осина
Кружева вязать решила,
И уже зазеленели
И луга, и лес, и поле.
Целый мир вокруг
В зелёном.
Мир зелёный, зелёный...

В СУНДУЧКЕ

В сундучке для дочки
Ленты и платочки,
Чулочки и ботиночки
Для маленькой Фаиночки.
Подрасти получше —
Ключик ты получишь.
Крышечку откинешь —
Все подарки вынешь!

ЭХ, ЙОШКА

— Ты зачем под ливнем, Йошка?
— Подрасти хочу немножко!
— Если хочешь подрасти,
лучше в дом тебе войти
и засунуть ноги в таз.
Ты расти начнёшь как раз!
Заходи скорее в дом
И не мокни под дождём!

НЕ БОЙСЯ

Двойра, успокойся!
Двойреле, не бойся!

Щенок не станет гавкать,
Не будет котик мявкать,

Когда о них ты вспомнишь
И миски им наполнишь!

Дай щенку побольше кость —
Пусть на ней срывает злость.

А кошечке Маше —
Гречневой каши.

Но при этом не забудь:
Съешь сама, хоть что-нибудь!

ПЕРЕД ДОЖДЁМ

Спешит тропинка
В лес вбежать скорей,
Укрыться хочет там:
Она дождя боится,
А туча, что грозит пролиться,
Темней, темней.
Бежит за тропкой пёс,
Спросить он что-то хочет,
Но нет, не ждёт тропиночка,
Бежит,

бежит,

бежит.

Сердится за это пёс,
Громко он кричит:
Гав, гав, гав!
Зачем бежишь?
Зачем спешишь?
Где укрыться, почему
Мне не говоришь?

Не слушает тропиночка
И мчится в лес скорей,
Пока нависший ливень
Не пролился над ней!

О ЧЁМ ПЕЛ ПЕТУХ

Петух-задавака
С красивыми шпорами,
Свой голос до хрипа
Испортил он спорами.

Взлетел на плетень
Оскорблённый певец:

— Довольно!
Довольно!
Молчанью конец!

Он вытянул шею
И хвост распушил,
Он крыльями лупит,
Глаза закатил.

И все всполошились,
Казалось вот-вот,
Как раньше бывало,
Опять запоёт.

Надулся петух,
Как сержант, на плетне,
И куры, кудахча,
Прижались к земле.

Корова в хлеву:
— Что за шум, не пойму!?
И ну голосить
Своё вечное «Му!»

Летит по округе
Испуганный вздох,
С чего бы отчаянный
Переполох.

Подпрыгнул петух —
Гребешок на бок
И выдавил хриплое
«Ку-ка-ре-ку!»

Слетел он на землю —
Неважно пропел!..
И гребень его
Со стыда покраснел.

КУРАМ НА СМЕХ

Всё сделал брат,
Что я хотел,
Чтоб только тихо
Я сидел.

Но всё он сделал
Наспех,
И вышло
Курам на смех.

Вот бочка да без дна,
Кому она нужна?!

Хромает табурет,
У куклы глаза нет,

Трёхногий воробей,
А домик — без дверей.

Совсем без лезвий нож —
На ножик не похож,

Без хвоста козёл,
Совсем без ножек стол,

И стрелки без часов,
И гири без весов...

Наверно, брат жалеет сам,
Что мне дарил
Весь этот хлам.

Так разве я могу молчать —
Не мастерить и не стучать?

Мне надо всё промерить,
Доделать и проверить.

Бочонку надо сделать дно
Кран и затычку заодно!
Поправить, чтобы резал нож,
И был, как все, на нож похож.

И чтобы звонко пел петух.
А воробей скакал на двух!

Будильник, чтоб с утра звенел —
Ну, разве это мало дел?!

Я целый день
Пилю, стучу —
Полезным сделать
Всё хочу.

Ну, сами посудите:
Вы тихо усидите?! .

СЕЙЧАС, СЕЙЧАС!

— Ты хочешь хорошим быть,
внучек, скажи?
Так сбегай за маслом —
вот сумка, держи!

— Я сбегаю, бабушка,
только сейчас
мне надо
два дела докончить
как раз.

Я только немного
коньки поточу
и полоз у санок
подправлю чуть-чуть.

А то ты представь:
со вчерашнего дня
свободной минуточки
нет у меня.

Бабуленька,
ты не волнуйся напрасно —
сейчас принесу тебе
свежее масло.

— Спасибо, мой внучек,
уж я подожду,
тогда в магазин я
сама не пойду.

— Сейчас!
Только шарфик найду
и носки,
доделаю санки,
подправлю коньки.

Тогда и за маслом
пойти я смогу,
и сразу за ним
в магазин побегу!

А где же точило,
Шурупы и клещи?
Ты мне обещала
купить эти вещи!

— Ах, да! Обещала!
Совсем я забыла!
Сейчас побегу
и куплю я точило!

— Да, бабушка, сбегай!
И там по пути
ты масло ещё
не забудь, захвати!

А то у меня,
просто тысячи дел,
и знаешь,
я, кажется, есть захотел!

ЦЕНА ОШИБКИ

Тем, кто посвятил свою жизнь искусству, порой невероятно сложно или вовсе невозможно объяснить людям, непричастным к такой сжигающей безжалостно страсти, почему, как и для чего они сами добровольно обрекли себя на такие невероятные пожизненные душевные затраты. Редко они, эти усилия, вознаграждаются адекватно, чаще случается, что они досрочно сводят в могилу творцов. Очевидно, что творцы никогда не получают полного удовлетворения собственной работой и её оценкой другими. Стремление к творчеству заложено в каждом человеке! Но только сильные духом следуют этому зову! Бесстрашно и безрассудно, не вникая обывательским доводам родителей и окружающих, они бросаются в увлекающий поток...

Мой низкий поклон им! И я не хочу слышать убедительных возражений, но сопереживаю каждому молодому человеку, мечтающему ухватить сверкающее перо Жар-птицы... и готового ради этого на любые испытания.

Слава Всевышнему! Он всевидящ и справедлив и дал великому Гению Танца беспрецедентное долголетие — в январе 2006 года Игорю Александровичу Моисееву исполняется 100 лет! Я надеюсь, что как в прежние юбилеи, он выйдет на сцену своего любимого Зала имени П. И. Чайковского, поставленные им танцы, как всегда, восхитят и вдохновят зрителей, а он поклонится после исполнения зрителям под бурю рукоплесканий!

Итак, сегодня об Игоре Александровиче Моисееве — титулов его не привожу, их так много, что начини я это делать, повествование на этом бы и закончилось...

Несколько картин обыденной жизни настолько потрясли меня, что не только не могу их забыть, но с годами они становятся всё ярче и полнее. Время, как проявитель, в который опущен снимок памяти, всё отчётливее обнажает детали. Для этого необходима определённая выдержка, индивидуальная для

каждой картинке, для каждого человека... порой она исчисляется годами, порой — десятилетиями.

Заворачиваю с Садового кольца, с Триумфальной, на улицу Горького (это теперь она Тверская, как прежде) и через седьмой подъезд мимо полусонного, обпившегося чаем вахтера, при тусклом свете переднего вестибюля не направо к лифту и входу за кулисы Зала Чайковского, а налево на запах филармонического буфета и потом вверх по лестнице со ступенями стёртыми с одной, ближней к перилам стороны... Сколько же ног тут годами шлифовало поблекший мрамор, до этого нежно-го, женски округлого профиля?

Идти невысоко — всего два этажа, и на площадке остановиться у двустворчатой двери с филёнками, обрамляющими белые плоскости толстенных стёкол, покрашенных с внутренней стороны серой масляной краской.

Народная тропа своеобразна и прихотливо непредсказуема. За дверью репетиционный зал, и наверняка неспроста протёрты в защитном слое на стёклах незаметные крошечные окошки для глаза. Вот к ним-то и влечёт меня сегодня. В решительный день для моей дочери, сдавшей экзамены в Школу-студию Ансамбля народного танца Игоря Моисеева.

Нос и лоб упираются в холодную плоскость, и взгляд проникает в святая святых.

Суть проста. Из невероятного количества претендентов (ориентировочно по восемьсот(!) человек на место) педагогами отобрано... 40! Двадцать мальчиков и двадцать девочек. Закончился ажиотаж отборочных туров с нащёптываниями и наставлениями экзаменаторам от бывших сослуживцев и друзей. Все они из балетного мира, все мечтают, чтобы дети пошли по их стопам, со всеми вытекающими из этого последствиями... а ведь это серый застойный 1982 год!.. Гастроли, заграница — другая жизнь... И приём бывает раз в четыре года... и претендентам должно быть ровно 14... Сколько нелогичных совпадений необходимо априори!

Мне некому нащёптывать и некого просить — я тут чужой, никого не знаю... но если девочка в четыре года сказала, что будет танцевать, если девочку в девять брали в балетную школу Большого театра, а она отказалась, потому что хотела танцевать только в этом Ансамбле...

Я прильнул к заветной крошечной амбразуре. Там, за стеклом, — высший суд! Линейка девочек выстроена поперёк зала.

Наставники сгрудились в углу. Сегодня утром, два часа назад из гастролей по Польше вернулся коллектив Ансамбля, и Сам Игорь Александрович приехал посмотреть, кого же отобрали ему его помощники, кто через четыре года вольётся в его коллектив? Он же для себя готовит кадры, а в этом году ещё и для Киргизского ансамбля народного танца. Это называется целевой набор — девочек прислали из Киргизии... значит количество мест для «простых смертных» ещё уменьшилось... Мне не слышно слов Мэтра, но он резок и недоволен: слишком длинная линейка выстроена перед ним... здесь вместо 20 — целых 32! Он, видимо, спрашивает, как это могло получиться, и отстраняет рукой пытающихся приблизиться к нему для объяснения...

Пауза. Долгая. Невозможно долгая... и наконец... он отходит несколько шагов назад, осматривает строй уничтожающе пронзительным взглядом, затем идёт к началу шеренги и медленно, непередаваемо медленно движется, останавливаясь перед каждой девочкой и осматривая её с ног до головы, а мне кажется: просвечивая насквозь. Потом лёгкое движение руки, указывающее выйти вперёд и остановиться... или остаться на месте... И никто не знает, что предуготовленно этим выдвинутым и оставленным в строю? Кому повезло — тем, кто шагнул вперёд, или тем, кто застыл на месте? Маэстро движется медленно, и я успеваю заметить, как вытянулись и застыли лица ожидающих в углу педагогов и концертмейстеров... Боже! Никогда не будет конца этому движению, этой линейке, этому уничтожающе тягостному ожиданию... лучше бы я сидел дома и не испытывал нервы и не терзал сердце...

Теперь маэстро стоит в отдалении ко мне лицом. Выдвинутые им вперёд оборачиваются на сто восемьдесят градусов, он внимательно осматривает и левую и правую жаждущих решительного слова шеренги... потом я вижу, как шевелятся его губы, и те, их точно 12, выдвинутые из общего ряда девочки сутулятся, некоторые уже плачут и бросаются к двери на противоположной стороне, а оставшиеся на месте начинают прыгать и обниматься...

Я не сведущ в тонкостях балетного искусства и не в состоянии по фигуре определить пластические возможности человека, но маэстро, как стало ясно позже, вывел из строя именно тех, кто попал туда после нашёптываний, уговоров преподавателей, а может быть, даже после дружеских возлияний и подношений.

Никакие последующие уговоры и попытки «впихнуть» кого-то обратно успехом не увенчались. Это всё я узнаю потом, много, много позже...

Этот просмотр настолько потряс меня, что многожды виденные потом всевозможные сеансы с угадыванием спрятанных предметов, чтением мыслей на расстоянии всевозможными мессингами казались мне бледной тенью и плагиатом.

Как мог он так безошибочно, в полном смысле этого слова, определить неправомерно втиснутых в желанный ряд? Что это — ещё одна грань его непомерного таланта, способность провидения или немыслимое для простого смертного общение с Высшей силой?

Несомненно, что он гений танца — он от природы, с детства обладал потрясающими физическими данными, но пожертвовал карьерой танцора, ушёл из Большого театра, где был солистом, и создал свой ансамбль, в репертуаре которого поставленные им незабываемые и неподражаемые танцевальные шедевры. Для этой работы ему нужны танцоры, которые могут стать частичками рождающейся в его мозгу мозаики танца, и здесь не могло быть никаких компромиссов. Он не мог их себе позволить, он не мог поступиться хоть одной крупичкой своей жизни и требовал для себя всего только самой высокой пробы. Я это отчётливо безмолвно формулирую и восхищаюсь маэстро. Но как невероятно сложно достигнуть такого совершенства!

Я много лет, в силу сложившихся обстоятельств, наблюдал за ним, его репетициями, разговором, за кулисами и в зале во время концертов, которые он выстаивал на ногах, не присаживаясь, за многочисленными выступлениями вживую и по телевидению, и по радио...

Он блестяще репетировал, показывал и объяснял, красиво, образно и мудро говорил, не позволял себе опускаться до низменных разборов и оценок... но как жаль, что рядом с ним не было его Эккермана!

Удивительно, но постановки, Игоря Моисеева (!) не были записаны — ведь создание хореографической партитуры дело сложное и хлопотное, но... неужели люди его окружения не понимали, что они теряют и упускают? Порой для того, чтобы восстановить танец, маэстро вызывал его бывших, уже окончивших карьеру участников и восстанавливал рисунок по «живым ногам».

Только поэтому я решил записать этот совершенно ошеломивший меня эпизод, который объяснить не могу и сейчас, по прошествии нескольких десятилетий...

Да, дочь закончила школу-студию при Ансамбле народного танца Игоря Моисеева, объездила с гастрольями Ансамбля весь свет, а потом стала дипломированным постановщиком хореографом, как мечтала в том раннем детстве, когда таких слов ещё не знают...

Она тоже помнит этот эпизод, но у неё были совсем иные переживания, чем у тех, кто видел «бой» со стороны...

Она тогда так стремилась к танцу, что Судьба вняла её стремлению и мольбам...

ВАСЯ и ФЕДЯ

Страницы эти несомненно весьма субъективны — я к этому стремился, потому что пишу об очень близком друге... Впрочем, все мои размышлизмы категорически субъективны — нет смысла перетолмачивать общедоступное. А я чувствую, что должен рассказать, чего другие не знают, об известном только мне и тому, о ком вспоминаю, о том, что было между нами, что видел и слышал сам... и ничего с чужих слов... А если приходится цитировать, то стараюсь тоже только близких друзей, которым доверяю и которые сами достойны размышлизма. Возможно, он уже написан или вот-вот родится...

Хромушин Олег Николаевич, по моему глубочайшему убеждению, ушёл из жизни безвременно...

В свои 17 лет он подался добровольцем на фронт, успел побывать и на западном против Германии, и на восточном в Маньчжурии... Сражался на передовой, руководил военным полевым духовым оркестром, а после Победы — созданным им оркестром суворовцев... когда-то, мальчишкой, он сам играл в подобном коллективе... Эх тех лет трагически донеслось до мирных послепобедных дней.

Вот как он сам вспоминал об этом:

«3 августа 1942 года немцы вошли в мой родной Ставрополь (на Кавказе — М. С.). Мне было 15 лет. Во время оккупации родители нигде не работали, а я халтурил на домре-теноре в оркестре народных инструментов, созданном нашим бывшим пионерским руководителем на частных условиях. Все бы ничего, но однажды я проявил патриотизм. Как-то, прогуливаясь по улице, я обнаружил на стене листок с частушками, ругающими Сталина и вообще нашу систему. Возмущенный за своего вождя, я сорвал листок и отдал своему руководителю... А уже после

войны, в апреле 1950-го, был арестован по 58-й статье («измена Родине») по обвинению в написании частушек антисоветского содержания в 1942 году...»

Это много позже выяснилось, кто написал донос и что в том доносе... Можно сколько угодно недоумевать и разводить руками... такое «творческое» время было в советской стране! Сочиняли все... кто что мог...

Вышел на свободу Олег Николаевич только после смерти тирана... вот этих потерянных в неволе лет, что надорвали его сердце, он не дожил... Я так думаю... и всё. Точка. Об этом больше ни полслова, потому что сам Олег не любил это вспоминать и говорить об этом, тем более публично. Я узнал о тех событиях, только когда попросил его набросать несколько слов, так сказать, автобиографических. Мне предстояло написать предисловие к его, или нашему общему, уже и не помню, сборнику... Этот листочек с его разборчивым, детским почерком и сейчас перед глазами... строчки скатываются вниз с правой стороны неразлинованной бумаги и под ними такая характерная его подпись: большое О, а дальше будто утончающийся и извивающийся хвостик — фамилия...

Итак!..

Очевидно, в конце семидесятого года прошлого, двадцатого, века... может быть, в начале семьдесят первого... музыкальный редактор Всесоюзного вещания для детей и юношества Геннадий Алексеевич Крылов предложил мне написать цикл песен для детей. Я, конечно, первым делом поинтересовался, кто композитор? И услышал: «Пиши... приноси... потом вместе подумаем...»

Честно сказать, ответ не очень-то порадовал. Я люблю писать песенные стихи для определённого композитора... обсудить с ним, что да как, посоветоваться... У каждого ведь своя манера, свои вкусы, задумки, а песня — дело общее, но...

И вот... стихи готовы, и даже прошли все сита Веры Дмитриевны Хрусталёвой — литературного и моего самого первого в жизни редактора... стало быть, к тому времени я знаком с ней уже больше десяти лет! И мы всё воюем, воюем из-за каждой строчки... Наконец, тексты переселились в редакцию с моего стола — они собственность Крылова, а я и забыл о них скоро...

Простите, читатель, поскольку из песни слова не выкинешь, и фамилии всех, кто причастен к описываемому событию, я сохраняю и переносу на бумагу, чтобы не потеряла память... Поверьте, эти люди того стоят!..

Через некоторое время Геннадий Алексеевич снова позвонил: «Нашёл композитора!» — «И кто же?» — спрашиваю. — «Хромушин Олег Николаевич из Ленинграда. — Молчим оба. — Не знаешь такого?» — «Не знаю!» — подтверждаю я. — «Он тебе звонить будет, не возражаешь?» — «Не знаю...» — сомневаюсь я — «Ну, я ему стихи отправляю, ладно?!» — «Ладно! — соглашаюсь... — Чего им валиться, в самом деле? — думаю. — Отправляй!»

Мне почему-то кажется, что не многие читатели представляют себе процесс написания песни, поэтому и позволяю себе такие, можно сказать, интимные подробности...

Паузы — это весьма трудное время в творчестве. На сцене актёр отыгрывает их, проявляя своё мастерство, в писательстве автору приходится заполнять их... кто, как умеет... зависит от темперамента и наклонностей...

Хромушин позвонил мне довольно скоро... высокий голос... не поймёшь: молодой? старый?

— Я бы хотел вам кое-что поиграть, — говорит. — Я на три дня только из Ленинграда в Москву... Где бы нам встретиться удобнее, чтобы поработать немного? — я не успеваю отвечать. — У меня в номере гостиницы нет инструмента... А у вас пианино есть?

— Есть... — говорю. — Только, знаете, у меня ремонт... побелка кругом, замазка всякая... Не боитесь испачкаться?.. —

Через час звонок в дверь в моей пятиэтажке. Открываю и... будто не открывал — весь дверной проём заполнен человеком, что в ширину, что в высоту! И такое располагающее лицо! Он весь какой-то золотистый, светящийся, и «ш» у него, когда он произносит моё имя чуть длиннее, но это не шипение змеи, а танец капли на раскалённом металле...

Кажется, всё вчера было: среди ремонтного разора за пианино, выглядывающим из-под засыпанных побелкой газет, на круглом стульчике сидит человек. Он положил свои большие, поросшие рыжеватыми волосками руки, на клавиатуру и смотрит на меня, потому что я стою как-то неудобно около угла инструмента, мне и пристроиться больше негде...

И началась Музыка — я молчу. Я ошеломлён. Не могу произнести ни звука, а композитор смотрит на меня и думает, наверное: «Хоть бы слово сказал, чёрт возьми! Нравится — не нравится!?» Куда там! Я просто потерял дар речи...

Шесть песен. Кантата. Свой внутренний сюжет и музыкальная драматургия. Интересно, весело, вкусно! Их записал новый детский хоровой коллектив «Детский хор Всесоюзного радио», который потом стал ... «радио и телевидения»... под руководством Виктора Сергеевича Попова... Ныне коллектив знаменитый, отягощённый призами, лауреатскими званиями, и Попов уже профессор и знаменитый дирижёр!.. А тогда, чуть раньше, до записи... я знакомлю с ним Хромушина и снова слушаю песни, и уже могу радоваться и восхищаться... нет — ликовать! Всем стало ясно, что к детям пришла новая музыка — так для них ещё не писали! Свинг, как свежий ветер, ворвался в устои детской песни! Но... не для всех это радость. И хоть запись прошла успешно, с оркестром под управлением знаменитого дирижёра Юрия Васильевича Силантьева, до эфира этим песням оказалось очень далеко...

Много инстанций проходило каждое, даже самое маленькое произведение, прежде чем его могли по радио услышать люди... одна из последних подписей под музыкальным опусом — главного музыкального редактора Всесоюзного радио Г. Н. Черкасова. Не знаю, какая мина была на его лице после прослушивания, но вердикт гласил: «В эфир можно дать только пять песен. А «Наш учитель самый лучший» — ни в коем случае!» Что так напугало музыкального чиновника? Новые ритмы, новые непривычные гармонии, откровенный свинг и блестящая джазовая партитура? Он, конечно, предполагал, что скажут наверху по поводу такого... а там, наверху, сам Лапин! Председатель Гостелерадио, всесильный владыка советского радио и телевидения десятки лет...

В Устной Торе, в трактате Мишны «Пиркей Авот» сказано: «Знай (и помни) три вещи — и ты реализуешь свой потенциал (и предназначение): откуда ты пришёл, куда ты идёшь и кому в будущем ты дашь отчёт».

Советские руководители Тору не читали и Мидраш не признавали, если вообще о таковых слышали!..

Началась неравная борьба. На ковёр вытащили Крылова — он зачинщик, ему первый кнут! В кабинете главного редактора детского вещания Анны Александровны Меньшиковой был дан приказ: выпустить в эфир только пять песен. С авторами рассчитаться за шесть, а выпустить в эфир пять. И никаких возражений... нечего детям пропагандировать «тлетворное влияние запада!» Не советские это были ритмы и интонации... Живучи формулировочки! И ещё в самой силе был серый кардинал Суслов! И свобода, которой чуть запахло в шестидесятые, и Прага 68-го так напугали коммунистических старцев, что... но Крылов сказал: «Нет! Не подпишу папку!» А без его подписи на папке, сопровождающей плёнку с записью, — нет пути в эфир.

Композитор, узнав о происходящем, не согласился на купюры, хотя... это был первый его крупный выход на Всесоюзный эфир, и отказ мог захлопнуть для него эту дверь навсегда... Нас оказалось трое несогласных... смешное распределение сил! Для советского монстра мы даже не песчинка — вредный микроб, которого надо и легко уничтожить!

Читатель может подумать, что автор сгущает краски. Ну, ладно уж, такая буря, а всего-то: детские песенки!.. Одеяло на себя тянет! Нет, господа! Сегодня мне это писать страшнее, чем тогда было пережить... мы в то время настолько привыкли к самодурству власти, что удивительно было бы, если бы всё прошло гладко...

Но... оказывается, это стало лишь началом сюжета. Мы-то этого не могли предвидеть!

В Минске проводился Всесоюзный праздник детской песни — ежегодный слёт хоров со всей страны! За право выступить там соревновались коллективы республик, шли отборы, начиная со школ и до самых известных коллективов... там были премии, грамоты, места, призы, пресса, эфир, телевидение... мощная советская помпа...

Открывал праздник Хор Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова. Дирижёр повернулся лицом к своим хористам и... без объявления! Вдруг! Первой в зал ворвалась песня «Наш учитель самый лучший» с рефреном:

Наш учитель самый лучший!
В каждом классе говорят!

И мы сами проверяли,
В каждом классе повторяли:
Наш учитель самый лучший!
В каждом классе говорят!

Да, да! Не «партия — наш рулевой!» А самый обыкновенный школьный учитель! Это о нём песня, которая открывает праздник!

Жаль, что не присутствовал при этом, как рассказывают, триумфе! Нас с Хромушиным на праздник не пригласили. Туда поехали те композиторы и поэты, которым уже заранее были приготовлены лавры... Пришлось хору биссировать нашу песню, и смята была программа выступлений, и не те песни, которые уже были намечены к призам априори, их получили... Не буду называть привычные в то время официозные фамилии, которые оказались, увы, оттеснены не по указке и протоколу, а волей слушателей!

Благодарить Виктора Попова за его гражданский поступок? Да он бы посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и наверняка сказал бы своим сипловатым голосом: «Ну, конечно! Да ладно!»

Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а я не запоминаю названия песен вообще, но знаю, что те, кому больше двадцати сейчас, помнят сами песни, все шесть тех, наших, потому что они стали очень популярными и известными...

И в Израиле, и в Америке я был поражен, что бывшие соотечественники при знакомстве со мной вдруг спрашивали: «А это не ваша ли песня?..» Какое звание, место и грамота выше этого!

Много лет спустя на нашем очередном авторском сборнике песен Олег Николаевич написал мне: «Любимому поэту, с которым у меня началась детская творческая эпопея, «Феде» Садовскому!»

Так почему «Феде»?

После успеха в Минске и Москва не устояла — кантата целиком прозвучала в эфире в одно из воскресений утром, после знаменитой передачи «Доброе утро», когда все слушали радио... Вскоре композитор прилетел в Москву опять, и мы решили отпраздновать это событие... у сверхскудного прилавка в

магазине Хромушин не растерялся и попросил продавщицу несколько кругов «Одесской» колбасы, на что я, выражая своё удивление, возразил ему: «Ну, Вась, она ж такая жирная — есть невозможно!» В свою очередь и Олег Николаевич, склонившись к моему уху отпаривал с обычным для него мягким юмором: «Не волнуйся, Федь! Всё будет у порядке!»

На тесной московской кухне, которую Олег заполнил почти целиком, он колдовал над сковородкой, на которой шкворчила колбаса, жарилась картошка, и запахи неодолимо притягивали всех членов семьи к столу!

С тех пор эти наши «псевдонимы», возникшие случайно, спонтанно, одноразово, я бы сказал, сохранились у нас и для нас на всю оставшуюся жизнь... но только для «внутреннего пользования». Мы никогда их не обнародовали и обращались так друг к другу только наедине.

Кроме всех препон и запретов власти существовала ещё и некая необозначенная, но явная корпоративность в писательских и композиторских кругах. Очень редко кому из иногородних композиторов удавалось записывать свои произведения в столице, постоянно сотрудничать с издательствами, работать для них по заказу. Олег Хромушин был счастливым исключением, и много мы с ним писали для столичных редакций, коллективов, солистов, хоров, и особенно — Детского хора под управлением Виктора Попова... Конечно, главная причина этого — прекрасная музыка самого композитора, несомненно! Но огромное и не запоздалое спасибо Геннадию Крылову и Виктору Попову, низкий им поклон за их энтузиазм, бескорыстие и, если можно за это благодарить, за безупречный вкус! Не раз мы говорили им об этом, и я с удовлетворением сейчас повторяю: спасибо, спасибо!

Обычная зависть к «чужаку», каковым Хромушин был в Москве, разбивалась о его необыкновенно быстро возникшую популярность, о неколебимую творческую и человеческую дружбу, возникшую у него и с Геннадием Крыловым и с Виктором Поповым, и то, что я, как говорится, стоял у истоков её, до сих пор, много лет спустя, доставляет мне искреннюю радость и удовлетворение. Люди уходят в забвение, часто оно незаслуженно и обидно. Поэтому особенно хочу повторить, что благодаря та-

ланту, бескорыстию и безупречному вкусу Геннадия Алексеевича Крылова много прекрасных произведений для детей было создано по заказу его редакции, инициировано им, продвинуто в эфир, оценено по достоинству. Лучшее тому доказательство, что многие из тех песен и хоров живут уже десятилетиями! Среди этих опусов на одном из первых мест работы композитора Олега Хромушина, и я горжусь, что большинство их написано на мои стихи...

Мы много с ним работали, и порой происходили забавные казусы. Композитор «начал» с меня, но естественно, постепенно стал писать и на стихи других поэтов, однако за первые несколько лет мы создали столько известных песен и хоров, что созвучие двух наших фамилий вводило и редакторов, и дикторов, и конференсье в заблуждение — всё, что писал Хромушин, объявлялось написанным на мои стихи!..

Я сознательно не упоминаю названия наших песен, хоров, кантат, сюит — список обширен, но сегодня, в пору смены декораций и приоритетов, может показаться назойливым и неуместным.

И всё же несколько слов о кантате, написанной нами для Хора Виктора Попова по заказу детской редакции радио «Счастливая песня», о двух номерах: «Подснежник» и «Зимние цветы». Я считаю эту работу одной из высших удач композитора, да и всей музыки для детей той поры. Мелодию на бумаге не озвучишь, поэтому привожу несколько строк стихов:

Снегири, синицы, свиристели
На ветвях, как зимние цветы,
Мы для них в кормушках,
Мы для них в кормушках
Припасли немного теплоты.

Такая глубокая кантилена, нежная, прозрачная затаённая, как ручей, неудержимо текущий под коркой студеного льда... и освобождение неожиданно и оригинально звучит в номере «Подснежник»... Мелодия «Подснежника» Петра Ильича Чайковского из «Времен года» — апрель... она и в оркестровке, и в хоре, поющем её закрытым ртом, без слов... цитата, реминис-

ценция, напоминание, надежда... грядёт весна! Мы ждём её, мы верим...

Хромушин был большим профессионалом и, как теперь говорят, фанатом джаза! Он с таким умением, так органично «впрыскивал» жанровые приёмы в детскую песню, что она приобретала незабываемый характер. «У старенького моста», «Фотоохота» уже не вызывали сопротивления у радиийного начальства, нравились, как передавали очевидцы-редакторы, «аж самому» Лапину. А ребятам пришлось по душе настолько, что хористы даже на записи не могли спокойно стоять, когда исполняли эти песни — потихоньку притопывали, пританцовывали, и часто приходилось делать новый дубль, потому что появлялись совершенно ненужные шорохи и стук на плёнке...

Не помню, каким образом мы оказались в помещении студенческого театра МГУ на улице Герцена — угол Моховой, но отлично помню, как Виктор Сергеевич Попов просит композитора переложить для хора несколько русских романсов... Мне кажется, это именно тогда, после успеха «Зимних цветов» Хромушин начал заниматься такого рода творчеством, принесшим ему большой и заслуженный успех...

Чтобы понять этого человека, стоило один раз увидеть, как он исполняет свою музыку, сидя за роялем! Когда каждая клеточка его тела становится такой выразительной, что невозможно устоять — не улыбнуться, не подпевать, не погрузиться с головой в мир, который открывает его творец. У него было потрясающее исполнительское обаяние! Любая аудитория, а особенно детская, воспринимала Хромушина с радостью, порой восторгом!.. Одно движение корпуса, один кивок и взгляд в зал, и сотни рук хлопают в такт и смолкают в нужный момент, и снова по внутреннему ритму включаются в исполнение — тут уже артисты все! И сцена и весь зал — одно целое!

Новую краску в творчество Хромушина внёс Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева. Я дружил с этим коллективом многие годы, писал для них с разными композиторами, и однажды руководитель ансамбля Алексей Сергеевич Ильин попросил меня сделать для них большое вокально-танцевальное отделение, а я предложил в качестве соавтора Олега Хромушина. Так появились ставшие известными песни из новой сюиты, особенно

«Вся планета — стадион» и любимая нами самими «Солнечный рисунок»:

Солнечный клубок не разматаешь,
Тянется к нам солнечная нить,
Хорошо что можно,
Хорошо, что можно
Каждому по солнцу подарить!

Танец, поставленный балетмейстером Большого театра Анатолием Борзовым на эту песню, объездил не только страну, но побывал с коллективом и в других государствах, он и до сих пор, по-моему, в репертуаре...

Казалось бы, счастливая судьба — композитора везде любят, знают, привечают, печатают и снимают на телевидении... По нашей песне «Речка-невеличка» возникает школьное общество по спасению малых рек, «Дорога, дорога, дорога» — становится безымянной туристской песней пригородных электричек, «Прощай, товарищ лето», опять же потеряв авторов, звучит заставкой в киножурналах... Перечисляю не из-за нескромности, а чтобы показать востребованность композитора, его огромный успех... Он работает быстро, уверенно и успевает откликаться на все предложения о встречах с детьми... буквально перелетая с места на место по городам и городкам...

«Зачем тебе это? — доставал я его вопросом. — Тебе что, мало встреч с коллективами, которые тебя исполняют?» Он смотрел на меня с обидой и недоумением — ну, как же я не могу понять таких простых вещей? Очевидно, это было нужно ему как витамин радости: известность, популярность, ощущение нужности и успеха... Он хотел быть всегда на виду, высоко... во всём: и для широкой публики, и в Союзе композиторов. Очень переживал, когда проходили всякие внутренние перевыборы в местной ленинградской организации и в Москве на съездах композиторов, и когда ожидал звание... Он занимал высокие посты и тратил своё время и силы на «общественную работу»... Я пытался с ним спорить, мол, об этом сказано в Книге Книг у Эклезиаста, что «Всё суета сует»... но он выслушивал меня только из вежливости... может быть, так и не сумел он изжить

в себе обиду за те годы, что у него украли, и хотел зачем-то доказать, кому (?), что вот он какой! — Не берусь утверждать... В нём была такая детская увлечённость и чистота, что я диву давался, как он сберёг это, пройдя через тяготы своей жизни. А он брался за любую работу с радостью, как бы романтично, возвышенно — делал переложения своих песен для вокальных ансамблей, создавал школу джазовой игры, преподавал, руководил оркестром... Когда всё развалилось в пылу перестройки: и радио, и телевидение, и издательства, всё равно сочинял, профессорствовал в Ленинграде, преобразившемся в Петербург...

И ещё его всегда тянуло к крупной форме, к театральности, кино, цирку... он с удовольствием писал целые программы для Медвежьего цирка Валентина Филатова, с которым дружил. И эти прославленные дрессировщики выступали с музыкой Олега Хромушина на аренах всего мира...

Жаль, что многое из сделанного не сохранилось... Почему-то ещё в доперестроечном Ленинграде после нескольких показов по телевидению стёрли детский спектакль-мюзикл по русской сказке «Пойди туда, не знаю куда», для которого мы написали песни! На телестудии объяснили, что срочно нужна была дефицитная импортная плёнка... какое враньё и глупость! Пропали песни к спектаклю в Магнитогорске, затерялись песни к спектаклю в Саранске... трудно даже объяснить, почему так случилось, но у авторов не всегда доходили руки, чтобы сбечечь, опубликовать, сохранить запись...

Не всегда так бывало, случались и удачи: отдельной пластинкой вышел музыкальный спектакль театра кукол-марионеток в Ленинграде «Мы спешим», записали на пластинку все песни спектакля «Сказки Дядюшки Римуса» актёры того же театра... И здесь надо сказать об одной уникальной работе композитора Олега Хромушина.

Когда началась перестройка, появилась возможность открывать новые театры, я принимал самое активное участие в создании нового коллектива — театра «Опера кукол», которым руководил режиссёр В. Лопухин, а я несколько лет служил в нём завлитом. Театр открылся 1 июня 1989 года, помещался в Петербурге, в Таврическом саду. Теперь мы чаще виделись с Олегом в его городе — «Красная стрела» чуть ли не

еженедельно катала меня между двумя столицами... Тогда и предложил я: «Вась, а что если нам сделать для нашего театра «Сказки Дядюшки Римуса»? Взять за основу песни из спектакля и...» Идея проросла быстро и оказалась такой захватывающей для Хромушина, что партитура рождалась параллельно с клавиром! Джазовая опера — так обозначил жанр сам композитор. Но страшное безденежье настолько обескураживало, что казалось работа сделана впустую. В театре не было оркестра, артисты-кукловоды работали под фонограмму. Так было задуманно. Но где же записать новую партитуру? С каким оркестром, в какой студии, на какой площадке?

Ещё существовал Советский Союз, ещё функционировала Всесоюзная студия грамзаписи «Мелодия», а там в плане стояла уникальная работа: «Альбом для детей и юношества» Роберта Шумана в переложении для хора Эдуарда Леонова с моими оригинальными стихами. Это была не первая моя работа такого рода. Я горжусь тем, что когда-то уговорил профессора Владислава Соколова переложить для хора фортепианные пьесы «Идиллии Новой Англии» Э. Мак-Доуэлла, потом мы с Э. Леоновым сделали сборник «Избранные лирические пьесы» Эдварда Грига, тоже переложение с фортепиано для хора...

И вот теперь хоровую партитуру преобразованных пьес Шумана должен был записать «Хор мальчиков Хорового училища», где художественным руководителем был Виктор Попов... Но план планом, а запись переносилась из года в год... Хор был занят другими произведениями... Теперь же, в новые времена, грозили просто выбросить из плана эту работу... Тогда я пошёл к Ирине Михайловне Якушенко, моему многолетнему редактору на студии, и упросил заменить упомянутый цикл хоров на оперу Хромушина, при этом обещал, что всё обеспечу сам: и оркестр, и солистов, и артистов, и дирижёра...

Запись этой уникальной работы стоит отдельного рассказа, и о ней в другой раз, но обязан упомянуть имена главных участников: Леон Давидович Елецкий, собиравший музыкантов из разных оркестров и концов Москвы, дирижёр и замечательный пианист, соло которого звучат в фонограмме, Борис Фрумкин, дирижёр Дмитрий Атовмян, звукорежиссёр — виртуоз своего дела Андрей Ветр, драматические артисты московских теат-

ров и главный из них на этой записи, потому что исполнял сразу две основных партии: Братца Медведя и Братца Кролика — Всеволод Абдулов.

Я пропадал в студии в Москве на улице Станкевича, в «кирхе» несколько месяцев пока тянулась работа, Хромушин наезжал несколько раз из Питера... не мог же он ради записи переселиться в столицу! Пластинка так никогда и не вышла: кончался 1991 год, а в 92-м, как известно, кончилось государство, которому принадлежала студия «Мелодия», но... мы успели сделать копию с фонограммы, и спектакль в театре шёл под неё с большим успехом... потом появилась кассета с этой записью... к сожалению, малым тиражом... и всё...

Композитор очень гордился этим сочинением, и лучший ему памятник — издать эту партитуру... Как это сделать?..

Что осталось от уникальной, я бы сказал, индустрии творчества для детей? Горькое пепелище. И созданное в прошлые годы находится под такой грудой обломков времени, что не представляю, как вернуть адресату, детям эти богатства...

О композиторе Хромушине писали. Немного. Но и это всё казённо и скучно сделано, а он был такой живой, оптимистичный, светящийся, располагающий к себе с первого момента открытостью, мягкостью, юмором...

Как же и чем выразить время, чтобы оно для тех, кто будет жить много позже, предстало в малоискажённом пространстве и ощущении? Запахом? Пожелтевшей фотографией? Поцарапанной видеоплёнкой? Модной потрёпанной книгой? Песней... скорее всего, песней...

Да, Олег Хромушин писал песни, которые пели пионеры, потому что других детей в то время не было — все поголовно в стране дети были пионерами! И сегодняшняя презрительная мина к творцу той детской песни не вызывает ничего, кроме недоверия. И «Песня горна», которую мы написали одной из первых, была «в каждом ухе», она даже «из утюга звучала, когда его включали», как сказал один человек... Может быть, сегодня найдётся высокоумудрый «герой», который будет бить себя в грудь кулаком, доказывая, что ещё тогда знал, что будет так, как оно сейчас есть в России. Я зажму уши и отойду в сторону, потому что не верю! Потому что больно от этого и обидно!

Когда-то поэт Илья Френкель сказал мне, безусому юнцу: «Миша, печататься надо всюду! Тогда меньше места дуракам останется!»

Хромушин творил честно и открыто, и, как многие, видел и понимал, что творится вокруг, но не верил, что при его жизни что-то хоть чуть изменится... и не думал о том, что его труд способствует будущим переменам, он просто честно делал своё дело... Где найти праведника из бывшего СССР, который бы сказал сегодня, что всё это предвидел тогда, вчера, когда боролся с режимом... Именно потому и вызывают восхищение диссиденты, что они даже в безнадежной борьбе шли против монстра, который, казалось, будет вечно. Их было несколько. Они мудро и мужественно обогнули эпоху. Не всем быть героями. Быть честным в такие времена — это тоже немало!

Чем больше человеку дано, тем больше, особенно в конце жизни, он сожалеет о том, чего не успел совершить...

Я думаю о своём друге, человеке с нежной, детской, чрезвычайно ранимой душой... непростое, «неправильное» время ему досталось, но он-то так необходим был этому времени! Детям, людям, которые тогда жили! Природная доброта его всегда была не созерцательной, но активной. Он ни разу не отказался выступить, встретиться со слушателями, помочь кому-то... и никогда не ставил никаких условий! Очень придирчиво относился к стихам, либретто, с которыми должен был работать, но не мог грубо оттолкнуть никакого графомана, которые осаждали его, как и всякого известного композитора.

Он сочинял непрерывно, ему не нужны были ни тишина, ни отдельный кабинет с роялем, ни даже нотная бумага... У меня хранятся какие-то обрывки листов, которые он находил, тут же разлиновывал и наносил на такой кривоватый нотоносец свои чудные мелодии... Но при этом был он страшно азартным болельщиком футбола и хоккея! Когда его визиты в Москву совпадали с интересными матчами, мы сидели допоздна, а потом ещё спорили и переживали долго, прежде чем разойтись по комнатам... Он любил приезжать в наш дом, его появление всегда становилось праздником, две дочки обожали его, его шутки, его песни, его завораживающую игру на пианино с пристукиванием в ритм по крышке, притоптыванием,

имитацией голосом разных инструментов и различных «туру-ту-ру» губами — незабываемые спектакли! Его жареную картошку с «одесской» колбасой... и дачные прогулки в лес за грибами... и разные смешные истории и анекдоты...

Когда обвалилась привычная жизнь и многие растерялись, он пошёл преподавать, чтобы заработать... очень всю жизнь любил свою семью, жену Нелечку, дочку Алёну и беспокоился о них... Руководил оркестром, ведь это его любимое дело... учил джазовой науке студентов... радовался каждой возможности вновь обратиться к детям, записать что-то... Наши «Шесть песен» для детей появились на радио и в печати уже в пору всеобщего хаоса и глобального наступления на эфир непотребной попсы... «Считалка», «Умывалка», «Если б капли не дружили», «Синий иней»... — это хромушинский кристальный, чистый голос, настоящий на доброте...

Вдруг он позвонил мне, когда телефон уже молчал целыми днями, и каждый звонок был, как подарок: «Федь, ты не грустишь? Я работаю, если нужны будут башли, скажи! Ладно?» Словечки из жаргона «лабухов» никогда не переводились у него, может, потому что он хорошо знал этот мир и очень уважал оркестрантов любых рангов! Чего стоит хотя бы, что Юрий Васильевич Силантьев, который никому не уступал места дирижёра на записях, сам предлагал Олегу Хромушину несколько раз дирижировать своими произведениями, и оркестранты после каждого записанного номера в знак высшей похвалы приветственно стучали кончиками смычков по пюпитрам!..

Тридцать лет мы дружили и всё никак не могли привыкнуть к нашей дружбе... «Ты как себя чувствуешь? — звонил я ему, зная о его «сердечных» неладах, и он страшно сердился: «Отлично себя чувствую! Какого чёрта! Отлично!» Он никогда не болел, разве насморк схватит... и даже во время последней серьёзной болезни не хотел, чтобы кто-то знал о его недомоганиях...

Когда умер Ваню Мурадели, на сердце его нашли застарелый рубец времён цековского постановления «О формализме в музыке и опере «Великая дружба». В те же годы и Олегу Николаевичу Хромушину нанесли незаслуженную глубокую рану... может быть, именно она и оказалась смертельной...

«ВСЁ СНАЧАЛА И ПО РУКЕ!..»

(реплика дирижера)

Вы никогда не бывали в квартире дирижёра... известного, популярного, любимого? Давайте вместе войдем... Может, немного неловко без разрешения... да не у кого уже спросить... хозяина нет... квартира уже не та... Из нее бы музей сделать или такое место, куда приводить жаждущих стать дирижёрами, чтобы они поняли что-то главное, необходимое для этой профессии — нет, образа жизни... Собственно говоря, так и было, пока хозяин был жив... А мы всё же войдём... ведь эта квартира в памяти... а туда... туда войти можно, я впускаю вас в квартиру Владислава Геннадиевича Соколова, сохранившуюся в моей памяти... квартиру, которую я любил, знал, часто в ней бывал и часами работал с её хозяином...

Дверь всегда открыта... ручку вниз — входи... звякнули колокольчики:

— Кто там? — а чаще по имени, потому что визит предврен звонком: — Миша, вы?

— Как себя чувствуете, Владислав Геннадиевич? — это вместо «здравствуйте»...

— Слушайте! Вы меня замучили!.. Нет, совершенно серьезно... Это что ж такое... Я уже который день, понимаете, не могу оторваться... Вот давайте садитесь, послушайте... Да вы эти книги пока на пол положите тут, рядом с роялем, это мне заказ принесли, я ещё не успел разобрать... — в этой маленькой комнате, сразу за прихожей, главенствует рояль, а его со всех сторон охраняют книги: на его крышке, на стеллажах, на письменном столе у окна и на полу под ним, под роялем, — книги и ноты... сборники, партитуры, клавиры, листы исписанной нотной бумаги... И на кушетке книги, но я как-то устраиваюсь на краешке, благо комплектация позволяет, а когда Владислав Геннадиевич начинает играть, конечно, встаю, полшага — и я у рояля, и можно чуть придвинуться к клавиатуре, к самому Соколову и смотреть на испещрённый нотами лист на пюпитре...

Мы работаем... пишем хоры... я — стихи, потом Соколов — музыку, и он не может оторваться, и даже немножко всерьез сердится...

— Ну вот, послушайте... — и в который раз... на все голоса и подголоски... Он мне уже по телефону это пел раз пять. Вчера в полночь тоже, а сейчас утро... Видно несколько кремлевских башен... тихо... снег... чисто в Москве... даже крыши чистые... и часы на его столе, поразившие меня на всю жизнь... невиданные тогда, привезенные из Швейцарии, где он был проездом из Парижа, когда возвращался после конкурса на котором выступал с детским хором... Всех командировочных только на часы и хватило... Вернее сказать, не хватило, да хозяин магазина увидел через витринное окно, с каким интересом человек на улице рассматривает эти часы с колесом на проволочке, которое полоборота влево, а потом полоборота вправо... и так неспешно, равномерно... успокаивающе, — увидел и зазвал в магазин и, можно сказать, подарил, потому что много уж очень уступил в цене, чтобы у джентельмена хватило... командировочных... у Народного артиста СССР и при всех регалиях... Так было...

— Ох, Владислав Геннадиевич, если бы был я вором, забрался бы к вам и стащил, знаете что?

— Библию с иллюстрациями Доре?! — гадают Соколов.

— Нет! — смеюсь я. — Часы!

— Правда, замечательные? — он радуется совершенно по-детски... Устав, мы переходим в другую комнату и погружаемся в старинные кресла, а я как раз против книжного шкафа до потолка и во всю стену... А в нем... О! Это уж целый клад: от Буссенера до Фолкнера, от Державина до Пастернака, от Купера до Бредбери... А чего там могло не быть? Это же еще батюшка Владислава Геннадиевича собирал, Геннадий Яковлевич Соколов, главный настоятель собора в городе Рыбинске... то что удалось спасти во времена страстей дьявольских... Почитать «на вынос» хозяин не дает, здесь — пожалуйста... но мне исключение... Первая книга, которую я получил из этой библиотеки, — «Житие преподобного протопопы Аввакума...»

— Послушайте, а откуда вы Библию-то знаете? — он когда говорит на религиозные темы, начинает по-волжски окать — это из детства, слова все оттуда, сам оттуда, с Волги, ярославский... И матушка кончала епархиальное, и отец учился в Синодалке на улице Большая Никитская в Москве, а потом сын, то есть

Владислав Соколов, в тех же зданиях консерваторских постигал музыку у людей, которые ещё отца учили... и так всё перемешалось... Александр Васильевич Александров, тот, что основал Ансамбль песни и пляски Красной Армии и музыку Гимна написал, а в то время — профессор консерватории и регент хора в Храме Христа Спасителя, вообще звал его не по имени и не фамилии, а просто — «отец», потому что в день знакомства спросил Владислава: «А Геннадий Соколов кто вам будет?» «Отец», — по-волжски ответил юноша Соколов, так и пошло... А вот и фотография на стене, весь хоровой цвет там — профессора и регенты различных московских хоров: Никольский, Чесноков, Данилин — ректор консерватории, Александров... Это его учителя...

— Знаете, у меня тут занятая книжка такая, — он в спальню, и я за ним... Ба, да и тут книги... на тумбочке у кровати и в шкафу... самые любимые... и ноты в толстенных томах, и Брокгауз и Эфрон... Чайковский «Литургия» и старый Пушкин с золотым обрезом... и опять фотографии... Он один тут, один живет... нет, не анахорет, да так вышло... И не нам перелистывать страницы его прошлого, хоть и писал я о нем книгу, исковерканную потом в угоду власти, видевшей крамолу даже в слове священник... Не в этом дело... Зачем мы сюда вошли?.. Я хочу понять, что, незамеченное, отличает квартиру дирижера от любой другой, да хоть моей, к примеру, у меня тоже книг много... очень... и нот... и пианино... и машинка пишущая, как у Соколова... разве что часов таких нет...

Когда он умер... неожиданно и нелепо... на поправку шел, на выписку... собирался я в тот день к нему, да остановил меня его ученик и мой соавтор Эдик Леонов — не ходи, мол, он завтра уже дома будет, а то суета перед выпиской, ну, чего мешаться... Не пошел... ах, ты, Боже мой, не пошел... Написал я несколько страничек в журнал... просили... и назвал «Его дорога»... не о смерти его, о жизни — вот она его дорога: от консерватории до дома в Брюсовском переулке, и последний путь из консерватории, где с ним прощались, до этой Малой церкви Вознесения, где бывал он часто — она напротив его окон, и где его отпели... Много людей мне потом звонили и благодарили за эти странички... а я всё думал, почему?.. Может, потому что я так был пропитан духом соколовской квартиры, что смог передать его в словах прощальных и горьких...

Мне как-то в жизни везло на девятнадцатый век. Знал я людей, соприкасавшихся с ним буквально запросто! Вот писатель

Арнольд Ильич Гессен, который в отрочестве целовал руку Анны Петровны Керн, той самой, Пушкинской!.. А вот певица Мария Владимировна, учившаяся у самого Мазетти, а вот старуха, помнящая Льва Толстого... Ну, всех не перечислить, хоть их и не так много... Рюрик Ивнев, Сергей Городецкий... А Соколов... он, мне кажется, тоже оттуда... из серебряного века... вот чем его квартира ароматна... Чтобы продирожить маленький хорик, он потратил не десять часов репетиций, а еще целую невидимую жизнь... И она, эта жизнь, широченная, наполненная интересом ко всему на свете, что есть творческого во всех областях, каким-то чудом умещается в этой квартире, всегда открытой для друзей, учеников, соавторов — для творчества...

Нет ли тут ошибки? Хоровой дирижер Владислав Соколов, профессор, заведующий кафедрой Московской консерватории, он разве еще и композитор, сочиняет хоры? Да. Много десятилетий не сочинял ничего. Обработки делал, переложения... а ведь кончил два курса как композитор. И я его расшевелил, взбудоражил, ну, грубо говоря, заставил... Да Бог с ней, со скромностью, нас так душили в советское время скромностью, что мы от нее просто усыхали и подыхали. На юбилейном банкете своём в ресторане «Прага» в большом зале человек на двести он, Владислав Геннадиевич Соколов, произнес специально в мою честь благодарственный тост: «...за то, что он сделал меня композитором!» Так он сказал. Я горжусь этим больше, чем любой наградой, хотя переборщил немного маэстро: я — только катализатор... но горжусь... А трудно это давалось... чего только эта квартира ни слышала пока мы работали... ой! Долгие часы! Много... ну, перерыв... э... и в туалете книги!..

Слишком влюбленно звучат все эти строки?! Я понимаю — немножко странно читать?.. В него были влюблены все окружающие. Все. Без исключения. Красив он был! Хорош собой. Артистичен необыкновенно! И жест, какой жест! Ему, лично ему, влюбленно пел хор, а когда на аплодисменты он поворачивался к нему спиной, ему влюбленно аплодировал зал!

Вот она, фотография в полстены: он с поднятой рукой, и глазами даже показывает что-то альтам — в их сторону повернута голова!..

— Сейчас ко мне студенты придут заниматься, — предупреждает Соколов, — а вы не уходите, если можете, мы потом еще разок... Ладно... по все буквам, слогам, там в одном месте хоро-

шо бы «у» на «а» заменить... наверху фа, не очень ууууудобно!.. — это мы работаем над сборником переложений для хора фортепианных пьес американского классика Эдуарда Мак-Доуэлла (по моей сумасшедшей, безумной затее здесь, в этой квартире, ему и заявленной — как сердился сначала Соколов! Называл меня истинно сумасшедшим — перекладывать такую сложную музыку на а`каппельный хор). Мне предстоит (да уже почти сделал всё) написать стихи на эту музыку — это трудно. Вот как... Да письмо его летнее ко мне вспоминается кусками:

«...Для успешного продолжения и осуществления нашей работы, так мне представляется, необходимо образное, выраженное в литературной поэтической форме претворение музыкального содержания этих чудесных новелл-поэм с учетом их метрического строения. Честно говоря, я представлял себе это ужасно трудным делом. И поэтому я с понятным трепетом душевным распечатывал сегодня ваше письмо...»

И еще:

«Итак начало хорошее, спасибо, порадовал. Продолжайте дальше. Правда, не думаете ли вы, что удачное это начало связано с соответствующей обстановкой, несомненно, что «Лаванда» и «Лес» хорошо сочинялись, раз перед вами сад, лес, чудное озеро. Обстановка подходящая... А что вы думаете делать при сочинении поэм на №№ 3 и 8, например? Для создания соответствующей обстановки и настроения, я, надеюсь, вы не будете дожидаться зимы и идти в Домский собор на богослужение?..»

— Отлично, — соглашаюсь подождать. — Конечно...

Теперь самое время покопаться в старых альбомах и коробках с фотографиями... их тут столько... и все в беспорядке... каждый проходящий сюда норовит получить автограф, а хозяин не умеет отказывать... Но мне нужны фотографии для работы... для книги собираю иллюстрации... Я ж ещё не знаю, как придётся биться с издательством и Комитетом по печати за каждое лицо... и какие будут выдумывать предлоги, чтобы не публиковать... начиная с магического и загадочного количества линий на миллиметр, которые почему-то какая-то машина ни за что не считает, до ветхости фона... а на самом-то деле то регент, то священник, то ряса, то крест... то...

А Соколов мне не помощник в борьбе... Я и не гадал, что так... Да не мне судить его поступки, слава Богу, что он уцелел в лихие годы и столько души своей отдал и детям, у него пев-

шим, и взрослым, и ученикам-дирижёрам... и друзьям... а по правде сказать, мне казалось всегда, что он жил без друзей — одиноко... знакомых — пруд пруди, товарищей много, друзей... будто не было, а может быть, не осталось... Вот тут, на полке, письма со всех концов земли, а тут — программки концертов, а тут — составленные им репертуарные сборники, а это афиши от Японии до Франции...

А часы мерно и мирно с полуоборота «кнок-ток... ток-кнок»... Он по-детски сердился, не умел быть грубым, злым — только огорчённым, расстроенным, печальным... И часто в этих стенах звучали его слова об одиночестве, но как-то отскакивали от них... рикошетили в каждого бывавшего здесь... А удивительно: никто в это не верил — он всегда был на людях и среди людей! Одиночество! Всем бы так... чтобы поверить в это, надо было прийти на концерт и послушать... Можно поддельно смеяться, когда не смешно, а вот страдать понарошку — не выйдет...

Полно, Владислав Геннадиевич, помните, как в Большом зале консерватории на хоровом концерте детские хоры сидели повсюду: и в партере, и в амфитеатрах, а на сцене был хор Гарика Струве, и пели они наши «Летние рифмы», а потом вы, как автор, «на бис» вынуждены были выйти на сцену и продирижировать свой хор. А потом сюрпризом для вас и для меня встали все хоры со всех сторон и запели «Летние рифмы» вместе, и мы вместе с вами стояли на сцене потрясенные и буквально плакали — вот она, эта фотография... на стене у стеллажа... А это Григорий Яковлевич Поляк, ваш друг, а вот Клавдий Птица, а вот и батюшка ваш в серебряной рамке — красавец с панагией... Сколько я бился потом, чтоб оставили в книге крест — не вышло... замазали... а он — вот он! Мы переиздадим книгу. И квартиру бы эту сохранить навсегда... с книгами, посетителями, друзьями, одиночеством... из нее бы музей сделать... да нынешней власти России наплевать... на все...

По Брюсовскому мимо церкви Вознесения до Никитской и через нее в Малый зал консерватории, где у входа доска с золотыми буквами — вот ваша фамилия среди окончивших с золотой медалью... славные у вас соседи... Значит, вот где ещё кончается ваша квартира! А звучите-то вы по всей России — вот она какая, квартира ваша... Только жалко, что вы так надолго отлучились...

ТЕЗКА

У меня весьма сложные отношения с памятью. С собственной, конечно. С годами стало совершенно очевидно её довлеющее влияние на всю мою жизнь. Порой она настолько настойчива и деспотична, что невозможно противиться её желаниям, порой она настолько услужлива и творчески активна, что не успеваешь за ней, но зато и щедрости её нет предела.

Совершенно необходимое отступление в самом начале размышлизма о человеке столь, необыкновенном, удивительном, неординарном, выдающемся и прочая и прочая, выражаясь высоким и архаичным стилем, что отступаю от собственного правила: не приводить никаких званий и титулов тех, о ком пишу, ибо отношусь с откровенным презрением к этой словесной шелухе, навешиваемой на людей властителями эпох. Ведь вы согласитесь со мной, что ни Пушкин, ни Толстой не нуждаются ни в каких присвоенных титулах, впрочем, как Булгаков, Мандельштам, Ахматова, Пастернак... многоточие не бесконечно, но весьма продолжительно. Имя каждого из них — высшее звание!

Итак. Отступаю от собственного правила и привожу все титулы (какие смог найти) Михаила Александровича Марутаева.

МАРУТАЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, композитор, член Союза композиторов Москвы, Заслуженный деятель искусств России, академик Международной академии творчества, Международной академии наук и Национальной Академии социальных и интеллектуальных технологий, международный «Человек Года»: 1994, 1995, 1996, 1997 гг. (Международный биографический центр, Кембридж, Англия), 1995 г. «Почетным Дипломом Культуры» (Американский биографический институт).

Здесь надо перевести дыхание, чтобы оторваться от сухого, оскоминунабивающего абзаца и сообщить причину, по ко-

торой я пишу о столь титулованной персоне. Да мало ли ещё более титулованных на свете! Однако, во-первых, я привёл уже достаточно собственных эпитетов, его характеризующих, двумя абзацами выше, а, во-вторых, для меня он уже не одно десятилетие просто Миша Марутаев, или, по-домашнему, Мишель, тёзка. Кстати, эти уменьшительные позаимствовал я из общения с другим соватором и другом моим — Михаилом Зивом, чтобы, не дай Бог, не обвинили меня в плагиате какие-нибудь досужие музыковеды, знающие или помнящие этого замечательного композитора и его блестящее острословие и устные рассказы.

Как же мы познакомились с Михаилом Марутаевым? В середине шестидесятых? В конце? Сдаётся мне, что беспокойный и бескорыстный «селекционер» Ростислав Бойко свёл нас. А смысл был в том, чтобы написали мы для его детской редакции издательства «Советский композитор» что-нибудь: хоры, песни, цикл, музыкальную сказку...

Отчётливо помню один из наших первых разговоров с Марутаевым. Сообщил он мне ещё до личной встречи, по телефону, что времени у него нет, что занят он безумно какой-то статьёй, что песни писать не умеет, но... во-первых, Слава Бойко, а во-вторых — денег нет, и хорошо бы воспользоваться лестным предложением и что-нибудь напечатать!.. Э-гей! Неплохое начало знакомства... но что-то привлекло меня в звучащем неспешно и глуховато голосе... и имя Ростислава Григорьевича (Славы Бойко) для меня, как и для говорившего, очевидно, много значило...

И вот он у меня дома в московском Зюзино, исчезающей под новостройками очаровательной деревеньке, в хрущёвской пятиэтажке рядом с церковкой, в которой по преданию венчался Суворов. Тот самый, Александр Васильевич, будущий генералиссимус...

Марутаев сидит за пианино, всё время улыбается и поворачивает ко мне своё круглое с огромными армянскими глазами лицо, и играет, наигрывает, рассказывает... Мы пытаемся найти начало, отправную точку совместной работы... Вот темы из квартета, уже написанного, но мне неизвестного, а вот... «О! Послушайте! — вдруг осеняет композитора. —

А у меня есть маленькие пьесочки для фортепиано! Они специально написаны для детей, для учебных программ музыкальных школ! Вот послушайте...» — и он играет... одну, вторую, третью...

Тогда я и влюбился в его музыку! Тут же! С первого раза! Эх, жаль, что не могу напеть её вам сейчас, здесь, на этой странице!

Вы знаете, что такое рыба, читатель? Нет, нет, не та, что водится в водной среде, в реке и океане, да и не та, что лежит на прилавке, и вовсе не та, что радуется в аквариуме, а «рыба», именно в кавычках? Не знаете? Сообщаю: случайный набор слов безо всякого смысла, но точно совпадающих с музыкальным текстом, с музыкальным предложением и музыкальной фразой. А зачем это?

Изобретено специально композиторами и поэтами для того, чтобы автор текста, необученный нотной грамоте, мог написать стихи эквилибрично уже готовой сочинённой музыке. Это термин профессиональный, не знаю, кем и когда введённый в оборот.

Михаил Александрович, видя мою реакцию на его опусы, тут же одновременно со мной предлагает сделать из некоторых его пьес песенки! И мы оба очень рады, что эта мысль посетила нас одновременно, что желание обоюдное, поскольку часто это залог удачи.

«Рыбу» я не использую в жизни, люблю только ту, что без кавычек. Композитор пишет мне нотную строчку, мы становимся соавторами, просто Мишами, тёзками... и на многие годы.

Зачем я описываю эту «кухню»?

Да, первая же таким образом появившаяся песенка стала очень популярной у детей благодаря удачной записи на Радио и тому, что попала в программы музыкального воспитания детских садов.

Может, кто-то из вас тоже помнит «Счастливый день», там были такие строчки:

Солнце целый день трудилось,
Утомилось, закатилось,
Неба кромку лентой алой
На прощанье повязало.

Встало солнце,
Потянулось,
Всем на свете
Улыбнулось,
Всех из дома
Поманило,
Обогрело
И умыло.

Стрелка быстрая
Минутная
Вращается,
Пусть подольше
День счастливый
Не кончается.

Никто потом — ни редакторы, ни исполнители не верили, что стихи написаны на готовую музыку, а я считал причиной этой удачи замечательную, прозрачную, добрую мелодию...

И вскоре благодаря своему любопытству, а ещё и встречному желанию композитора, испытывавшего недостаток в слушателях, которые могли бы понять и оценить его изобретение, я был посвящён в главное, что составляло его жизнь. Когда он узнал, что я «технарь» по образованию, да ещё и кандидат наук, он без обиняков, устроившись за роялем уже у себя дома, буквально ошеломил меня.

— Знаешь, что такое ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ?

— Знаю! — я совершенно не понимаю для чего это композитору — что я сочинять лучше стану, что ли?

— Всё равно я тебе повторю, — говорит Мишель. — Это деление отрезка на две части таким образом, что большая его часть относится к меньшей так, как весь отрезок — к большей части. — Я подтверждаю, совершенно не понимая к чему это, а он продолжает: — Значит, примерно это пропорция: $5/3$, а точнее — $8/5$, а ещё точнее — $13/8$, ну, и так далее.

— И что же, ты это открыл? — начинаю потихоньку ехидничать я. — Это ещё древние знали! эвклиды и пифагоры вместе с да Винчами...

— Верно! Замечательно! — соглашается Михаил Александрович, вежливо пропуская мои дерзкие реплики. — А вот если взять классиков, музыкальных классиков, ну, Бетховена, например, а хочешь из близких — Прокофьева, то получается, что различные части их произведений в соотношениях тактов подчиняются золотому сечению! — и он играет мне один пример за другим, и мы не замечаем времени, и я совершенно потрясён тем, что услышал и увидел сейчас, и совершенно не наивно повторяются во мне гениальные строки любимого поэта:

...Преодоле
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный
Предаться неге творческой мечты.

И я уже вслух произношу глобально пророческие строки великого Пушкина. Марутаев слушает и, словно только что сейчас понятый им, преподносит мне универсальный закон мира:

— Вот, вот... я вывел простую формулу, с помощью которой любую пропорцию в любой области творчества легко проверить «на золото» — имеет ли она отношение к гармонии или нет... Это целое семейство чисел! Это качественная симметрия мира...

Рассказы Марутаева об этом открытии переносили меня в мир фантастический, мистический, ирреальный, в котором красота и суть существования подчинены одному универсальному закону соотношения чисел. Закону совершенно реальному и всеобъемлющему — от пропорции сторон листа писчей бумаги до расположения звёзд и планет Галактик! Огненно высвечивалась магическая цифра 137, а сам учёный превра-

щался в Гудвина «великого и ужасного», и персонажами его сказки становились все живые существа и неживые предметы — мыслимые и немыслимые, известные и ещё неизвестные... и так элементарно просто отодвигались куда-то и вовсе исчезали неприятности только что окружавшей жизни, тупость оппонентов не только его, но и моих тоже, злобность, агрессивность окружающей среды, и я понимал, почему, кроме всего прочего, так дорога ему атмосфера, которую он сам нашёл и в неё окунулся: здесь он легче дышал и чувствовал себя самым собой! Был самым собой! И я всед за ним на короткое время мог вырваться из мира, где испытывешь внешнее сокрушающее давление каждую секунду, каждый миг, где каждый шаг, особенно непривычный окружающим — опасность... подчас роковая...

Не стану больше утомлять читателя сутью открытия. Просто прошу вас вспомнить или представить ту серую застойную пору советской жизни, когда власть именно на то и направляла все свои усилия, чтобы выкрасить всех в один цвет, постричь под одну гребёнку, поставить всех по ранжиру с бирками на шее, и чем ближе было бы общество к такому советскому идеалу, тем проще, а главное спокойнее было бы касте главарей жить и править зависимыми укороченными рабами.

Михаил Александрович никак не вписывался в этот алгоритм жизни. Не потому что был борцом, диссидентом, карьеристом, да нет же! Он был настолько погружён в свою ответственную титаническую работу, что просто игнорировал попытки «построить» его! Косые взгляды зависливых коллег? — Наплевать! А ведь завидовали, и как, да не открытию его даже, с которым познакомиться было трудно, ибо опубликовать свои статьи ему стоило великих трудов! Их посылали на рецензии не абы кому, а послушным шестёркам без своего мнения, их кромсали и резали, их перекладывали из номера в номер журналов... мотивируя весьма иезуитски: музыкальные издания — тем, что это сплошная математика и не по их ведомству, а математические издания тем, что автор не математик, и вообще речь-то о музыке! Как просто! Партийная власть защищала своё невежество мастерски и неприкрыто! Зачем цековским кураторам чувствовать себя митрофанушками — проще «не пу-

щать», — и всё тут! Нет козырей? — Бей по лицу! Не хочется употреблять другого слова...

Должен честно сказать, что и я говорил своему тёзке: «Послушай, ты ведь талантливый композитор, а не только учёный! Тебе сочинять надо! Обязательно! Может, ты ошибку совершаешь? Пусть другие поверяют твои сочинения на принадлежность к классике, к золотому сечению, золотой пропорции! Мишель! Время, время уходит... время... а ты на землю пришёл, чтобы сочинять музыку! Зарывать свой талант — грех великий!..» Я и сегодня не знаю, прав ли был тогда! Рано или поздно, но миру открылись бы истины вытянутые из бытия Михаилом Марутаевым. Они объективно существовали в мире — Марутаев открыл их людям. Музыку же, которую он не написал, — никто никогда не услышит! Человечество и так слишком много теряет по вине злодеев и тиранов — дуэли, казни, преследования, войны вырывают из жизни творцов. Конечно, жизнь их не скольжение по гладкому катку, они всегда карабкаются в гору под камнепадами и лавинами... тем обиднее, что неведомо сколь много прекрасных опусов не появилось на свет, принесенных в жертву композитором Марутаевым, ученому Марутаеву.

Но!.. Победителей, как известно, не судят... а то, что Михаил Марутаев и в науке, и в музыке победитель — совершенно определённо!..

А мои сомнения... что ж — они со мной и останутся. Они весьма субъективные, слава Богу. Много было уже в нашей жизни кровавых формул типа «выражая общее мнение трудящихся»... не забыли? А для меня Михаил Александрович Марутаев прежде всего композитор. Два его квартета, особенно потрясающий первый, стали моими любимыми сочинениями, как квартеты Гайдна и Шостаковича, его мелодический дар был таким щедрым, что рассыпал запоминающиеся «на раз» мелодии и в инструментальных, и в хоровых сочинениях... А имя... да правду сказать, знали его только профессионалы, несмотря на то, что малочисленные опусы Михаила Марутаева звучали и в концертах, и на радио, и издавались неоднократно. Но музыка существовала как бы отдельно от автора, его выпестованная теория пробивалась с великим трудом сквозь советскую трясику. Вовсе не обязательно приводить

подробности. Они были стандартными для всех истинных творцов того времени, живших на отгороженной от мира шестой его части. Все это хорошо знают...

Так почему же так было?

Ну, я опять отступлю от своего правила и приведу хоть неполный список его сочинений, хотя оговорюсь, что убеждён: количество ничего не доказывает, и графоман всегда плодovie-нее Мастера! Но всё же, им созданы: оратория «Героическая Русь» (1980) в девяти частях для солистов, хора и симфонического оркестра; кантата «Слово матери» (1954) в четырех частях для меццо-сопрано, хора и симфонического оркестра; три струнных квартета (1952, 1957, 1982); симфония в четырех частях (2003); Сонатина для фортепиано (1953), сонаты для фортепиано, для скрипки и фортепиано, прелюдии, романсы, а также музыка для детей, к театральным, радио- и телепостановкам, музыка для кино (более двадцати фильмов).

Его музыка исполнялась многими выдающимися артистами, дирижёрами, коллективами, квартетами имени Прокофьева, Бородина, Комитаса, Римского-Корсакова. Ее играли и играют поголовно дети в музыкальных школах и училищах огромной страны, вырастают на его произведениях.

Но сегодня они редко звучат в больших концертных залах.

Здесь хочу упомянуть ещё одного исполнителя Вячеслава Марутаева... — сына композитора, замечательного тенора, Заслуженного артиста России, солиста Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Теперь же, чтобы читатель не обвинил меня в пристрастном субъективизме и дружеском куковании, чтобы ему не пришлось верить мне, дилетанту, в этих сложных вопросах, на слово, приведу одну цитату.

Доктор философских и кандидат физико-математических наук В. М. Петров так оценивает научные результаты Михаила Марутаева: «Ему пришлось прочитать труды Платона и Аристотеля, Канта и Гегеля, Ньютона, Эйнштейна, Планка и Фейнмана, работы по астрономии, химии и генетике... И он построил свою собственную систему — «Числовую Гармонию Вселенной»... Ему удалось открыть новые числовые законы, в свете которых появилась целая панорама совершенно новых экспериментальных

фактов... Михаил Александрович приводит множество иллюстраций — свидетельство поразительной близости эмпирической реальности к результатам его теоретических предсказаний».

Вот так. Числовые ряды выявленных им законов гармонии с впечатляющей точностью проявляются в музыкальном звуко-ряде, в расположении элементов в таблице Менделеева, расположении планет, спектре масс элементарных частиц, в биологии, генетике, физике, математике, а также в музыкальных произведениях — у Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича — и в других областях. Его научные труды были представлены на отечественных и международных симпозиумах и опубликованы теперь во многих солидных журналах и издательствах... Трудно представить, настолько широки границы его теории, ради которой, я совершенно убеждён, он пожертвовал многими не родившимися сочинениями..

Ну, что, мой дорогой читатель, впечатляет?

Или вам трудно представить переживания и муки автора открытия, принятого ныне всем миром?!

Живёт Марутаев, как всегда неспешно, самым своим творчеством опровергая мнение, что век энциклопедистов давно закончился. Очень хочется спросить Михаила Александровича, а не может ли он на основе своего открытия найти золотое сечение человеческой истории? Для чего? Цивилизация не сделала человека более счастливым, может, человечество найдёт что-то важное (и утерянное потом) в ту пору, когда оно было более благополучным, спокойным, надёжным... или такого никогда не было? К кому же ещё обратиться с этим вопросом, как не к философу, учёному, творцу музыки (или переставьте всё местами — не знаю, что важнее для него) — к кому же, если не к Михаилу Марутаеву!?

Вы думаете, теперь, когда признание пришло к нему, он переменился? Стал жить, мягко говоря, зажиточнее, в особняке и передвигается в лимузине? Или новая власть так высоко оценила его работу, что заботится и о его быте, и об издании, например, полного собрания сочинений — ведь он уже далеко не молодой человек? Ну, да, да, вы догадались, что это вопросы риторические...

Сообщаю вам безо всякого секрета: и номер его квартиры в Москве на Студенческой улице тот же самый, что сорок с лишним лет назад, и телефон тоже не изменился... Хотите позвонить, поговорить с гениальным человеком? Простите, не могу без его позволения дать номер телефона... Но я позвоню ему на днях и узнаю... Обязательно. Обещаю...

«РАЗВЕДЧИК МОЖЕТ ВЕК МОЛЧАТЬ»

Высокое и низкое всегда рядом. Может быть, разность потенциалов этих уровней — одна из движущих сил жизни, развития общества...

Мысль написать размышлизм как-то сразу возникла у меня, когда я прочёл две строчки, задевшие душу... Строчки, я бы сказал, классически графоманские, пародийные... и не выловленные из очередной подборки «стихов» (в кавычках, потому что это были лишь расположенные столбиком строки и не больше). Рядом с ними и остальные строчки того же толка, и много! А эти задели...

Я сижу, пером шуршу,
Для детей стихи пишу...

Так мне жаль детей стало, коим уши и глаза этот графоман забивать станет своим мусором... Сам я в цеху детской литературы не один десяток лет, и не один десяток книг издал для них... для детей! Может, поэтому обидно очень стало!..

Но, видно, и от графомана польза есть! Неожиданно это откровение очень уж «деловито» напомнило мне философское достижение другого стихотворца-мыслителя самого-самого начала 60-х годов прошлого века:

Зачем рогами обладать,
Если некого бодать!

А дальше потянулась цепочка...

Господин Графоман господствовал и тогда в редакционной почте... назывались эти бесчисленные опусы — самотёк, а мне

довелось сидеть в «Комсомолке» и читать мешки писем, присланных в редакцию по случаю поэтического конкурса, объявленного газетой. Мешки были почтовые из коричневой плотной бумаги, метровой высоты — по пояс человеку. Они стояли, как могучие пни, у редакционной двери. Поднять их было невозможно — тяжелы больно! Приходилось волоком втаскивать в комнату почту, выгребать содержимое на столы и...

Заведовал отделом литературы в газете Константин Щербаков, сын небезызвестного члена Политбюро, именем которого после его кончины был поименован чудный город Рыбинск... любили портретные «висельники» свои имена увековечивать! При Хрущёве город из Щербакова стал снова Рыбинском, через два десятка лет по имени ещё одного коммунистического монстра — Андроповом и, наконец, снова... Рыбинском... уже во времена перестройки.

Константин Щербаков (сын) был человеком образованным, эрудированным и защищённым фамилией, но подловили его графоманы ловко: прислали под видом своей рукописи стихи совсем раннего, неизвестного Маяковского, а он возьми да и подмахни (не читая, разумеется) ответ (получается великому пролетарскому поэту) стандартный, конечно, и заготовленный в тысячах экземпляров! Мол, вам, уважаемый товарищ, надо больше читать художественной литературы, набираться знаний, исправлять свой вкус и создавать более совершенные произведения, чтобы попасть на полосы уважаемой газеты... Ну, и пошёл скандал — Маяковский всё же!

Оправдывался, извинялся заведомо и перед читателями и, главное, перед начальством: «Поймите, нет возможности прочитать все письма, сотрудников не хватает! — А зачем конкурс объявлял? — Дак, сами же приказали продемонстрировать свободу творчества в нашей стране и выявить новые скрытые таланты! — Так ты ещё и нас обвинять, с больной головы на здоровую переваливать!..» — Начальство этого не терпело!.. Короче говоря, получил Щербаков по шапке и поручил сотруднику редакции, поэту Игорю Ринку создать ударную бригаду по разбору мешков с почтой, да так, чтобы не подвести начальство ещё раз!

Вот и попал я в «отделение сапёров» к этому интереснейшему человеку и поэту. Руководил он в то время литературным

объединением при Доме офицеров Советской Армии, а я ещё совсем молодой и зелёный посещал знаменитую «Магистраль» и пришёл туда по рекомендации двух замечательных писателей — Булата Окуджавы и Владимира Максимова. Как это произошло, и что есть «Магистраль», описано в одноимённом размышлизме, к которому и адресую читателя, но для стройности рассказа процитирую небольшой отрывок.

«...автор этих строк (не сочтите за нескромность — о себе всегда достовернее) в самом начале 60-х, когда делал самые первые, даже не шаги в литературе, а лишь поползновения опубликоваться, не придумал ничего лучше, как пойти со своими стихами в «Литературную газету». Абсолютная наивность и полное непонимание «что» и «как» происходит в мире советской литературы не оправдывают, но так было... В редакции газеты на Цветном бульваре на 4-м этаже абитуриенту сказали, что, если это первый раз, и вообще нигде не печатался, надо сначала показать свои «гениальные опусы» литконсультанту на 6-м этаже...

Я уже уходил, когда в спину мне прозвучал вопрос, направлявшей меня женщины: «Вы Окуджаву знаете?» Я пожал плечами, отрицательно мотнул головой, вспомнил Остапа Бендера на кинофабрике и поехал на 6-й. Там в обозначенной комнате сидели и сладко потягивали сигареты два молодых симпатичных человека. Они представились мне: Булат Окуджава и Владимир Максимов. Это мне ничего не говорило. А уж моя фамилия им — и подавно. Молодые люди почитали тут же мои стихи и дружно заявили:

— Это у нас, — они подчеркнули это слово — «у нас», но я ничего не понял, — не напечатают, ни за что не пропустят...

— А что делать? — поинтересовался наивный абитуриент.

— Вы Гришу Левина знаете? — спросил Окуджава.

— Нет, — утвердил я.

— А литературная среда у вас есть? Общение?

— Нет.

— А про «Магистраль» слышали?

— Нет, — ответы мои были однообразны, но искренни.

— Вот, вам к нему надо, в «Магистраль», к Григорию Михайловичу Левину. Поедете до площади Трёх вокзалов, в ЦДКЖ,

вход с переулка, занятия по воскресеньям и четвергам, и скажете, что вас Булат прислал — чтоб ему ясно было, а так не примет. Вам нужна литературная среда, уровень общения, — там, у Гриши, вы многое поймёте».

Далее на одном из выступлений «Магистрали» меня и перехватил поэт Игорь Августович Ринк... пригласил к себе о стихах поговорить, и о жизни... Постепенно я узнал, что он профессиональный разведчик, за голову которого во время войны командование Третьего Рейха назначило двести тысяч рейхсмарок! После того, как подорвал он, командир парашютно-диверсионной разведовательной группы, со своими бойцами артиллерийские склады в городе Кенигсберг... нынешний Калининград. Я сам прочёл в английской газете (за 1954 год) об этом... И писатель Сергей Сергеевич Смирнов рассказывал о Ринке по телевизору в большой передаче из знаменитого цикла «Подвиг», целиком посвящённой поэту. Он говорил, что подвиг сидящего рядом с ним перед камерой человека, равен подвигу Рихарда Зорге, но ещё не пришло время рассказать в подробностях о его фронтовой деятельности, она ещё не рассекречена, а на дворе был уже конец 60-х!

В 1944 году осколок пометил крупным шрамом лицо Ринка... он стал слишком узнаваем и воевал уже в артиллерийском полку. Жил после Победы в Ленинграде, где до войны учился на филфаке университета, стал профессиональным писателем, членом СП и затем вынужден был покинуть родной город. Из-за эпиграммы, автором которой был, или её приписали ему — не берусь судить, все говорят по-разному... А четыре строчки убийственные, если вспомнить, что первый, из упомянутых в ней, в то время Нобелевский Лауреат и официальный писатель Советского Союза, а второй — Первый секретарь Ленинградского отделения Союза писателей:

Михаил Александрович Шолохов
Для олухов несколько труден,
И поэтому пишет для олухов
Михаил Александрович Дудин.

Вот так!

Сам же Ринк ошеломил меня сразу своими стихами:

ДОМОЙ

Мне пулемёты били в спину,
Чертили трассы темноту.
Себя я чудом перекинул
Через нейтральную черту.

Но, обойдя врага заслоны,
Я позабыть не смел о том,
Что не свои на мне погоны,
Что я — в обличии чужом.

Там, в темноте, — немая пропасть
Своих траншей передовых;
Семь раз уже меняли пропуск,
С тех пор, как я ушёл от них.

Ещё я знаю, будет тугο
Не от немецкого огня,
Коль свой дозорный с перепуга
Запустит очередь в меня...

Тревожно скрипнул снег январский,
Как штык в лицо команда: «Стой!» —
И мне дарует жизнь по-царски
Сержант в ушанке со звездой.

Но всё же не без опасенья,
К спине приставив автомат,
Ведёт меня для выясненья
Неразговорчивый солдат.

Ему, как мне, наверно, — двадцать,
И жаль не поделиться с ним,
Что мне никак не надышаться
Свободы воздухом родным.

Даже среди огромной когорты великолепных поэтов-фронтовиков его голос не затерялся, и стихи поражали своей точностью, достоверностью и достоинством! Дух перехватывало от этих строк, от такой картины! Мурашки по спине, да и только!..

С детства двуязычный Игорь Ринк (его отец был эстонский немец) потому и ходил в тыл фашистов, что говорил на языке врага не только без акцента, но мог думать, писать, сочинять на нём! А мирную профессию филолога приспособил к... войне... носил офицерские погоны вермахта и своим фашистским «сослуживцам» цитировал Гете!..

У него и книжки с военными названиями: «Вторая разведка» и «Координаты»... их у меня две... Вот лежат они с дарственными надписями на титульных листах... 1963 год и 1971-й... трудно ему жилось... писалось... он всё был там... далеко... в войне... Как ни тривиально звучит, но душевные раны порой вовсе не заживают...

Даст генерал задание важное,
Его приказ — непогрешим.
Опять тебе путями вражьими
Бродить под именем чужим.

И далее...

На листья с дерева опавшие,
Метнётся рыжая заря,
Зачислят в без вести пропавшие
Тебя штабные писаря.

И всё пройдёт... и лишь у матери
Волос прибавится седых...
Но хоть дорога и не скатертью,
На этот раз вернёшься ты.

И строевое отделение
Опять отменит свой приказ,
Но ведь о смерти извещения
Домой приходят раньше нас.

У генерала сердце — отчее,
А мысли холодны, как лёд...
Похвалит, водкою попотчует
И тут же в Пруссию пошлёт.

Жил Игорь Ринк в Москве в тихом Вспольном переулке, в доме, где находилась знаменитая квартира Евдоксии Федоровны Никитиной, продолжавшей после смерти мужа Никитинские встречи по средам с ещё дореволюционных времён! Я попал туда опять же благодаря «Магистралу» и её руководителю поэту Григорию Михайловичу Левину и удостоился чести познакомиться с Сергеем Городецким, Юриком Ивневым, Александром Квятковским да и многими другими легендарными людьми, чудом уцелевшими, проскочившими кровавое коммунистическое сито. Это, по сути, была квартира-музей. Посещать заседания-встречи там оказалось великим счастьем! Такие неповторимые творческие университеты проходил я в этом доме старой Москвы — «мои университеты»...

А ещё я приходил в этот дом к близкому человеку, ставшему другом, Игорю Августовичу Ринку, читать стихи. Да не свои. Поэтов, которых советская власть росчерком пера вычеркнула из мировой литературы и истории... изъяла из магазинов, библиотек... даже в Ленинке их не выдавали... Ринк доставал мне из второго ряда, запустив руку за тома Маяковского, Редьярда Киплинга, Игоря Северянина, Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву... и домой книжки не давал, а усаживал на диване и приносил, что выпить и чем закусить... И ещё приходил я к нему слушать... цыганские песни в его виртуозном исполнении под собственный аккомпанимент чудесной шестиструнной (редкой в то время в Москве) гитары! Говорил Игорь Августович, что выучился этому искусству у таборных цыган, с которыми бродил по свету... и лишь однажды довелось мне видеть его выступление в таком качестве по телевизору в уже упомянутой передаче писателя Сергея Сергеевича Смирнова...

К слову сказать, в те годы Игорь Августович чуть было круто не изменил мою судьбу.

Дело в том, что «Комсомолка» решила привлечь в свой журналистский цех людей пишущих, но разных профессий, и Ринк порекомендовал меня, как владеющего пером и в то время начина-

ющего учёного, инженера, блестящему журналисту Дмитрию Биленкину, возглавлявшему отдел науки в газете... Нас, несколько человек, собрали в редакционной комнате и всем предложили режим «наибольшего благоприятствования», как теперь говорят: командировки, свободу выбора тем и полосы газеты для удачных статей, репортажей, интервью... Из согласившихся потом выделился Ярослав Голованов, ставший одним из ведущих журналистов не только в газете и, насколько знаю, сменивший потом безвременно ушедшего из жизни Биленкина в «Комсомолке»...

Я долго раздумывал... и... отказался. Виной тому, в частности, был и сам Игорь Ринк. Конечно, хотелось печататься (хотя я не очень верил всем посулам, особенно насчёт свободы), но это дело обещало неплохой заработок, а нам было по двадцать пять—двадцать семь всего! — вся жизнь компромиссы... Но мне уже тогда казалось, что за каждым настоящим стихотворением значительно больше событий, что нет глубины, сравнимой со стихами, что нет ничего рукотворного, в чём концентрация эмоций была бы столь высока и значительна... И всё это понимание и знание приходило ко мне лишь из одного источника: из самих стихов! Я не мог от них оторваться, отказаться, поступиться ими ради чего бы то ни было... это значило даже, как мне казалось, — изменить им!

Кстати, потом в жизни мне много раз предлагали писать на научные темы... особенно для детей. (Одну такую книжку «Зима на колёсах» я всё же написал и выпустил в издательстве «Детская литература»). Маршаковская традиция поиска «бывалых людей» существовала, пока перестройка не разрушила много хорошего и наработанного десятилетиями — в том числе, и традиции, и редакторский, и писательский цеха детской литературы.

Отказаться от такого лестного предложения было совсем нелегко. Да ещё и главный редактор «Комсомолки» именно в те дни отказался публиковать подборку моих стихов, отобранных редакцией, с предисловием Игоря Ринка. Довод его был прост и неопровержим, дословно: «Эти стихи не для четырёх миллионов читателей «Комсомольской правды». Имени этого «знатока» не называю, но он был по-своему прав: не совмещались мои стихи с социалистической действительностью — не про то писал... А про «железки» писать не согласился... видно, предчувствовал,

что и там не совпадут наши интересы: мои и «коммунистического советского рая».

Сегодня появилось много охотников до разоблачений... так случается в смутные времена с людьми, которые приверженны славе Герострата. Ничтожные люди ставят под сомнение всё — Победу, холокост, страдания людей, их подвиги и жертвы... и... стихи!.. Бог им судья! Недобрые дела всегда «вознаграждаются». Народная мудрость гласит: «Бог шельму метит». Я не биограф Игоря Ринка и не исследователь его творчества... просто много лет живу в литературе и верю в стихи, и служу им по мере сил и способностей, отпущенных Всевышним! Но никто не может убедить меня, профессионального литератора, что такие вот строфы могут быть мистификацией — не прочувствовав и не пережив этого, так, как Ринк, не напишешь!

А. П. Михайловой

За окном санбатовской палатки
Снежная крутилась карусель...
Медсестра сняла с меня перчатки
И заledenелую шинель.

А у койки санитар усатый
Показал — располагайся тут,
И добавил, что меня десятым
Вынимать осколки понесут.

Рвались мины, где-то очень близко.
То ль осколков, то ли ветра вой...
Раненая бредила радистка
Номерами почты полевой...

Или вот так...

Давно чужие имена
Сданы в архивы на хранение,
Но шагом шефа вдруг война
Ворвётся в наши сновиденья,

Доклада требуя опять
За каждый час, который прожит, —
Разведчик может век молчать,
Но позабыть — ни дня не может.

И мне кажется, что тот, кто прочёл такие стихи и проникся, уже никогда не сможет отстраниться от них, вольно или невольно будет сверять любое своё слово с ними, и не ронять своего человеческого достоинства кропанием пустых строчек ради поэтики или услаждения гипертрофированного тщеславия...

Родился Ринк в 1924-м. На войну ушёл в 1941-м. Как это было, описал ещё один замечательный поэт, Николай Васильевич Панченко, которого очень люблю и с которым дружу со времён с тех самых, «магистральских» лет. Приведу его строки здесь:

Мы свалились под крайними хатами —
малолетки с пушкой над губой.
Нас колхозные бабы расхватывали
и кормили, как на убой...

А потом, подвывая, плакали,
провиантом снабжали впрок.
И начальнику в ноги падали,
чтобы нас, как детей, берёг.

1941 год

Это «мы» в строке включает и Ринка. Ему, как и Панченко в 1941-м было 17. Вот откуда растут настоящие стихи!!!

Тяжёлая работа — литература... Это не «пишу, пером шуршу» — это преодоление, оставляющее шрамы на душе, это Судьба, а не развлечение, когда «лёгкость в мыслях необыкновенная!»

Приходят даты. Празднуют юбилеи. Стихи остаются. Именно они — верстовые столбы истории. По ним, а не по дворцам и плотинам определяют прошедшие времена, потому что стихи не изнашиваются, не стареют и не разрушаются.

Стихи — навсегда.

УШАЦ, УШАЦ, УШАЦ...

— «Ушац первым начал!» Можешь так начать статью? — спросил собеседник.

— Могу!

Уважаемый читатель, вы знаете: УШАЦ — это «что» или «кто»? Я затрудняюсь ответить. Вот сидит рядом со мной Михаил Лазаревич Ушац — живой, симпатичный человек — архитектор, художник, график, театральный художник-постановщик, поэт и придумщик, мастер полиндрома и т.д. Но это вовсе не значит, что УШАЦ — это Ушац. УШАЦ — это явление совершенно необычное и не поддающееся краткому описанию, формулированию... Во всяком случае, мне, как, думаю, и многим, вернее, большинству людей, с таким встречаться, вроде, не приходилось.

На правах старого друга задаю своему тёзке откровенные и порой дерзкие вопросы, на которые он отвечает совершенно же откровенно и, главное, — спокойно.

— Миша, скажи, пожалуйста, это ты сам так сочинил, как человек обладающий уникальным чувством юмора и придумщик, чтобы позабавиться? Распускаешь анекдоты о себе.... вообще, всю эту легенду сочинил и распустил по свету...

— Я тебя сразу перебую: нет, нет, нет...

Собственно говоря, началось всё так. Юноша Миша Ушац приехал в Москву из эвакуации и поступил в архитектурный институт ровно в половине сороковых годов. Питаться ходили, конечно, в столовую... с друзьями, и неизвестно, кто это сделал... Стал один из попутчиков Мишиных от нетерпения, пока официантка заказ примет, выцарапывать на алюминиевой ложке алюминиевой же вилкой странную фамилию Ушац... Обед кончился, а ложка-то осталась... и все гадали потом: придёт опять

эта ложка к ним или не придёт... Видимо очень повлияла она на... неизвестно на кого (может, решили, что это фамилия большого начальника), но когда через несколько дней прибежали ребята подкормиться той же стайкой — увидели табличку: «Вход в столовую в верхней одежде воспрещён. Администрация» и приписка снизу карандашом: «И Ушац».

И тогда пришёл Ушац и сказал: «Что за ерунда!»

— А ты хоть день работал архитектором? Или только диплом получил, и всё?!

— Что ты! Что ты! Работал, конечно! Ещё как! Проектировал электростанции... Но там же, понимаешь, как было: всё готовое, стандартное... надо только привязывать к месту... а меня мучал дух изобретательства — я начал всякие предложения делать...

— Юмористические!

— Нет! Понимаешь, всерьёз... какой там юмор в те годы — шутишь!

— И все за голову схватились!

— Точно! Это же надо чертежи переделывать!

— Ну, конечно!

— Ушац, так это уже в ту пору появилась такая история: Дипломник разработал новый проект жилого дома и не знал, чем облицовывать наружные стены. Ходил, ходил, всех спрашивал совета и, наконец, определился: будем облицовывать дом... паркетом!.. И тут пришёл Ушац и сказал: «Не стоит этого делать, потому что потом трудно будет паркет натирать!»

— А нет, нет, это наверное, позже...

— Но это не ты сам придумал про себя?

— Боже сохрани, Боже сохрани!

— Как же так получилось всё же, с чего началось?

— Не знаю. — Ушац долго прихлёбывает чай из чашки. — Думаю во всём виновата фамилия.

— А фамилия откуда и что значит? — Ушац опять задумался. Редко увидишь его таким. Обыкновенно он хохмит, шутки извергает, не то что произносит...

— Шац — это богатство, У Шац, значит, у богатства, поскольку богатства я так и не нажил... отец мой родом из Гуляй-Поля...

— Это то самое, что связано с именем батеньки Махно?

— Именно! Именно! Мой папочка пожимал руку атаману...

ещё до первой империалистической... его когда потом спрашивали, что делали до войны, он отвечал вопросом на вопрос: «До какой?»

— Так вот откуда твой юмор! Оттуда?

— Знаешь, ты точно угадал: оттуда! Я в детстве мечтал изобрести словами что-нибудь смешное и... напечатать! Опубликовать! Понимаешь?!

— Миша, давай без юмора теперь: ты когда-нибудь писал серьёзные стихи, прозу?

— Что ты, что ты! Боже сохрани!

— Почему Боже сохрани?

— Да я никогда не считал себя поэтом, писателем! Никогда! У меня такое кредо: жить с хорошим настроением. Устраивать себе и друзьям хорошее настроение. Утром встаю... ну, по-разному бывает, сам знаешь, и я пою себе песенку «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер!» Знаешь, «чтоб губы подпевали, чтоб ноги веселей пошли!»

— Сегодня такой день, Ушац... я же тебя много лет знаю, но никогда не спрашивал, как-то неудобно было... Но ты же обещал на все мои каверзные вопросы отвечать честно и откровенно! Говорят, что тебе сам Ленин «помогал»?

— Конечно! Совершенная ПРАВДА! Дело было так. Приехал вождь во ВХУТЕМАС, ведь Архитектурный институт отделился от него позднее. Так вот — приехал Владимир Ильич посмотреть на работы всяких там художников декадентов-футуристов. Посмотрел и за голову схватился. А он уже сильно болен был, и с речью у него плохо дело обстояло. Он за голову схватился и пролепетал: «Какой ужас! Какой ужас!» А получилось «Какой Ушац! Какой Ушац!»

— То есть ты уже в готовую легенду попал! Или он предвидел, что ты появишься?! Здесь, в Архитектурном...

Удивительная была страна Советов — всё, что было талантливо, но не обычно, на поверхность пробиться не могло, оно вынужденно уходило в андеграунд и там существовало... нельзя сказать, что существовало спокойно, но сосуществовало с властью, если особо не беспокоило её. Больше того, власти предержащие часто интересовались произведенным этим андеграундом и пользовались им... Так было с работами Эрнста

Неизвестного и песнями Владимира Высоцкого, так было с юмором Михаила Жванецкого...

Беспокойная натура Ушаца искала себе применение, выход для творчества, и он совершенно случайно забрёл в эстрадную студию МГУ «Наш дом» к Марику Розовскому, Алику Аксельроду, Илье Рудбергу, Коле Пескову (я намеренно пишу имена этих людей так, как мы тогда их называли, — все были очень молоды, ещё имели только паспортные имена, а не те, что обрели с годами в искусстве).

Здесь и начинается настоящая биография Ушаца и творческая, и житейская. Имя он потерял раньше — осталась одна фамилия. Ещё в институте он как-то в зале для проектирования, придя пораньше, занял удобный стол у окна, а когда уходил, чтобы его не заняли, написал крупно прямо на доске УШАЦ. На следующий день, когда он пришёл (опять же пораньше), увидел на всех столах крупно: УШАЦ!

Такой он человек. Говорит, что везучий, что всю жизнь добрый ангел вёл его за руку по жизни. Может, так оно и есть — слишком много случайностей выстраивается в ряд.

В студии «Наш дом» особенного нечего было на сцене строить, да и денег на декорации негде взять, и архитектор Ушац, пришедший сюда в роли художника, придумал: надо, чтобы что-то красивое, цветастое взлетало в воздух — яркие лоскуты, а текст бы звучал на фоне этой... декорации — и название он родил: «Басни-цветасни!» Прижилось название, стало известным! И Ушац прижился! Стал своим в этом весёлом творческом доме.

И вот... в 1960 году Театр кукол Сергея Образцова едет на Всепольский фестиваль кукольных театров... казалось бы, никакого это отношения не имеет к Студии и к Ушацу, тем более... Но случайно (у него в жизни всё время так — случайно) кто-то позвонил из ВТО (Всероссийское театральное общество) и сказал, что несколько мест в группе освободилось, срочно нужны люди — просто болельщики-туристы для поездки в Польшу!

«И тут пришёл Ушац и сказал...» что он вместе со своим другом и коллегой по работе в «Крокодиле» хотят совершить этот подвиг. Другом этим был известный художник-карикатурист

Юрий Черепанов, который ещё в 1949 году привлёк Ушаца к работе в этом журнале, где они числились «постоянными внештатными художниками». Штатный в журнале был один — главный художник.

Фестиваль фестивалем, а два друга зашли в журнал «Шпилька», где печатались их юмористические рисунки, и получили крохотный гонорар. Эрик Липинский, художественный редактор журнала «Польша» предложил пройти по Варшаве и сделать для журнала страничку: Варшава глазами художников-юмористов... несколько рисунков... и познакомил их с некоторыми работниками редакции, в том числе и с художницей, которая вела в этом красивом иллюстрированном издании страничку мод... И тут Ушац сказал, не дожидаясь представления: «А вы — Ольга Имберович!» — «Да! — удивилась художница. Но откуда вы знаете?» И тут Ушац сказал: «Читаем журнал «Польша», и нам очень нравится ваша страница мод! Красиво!»

Так Ушац познакомился со своей... через год с небольшим они поженились. Ольга Имберович в то время была главным художником Варшавского театра оперетты, и поэтому ничего удивительного в том, что вскоре предложила своему мужу помочь ей в постановке балета композитора Кара-Караева «Тропою грома» в оперном театре города... Душанбе (!), куда её пригласили.

Это стало началом большой театральной судьбы художника-постановщика Михаила Ушаца. Сегодня в его послужном списке более ста спектаклей, в них он не только сценограф, но и великолепный мастер реприз, которые в самый критический момент, выручают сцену, режиссёра и делают спектакль весёлым.

В Душанбе «бригада» пробыла почти год! А оттуда — Одесса и «Вольный ветер» Исаака Дунаевского, Мурманск — «Фиалка Монмартра», Алма-Ата — «Лебединое озеро» а оттуда... всех городов не перечислишь: «Травиата», «Цыганский барон», «Роза ветров»...

— Подожди, подожди, Ушац! — Прерываю я собеседника. — Я знаю, что очень много и очень успешно ты работал в Театре кукол. Спектакли твои видел. Как ты туда попал?

— Совершенно случайно. С нашим общим другом Юрой Фридманом (известный режиссёр и драматург) меня познакомил Марта Цифринович!

— Как тесен мир, Ушац! Она до сих пор занимается куклами в теперь уже бывшем, «Москонцерте»...

— Конечно. И в этом тесном мире мы с Фридманом поставили «Мадмуазель Нитуш».

— В оперетте.

— Нет! В том-то и дело, что в кукольном театре... в городе Львовe! Этот спектакль тогда гремел... говорят, даже в антологию лучших спектаклей вошёл...

— Ушац, ты совсем меня запутал. Я слышал, что есть музей Ушаца, а ты ещё и по всем антологиям.

— Музей есть...

— При жизни музей — это нонсенс! Ты руку приложил к этому, сознайся? Даже у членов Политбюро...

— Стоп! Боже упаси! Боже упаси!.. Какую руку?! Дело было так: позвонили из Архитектурного института и просили зайти. Зашёл. Показывают мне мой старый старый проект. Спрашивают: «Ваш?» Смотрю — мой. «Подпишите, пожалуйста». Подписал. «А зачем?» «А для вашего музея!» Я... нет слов...

— А ты не знал даже, что есть музей...

— Конечно, не знал...

— А анекдоты про себя знаешь? Вот этот, например. В Москве спроектировали баню, у входа поставили с двух сторон лестницы коней работы... конечно, скульптора Церетелли. И все посетители недоумевали — при чём тут кони? И тут пришёл Ушац и сказал: «Это не просто кони — а кони... взмыленные!»

— Этот знал... а ты знаешь, что мне поставили памятник... Ушац на коне!

— На коне?

— Да. Из картона на каркасе. А вот такой анекдот ты знаешь? Спроектировали дом и не знали, на каком берегу реки его строить: на левом или на правом. Долго гадали. Но тут пришёл... Ушац и сказал: «Это не имеет никакого значения, можно на левом, можно на правом, потому что... река не пограничная!»

— Кстати, Ушац, насчёт границы... ты сейчас в Нью-Джерси у дочери, она успешный художник-мультипликатор, у неё своя студия... тут твои внуки... В Москве ты один, совсем один... что держит тебя там? — И Ушац становится серьёзным... он вздыхает, он мне говорит: «Знаешь, я волнуюсь... если бы была жива Ольга, мы бы, наверное, перебрались сюда... а так... Там мои друзья, мои застолья с дружеской беседой, там Колонный зал, в котором я делал детишкам ёлки, там еврейский театр Левенбука, с которым я работаю, там «Новый Крокодил» с моей страницей, «Еврейская газета» с «Уголком Ушаца», там Розовский с театром, в котором я сотрудничаю, там восстановили спектакль «Царь Пётр — отрок» в театре Чихачёва, там городок Мытищи, где я делаю спектакль в кукольном театре у Железкина... Но я скоро приеду... мы же с тобой тоже начинаем общую работу...»

Я больше не спрашиваю Мишу.

Что спрашивать: почему о нём мало писали, вообще не писали? Почему он, которого знает не то что вся Москва, вся Россия, не Народный, не Лауреат или что-то в этом роде? А у кого есть при жизни музей, настоящий музей со своим помещением и экскурсоводами, у кого есть имя, которое открывает не двери — сердца...

У кого? Это ведь как посмотреть... Пришёл случайно Ушац в пору, когда распределяли окончивших и принимали абитуриентов, во двор Архитектурного, любит он этот дом и двор, и атмосферу эту... и вдруг (опять вдруг!) подходит к нему совершенно незнакомая девушка и спрашивает:

— Вы Михаил Лазаревич Ушац?

— Да! — отвечает Ушац и не понимает, в чём дело.

— Вы меня спасли!

— Я вас? Как? Я вас совсем не знаю!

— А вот как, — продолжает девушка. — Меня в прошлом году распределили ужас как далеко — в Южно Сахалинск. Я приехала, пошла на берег и совсем загрустила... одна, далеко... И тут вдруг вижу на скале огромными буквами высоко написано УШАЦ. Мне так тепло и хорошо стало, и я поняла, что всё хорошо будет!

— Какой ушац... — сказал Миша. — Спасибо вам, что мне это рассказали...

— Ушацизм тебе лично не мешает? Это ведь уже некое

направление, движение, свои фаны — ушацисты появились, ты знаешь?!

— Знаю, но удивительные вещи происходят! Позвонил мне опять же наш общий друг Юра Фридман и сказал: «Ушац! Звоню тебе из галереи Уффици! Знаешь, что я тут увидел?» — Ну, думаю, сейчас мне про Микеля Анджелло расскажет, а он: «Тут в туалете на дверях крупно так и чётко написано: Ушац!»

Дорогой Ушац, мне хочется сказать тебе: мы все гордимся тобой, потому что и в пору, когда нечем было дышать, и сейчас, когда сквозняк уносит из России и треплет по миру не худших её бывших граждан, ты всегда был самым собой, ты всегда был УШАЦ, который постановил раз и навсегда дарить людям хорошее настроение. Тебе это вполне удаётся, дорогой!

Теперь послушаем УШАЦА:

Задумался я давеча,
И бьётся думка-птица:
— Дана мне жизнь, как ваучер.
Как ей распорядиться?
Быть может, мне вложить её
В какое-нибудь дело?
А может быть, пропить её
И ничего не делать?..
А может, как в Гражданскую,
С винтовкой, на коня?!
Дана мне жизнь как ваучер.
Куда
вложить
меня?

НОВАЯ ПЕСЕНКА
КРОКОДИЛА ГЕНЫ

Все друзья дяди Изи
Получили по визе
И текут за границу рекой.

И неясно соседу,
Почему я не еду,
Почему я инертный такой?

А я играю на гармошке
У посольства на виду.
Может, тоже (чуть попозже)
Сам туда зайду.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ПОХОДНАЯ

Вдоль Хеврона,
Вдоль Хеврона взвод шагал.
Сёма Кацман
Про Марусю запевал.
А солдаты, непонятно почему,
По-русски вторили ему,
По-русски вторили ему!

Крикнул взводный:
— Это что ж за интермедь?
В Израиле на иврите б надо петь!

А запевала командиру говорит:
— Та кто тут знае цей иврит?
Та кто тут знае цей иврит?

БИБЛЕЙСКОЕ

Нет Содомы, нет Гоморы.
Говорят — война опять.
И зовут соседи Лота
Соль и спички запасать.

Грустно Лот потупил очи:
— Соль мне больше не нужна.
У меня сегодня ночью
Превратилась в соль жена...

Мы развелись, конец раздорам!
Был брак, как гвозди в сапоге.
Теперь мы спим раздельно с Дорой,
Как государства СНГ.

Многожёнец дядя Эдик
В год менял по три жены,
Говоря при этом детям:
— Мамы разные нужны!

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ С ЕВРЕЙСКИМ АКЦЕНТОМ

Готовь сани
В месяце Ниссане.

Не красно углами жилище,
А красно кошерной пищей.

Сколько ни корми волка мацой,
Он всё равно побежит за овцой.

Не знаешь броду —
Не быть Исходу.

Не всё коту Пейсах.

Не родись богачом,
А родись хохмачом.

ЕВРЕЙСКИЕ СТРАШИЛКИ

Папа глазки закрывает,
Мама корчится в плену...

Это Моничка играет
В «Шестидневную войну».

Мальчик еврейский неважно учился,
Позже в науках весьма отличился...

Помнит еврейского мальчика всякий
И в Хиросиме, и в Нагасаки.

ПОЛИНДРОМНОЕ

Хозяин дома предлагал
То кофе, то пирог,
Но я с Нехамой танцевал
И кофе пить не мог.

Тогда хозяин мне сказал:
— ТОРТ С КОФЕ НЕ ФОКСТРОТ.
Я эту фразу записал
Хозяину в блокнот.

А он блокнот перевернул:
— Прочти наоборот!
Я удивлённо протянул:
— ТОРТ С КОФЕ НЕ ФОКСТРОТ.

Я сочинил когда-то сам
Порядочно остроот,
Но это ж просто чудеса:
«ТОРТ С КОФЕ НЕ ФОКСТРОТ!»

С тех пор задумчиво хожу
Назад, потом — вперёд...
И про себя произношу:
— ТОРТ С КОФЕ НЕ ФОКСТРОТ...

НИКТО НЕ ЗАБЫТ? НИЧТО НЕ ЗАБЫТО?

Мир любит юбилеи — и на Западе, и на Востоке. Может, это и хорошо? События так стираются и смещаются во времени, что не худо о них напоминать, хотя бы о значительных, поворотных в жизни не только человека, страны, но всего мира. Вот и 60 лет со дня Победы, а всего третье поколение уже с трудом может объяснить (а часто и вовсе не может), что за Победа, кто с кем воевал и кто победил... На Западе вообще придумали новое название для фильма о Второй мировой войне «Неизвестная война».

Не стоит тратить слов на оценку всего этого. На наших глазах происходит трагедия, продолжающая самую страшную и кровопролитную войну, ибо если бы сегодняшние восемнадцатидвадцатилетние знали и помнили, что их деды в таком же возрасте погибали на фронте, если бы они знали, за что погибали, если бы им было больно от этого, не бесчинствовали бы сегодня подонки-скинхеды на улицах России и не торговали бы даже в столице, в Москве, фашистскими изданиями; и не стала бы бестселлером «Майн кампф» выродка, одурачившего (или вдохновившего?) целую культурную нацию и поставившего мир на грань возврата в средневековье; и не выслушивала бы пришибленная режимом Дума гитлеровские вопли макашовых и прочих новоявленных антисемитов и человеконенавистников, а мир бы не смотрел на это, смежив веки... Но — по-настоящему, некому заступиться! Некому напомнить! И голоса свидетелей того страшного и великого времени всё глуше и отдаленнее.

Вот и спасибо Юбилею! Он заставляет хоть что-то сделать, хоть как-то напомнить о произошедшем...

«Кто виноват, что я и весь наш полк начали войну без адресных жетонов? Бесчисленные тысячи и тысячи солдат погребены на месте гибели безымянными, и их семьи, потомки уже никогда не узнают, где лежат их кости. Как всегда виновных нет, кроме самих «неизвестных солдат», после гибели ещё и оболганных, открыто за-

подозренных в предательстве и измене присяге». Это написал Ф. А. Малеваный из Харькова, а опубликовано впервые только сейчас, к юбилею Победы... 60 лет прошло... Почему же так? Отчего?

Есть виноватые... Есть.

«Такие письма — с давно закончившейся войны — стали приходить в «Известия» с началом перестройки, по прошествии долгих глухих времён, когда гласная правда о Великой Отечественной была под запретом, её история — скорректирована, тщательно отфильтрована, встроена в официальную историографию и пропаганду, для которых не существовало жизни, судьбы, чувств отдельного человека». — А это пишет Элла Максимова, специальный корреспондент газеты «Известия», автор книги «Я это видел» — документальный роман (новые письма о войне). Книга эта вышла к юбилею в издательстве «Время» крошечным тиражом — 5000 экземпляров. Крошечным, потому что она необходима всем нам, всем нам, виноватым, что правда так запоздала. Её надо положить на стол и заставить прочитать тех в первую очередь, кто не пускал и процеживал правду, тех, кто её забыл или предал и променял, тех, до кого она поэтому не дошла!

Это действительно — роман, эпопея с огромным количеством персонажей...

Нет в России такой семьи, которая бы не принесла жертву войне, нет такого человека, которого бы она не коснулась... порой он даже не знает и не задумывается об этом!

«Нас оглушают десятки человеческих правд и тайн» — так названо предисловие к этой книге Светланы Алексиевич. Она пишет: «Что заставило меня прочесть эту книгу о войне, которая закончилась шестьдесят лет назад? И не только прочесть, но и не раз заплакать. Я пережила разные чувства. Боль и ненависть, восхищение и недоумение, нежность... Грандиозный хищный мир войны увлёк, заморозил своей мерцающей среди ужаса и абсурда силой. Ещё раз заставил задуматься над тем, что давно уже не оставляет нас в покое: чем, например, отличается смерть от убийства, где граница между человеческим и нечеловеческим? Как человек остаётся наедине с этой мыслью, что он может убить другого человека? Даже должен убить».

Я не пишу рецензию на вышедшую книгу, я не прикладываю к этому великому слову КНИГА никаких эпитетов, они не нужны. Мы, не бывшие в аду боя, мы, пережившие эту трагедию детьми, и те, кто родился после нас, погружаемся в мир совершенно не

похожий на тот, в котором живём, и это погружение заставляет нас переживать и думать о том, как мы живём! Размышлять!

«Нас было трое мужчин в семье — отец и два сына. Отец погиб под Кенигсбергом в феврале 45-го, брат Владимир — инвалид войны. Зять — политработник — оставил здоровье на фронте, его уже нет в живых. Так что война своим чёрным крылом вымела, считайте, всех мужчин из нашего дома», — пишет П. Леха из Днепрпетровской области...

А мальчишка, убежавший на войну, признаётся: «Когда я правдами и неправдами попал в сентябре сорок первого года на фронт, мне едва исполнилось 16 лет. [...] Я был пулемётчиком «ДП» с диском на 47 патронов. Это в моём взводе было единственное тяжёлое орудие». Он вернулся — Ю. Усков из Санкт-Петербурга.

Меня довольно длинный отрывок из его письма, приведенный в книге, задел больше всего. Это письмо было точно о судьбе моего двоюродного брата Вилена Садовского (дома его звали Володя), не вернувшегося с войны. Я не помню его (по своему малолетству) — знаю только легенду. В сорок первом он закончил «Профессиональную художественную школу» в Минске и приехал ещё до выпускных экзаменов на аттестат зрелости к нам, в Москву, чтобы показать свои работы в Суриковский институт — решил стать профессиональным художником. (К сожалению, ни одной его работы не сохранилось — всё погибло в пожаре войны.) После показа, окрылённый, ехал обратно — осталось получить аттестат об окончании десятилетки и с сентября приступить к учёбе — работы приняли... А через месяц с небольшим, в самом конце июня, он в бесконечной толпе беженцев покидал Минск.

Что заставило его вести дневник? Каким образом он уцелел и сохранился? (теперь находится в музее Холокоста Яд-ва-Шем в Израиле). На сшитых листах из амбарной книги страшная летопись короткой жизни. Углы скруглились, края страниц ободрались и излохматились, мне кажется, что они постарели от того, что на них написано... От страшной правды с первых строк, где рассказано, как бомбят немцы, как самолёты расстреливают бредущую толпу женщин, стариков и детей, как семья «добрых» крестьян, наблюдавшая за потоком беженцев и отказавшая ему в кружке воды, еще пожелала в спину, чтобы Гитлер догнал их и расправился с ними... до наполненных ненавистью к фашистам строк уже на передовой и потом после ранения в госпитале....

Вот запись шестнадцатилетнего Вилена Садовского в конце июня 41-го (всё без единой поправки, как в оригинале):

«...на ходу разговор. Я прислушиваюсь к нему: «Успеем ли мы доехать до Могилёва или нас догонит немец? — спрашивает один лейтенант у своих товарищей. Те пожимают плечами». Значит и они не уверены, что доберутся до города, а ведь они на машинах. Тогда мы, наверное, пропадём. Итак упавший дух ещё больше усиливается. Безднадёжность положения наводит на мысль, что совсем не стоит идти. Всё равно погибать. Зачем же мучиться в дороге. Но страх остаться в деревне среди чужих по нации людей, грань противоположности которых с тобой в эти дни снова вспыхнула. Положение и образ мыслей которых совсем различны, хотя и обманчивы с твоей точки зрения. Ты бежишь, голод, усталость, опасность ничего тебя не останавливает. Они спокойно ждут. Они смотрят у ворот, показывают на тебя пальцами, на многих лицах улыбка, вызывающая в эту минуту гнев...»

А эта запись через год, первого июня 1942 года уже из пулёмётной школы: «Пишу с караульного помещения. Несу гарнизонный наряд по охране военного объекта. Только сменился, товарищи спят. Хотя не спишь, но всё же этот день летит, особенно притом, когда чувствуешь себя свободным часок. В такие [утрата] вспоминаешь дом, выпил кислого молока, съел несколько яиц. Это всё где-то осталось». Мальчишке 17 лет. В 18 его не стало.

Володя не дошёл до своего второго боя. Он окончил краткосрочные курсы пулёмётчиков в Чите, по дороге на фронт встретился с моим отцом, солдатом, у крана с кипятком на какой-то безвестной станции, где застряли их эшелоны, и радостно написал об этом домой. Я и фронтовой треугольничек отца с рассказом об этом чуде разыскал во внушительной пачке его писем, сохранённых мамой... Это была последняя встеча Володи с родными. Пулёмётная рота, в которой служил Вилен Садовский, брошенная под Воронеж, чтобы остановить немецкие войска на пути к Сталинграду, там и осталась лежать почти вся поголовно... Смертельно раненный, он писал из госпиталя, что непременно поправится, что опять будет бить «фашистскую нечисть»... умирал он долго. Похоронка пришла в феврале 1944 года... Но семья не знала, где погребён его прах...

В самом начале 70-х годов, когда особенно развернулось движение «красных следопытов», я благодаря своим песням, часто звучавшим по радио, познакомился с ними, и после долгих

поисков ребята из школы города Бобров Воронежской области нашли братскую могилу, в которой погребены 660 воинов, погибших на их земле... в том числе и Вилен Садовский... Больше того: они разыскали госпиталь, в котором умер Володя и даже нянечку, которая ухаживала за ним... А недалеко от Боброва, тоже в Воронежской земле, в Радомле, и тоже в братской солдатской могиле, ещё один брат — Борис Садовский... Тогда же, в начале семидесятых, я пытался рассказать всю эту историю и опубликовать хоть часть дневника, но... увы... Мы ведь жили в «передовой стране с самым гуманным общественным строем».

Уверен, что каждый, кто прочтёт письма с войны в этой книге, припомнит нечто подобное в своей семье, потому что нас всех накрыла «война своим чёрным крылом», потому что до сих пор эта тень над нами!

Не случайно автор этой книги взялся за неё — у Эллы Максимовны Максимовой, старейшей журналистки «Известий», свои счёты с войной, о которой она знает «не по книгам и фильмам» и не понаслышке...

Вот, что рассказала мне автор книги «Я это видел» Элла Максимова:

«Почему война стала одной из главных тем моих публикаций в «Известиях», где работаю специальным корреспондентом уже более сорока лет? В ее огне я не была. Дети с матерями эвакуировались из Москвы еще до наступления фашистов на столицу. Папа, слава Богу, вернулся невредимым. Конечно, страшные жертвы принесены. Киевская родня — в Бабьем Яру. Перед самой победой погиб сын тети, летчик. Что говорить — в каждом советском роду есть, думаю, свой, семейный, счет потерь. Однако мой — определен и профессией, возможностью входить в чужую участь, выспрашивать и узнавать истину из первых рук. Не считала, но людей, событий прошло через мою журналистскую жизнь сотни. Отправной пункт — читательское обращение в газету.

Сперва, когда раны войны еще сильно кровоточили, много занималась поисками — судебных, семей, разрушенных, раскиданных ею по миру. Одна из таких трагедий — история американки Дороти Панамерофф из Ири, Пенсильвания (предки-старообрядцы когда-то бежали в США из России). В кризисные 30-е годы многодетное семейство приехало на заработки в Ленинград. Вернуться успела лишь дочь. Мать и пятерых братьев Дороти, подомашнему Дарьи, забрала война. Мне удалось найти могилы, под-

робности военных биографий трех из них, сражавшихся в рядах Красной Армии... «Письмо американке» было перепечатано американскими газетами. Потом мы сняли о семье фильм «Русская».

Еще письмо — из Польши. В июне 1941-го на границе немцы расстреляли грузовик с красноармейцами. Местный житель, закапывавший останки, почти полвека берег фотографии, выпавшие из карманов гимнастерок. Некоторые — с именами. После того как они были напечатаны, пришла огромная почта, у меня не умолкали телефоны. Люди не только пытались увидеть на снимках сгинувших в боях отцов, братьев — писали о том, как государство предало миллионы своих граждан, очернило их подвиг, обрушило подозрения и гонения на осиротевшие семьи.

Из писем бывших пленных и тех, кто получил штампованную справку «Пропал без вести», родилась нашумевшая статья «Живым и мертвым». Тогда, двадцать лет назад, наступило, наконец, время, позволившее не лгать в угоду коммунистической идеологии и политике.

Каждая публикация вызывала новый, еще более мощный отклик. Уже не о плене, не о «пропавших» — о буднях войны, увиденной из окопа, траншеи, медсанбата. И вот что поражало больше всего остального: как самую светлую, нравственную пору своей жизни вспоминают фронтовики те смертоносные годы, когда они жили и действовали в согласии со своей совестью и здравыми понятиями. Так они не жили ни до, ни после войны. Их память сберегла не только ужасы, а поступки в ужасных обстоятельствах, не смерть, а мужество принятия ее. Наш мир оказался беспощаднее, примитивнее, неустойчивее нашей войны.

Мой интерес к этим людям вызвало и продолжает вызывать восхищенное удивление человеческим в человеке, вынужденном уничтожать себе подобных».

Из этих строк становится ясно, почему родилась эта книга, зачем она нужна была в первую очередь самому автору Элле Максимовой.

Гигантскую работу она проделала — писем тысячи! Длинных и коротких, умелых и корявых, наполненных горем и обидами, гневом и ненавистью, и фотографии, фотографии... пожелтевшие, с оборванными краями, с трещинами поперёк, с крошащейся бумагой... Какое невероятное усердие и любовь необходимы, чтобы сложить это в книгу! Какой вкус и чувство меры... на войне было всяко — узнаём мы из этой книги, и показано разное:

смешное с трагическим рядом, любовь на краю пропасти и надежда в невыносимой и безвыходной обстановке... Поэтому книге веришь — она не нагнетает ужас, она рассказывает правду!

«Война — это постоянная возможность смерти, вечное желание выпасться, отдохнуть от холода, неуют, мучительная жажда и ещё тысячи ощущений страдания. Но среди всего ужаса мы любили, смеялись, целовались, переживали драмы и трагедии, встречи и разлуки.

В медсанбате работали врачи и сёстры от 16 до 22 лет. Только полное отключение, которое испытывали хирурги во время тяжёлых операций, помогало выносить нагрузки, в мирное время кажущиеся чудовищными, — по двое-трое суток не отходили от операционного стола.

Во время боёв, наступления принимали по 500 раненых в сутки». Так пишет Вера Всеволодовна Вяткина из Балашихи Московской области...

А вот ещё на ту же тему: «В Могилёве для спасения раненых были оставлены несколько врачей-коммунистов: Владимир Петрович Кузнецов, Алексей Иванович Паршин, Фёдор Ионович Пошанин. За одну ночь, оставшуюся в их распоряжении, они переписали сотни историй болезни. Политработники и командиры превратились в рядовых, а то и жителей, пострадавших от бомбёжек. Для пущей убедительности той же ночью командиров постигли наголо. Госпиталь был спасён. Потом с помощью местных подпольщиков и партизан сотни людей были переправлены к ним. Но врачей предали. После зверских пыток в гестапо их повесили 17 ноября 1941 года на главной площади.

Можно ли написать всю правду о войне? Можно, только от этой правды можно ослепнуть. Сколько было ошибок и просчётов командования! А за них расплачивались солдаты — жизнью, кровью, пленом, безвестием. Как известно, города сдают солдаты, генералы их берут. Да, война выиграна, но какой ценой!» — так вспоминает Игорь Иванович Благоев, Феодосия.

Никто не назовёт эту цену. Никто не знает истинных потерь, никто по-настоящему не пытается назвать всех солдат, погибших на войне. В США осталось чуть более 1800 пропавших без вести во Вьетнаме — и это трагедия страны, которая пытается установить судьбу каждого из них... В Советском Союзе шёл счёт другими порядками — людишек никогда не жалели... И сколько «безымянных высоток» усеяно трупами, а этих жертв

можно было избежать, но безжалостные приказы исполнялись, и всё списывалось под формулу: лес рубят — щепки летят! Летят! Они до сих пор летят и остаются саднящими занозами в наших сердцах!..

«Обидно и стыдно, что страна, выстоявшая, победившая фронтовиками и народом, до сих пор и не решила по-человечески вопрос о предоставлении полной, достоверной информации об убитых её защитниках. Но убитых без доверенных свидетелей, а потому отнесённых к личностям сомнительным, способным на предательство. Кем? Оценщиками идеологической стойкости советского человека, накопившими к тому времени богатый опыт борьбы с врагами народа. Не этим ли объясняется сокрытие сведений о местах дислокации и датах событий, связанных с гибелью неизвестных солдат.

Как государство отнесётся к памяти павших, так их дети и внуки отнесутся к государству», — заключает Алексей Зыков из Екатеринбурга...

Такова вся книга — она бескомпромиссна! Вот почему эти письма так долго ждали своего часа! У лжи, конечно, короткие ноги, но совершенно очевидно — длинные корни! И если война не кончилась, пока не похоронен последний солдат, как гласит народная мудрость, то нашей Великой Отечественной — никогда не кончиться! Потому что с каждым годом всё меньше тех, кто может помочь найти павших и вспомнить о них, и несть числам тем, кто отмахивается и от этой проблемы и от настойчивых заинтересованных просителей...

«Не убило меня на передовой на глазах однополчан. Не судьба. Распорядилась она иначе — плен, лагерь. И стали мы на родине второсортными гражданами. Пусть я прошёл проверку в СМЕРШ («Смерть шпионам»), а всё одно на сердце — горе и муть», — Р. И. Ковалёв, пос. Глыбская, Черновицкая область.

Это ещё одна незакрытая тема книги и жизни. Книги, которая сегодня особенно необходима для всех: для имеющих власть и тяготящихся от власти.

Будут торжества, будут ещё юбилеи, и над все этим всегда будет вопрос: чем мы встретили этот «праздник со слезами на глазах» и что сделали для тех, кто в глухую пору советского засилья имел мужество написать эти письма?

А ответ всё равно дать придётся. Каждому. Для того, чтобы быть человеком.

ТОЧКА НА ПОРТРЕТЕ

Кто и что нас формирует? Когда оглядываешься и начинаешь размышлять, удивительная цепочка получается. Я об этом целую книгу написал — «Шкаф, полный времени». Но неугомонная память, кроме того, что поставляет «дрова» в топку писателя, ещё и укоряет, совестит, заставляет работать: «Как же так, — говорит она, — столько забыл! Цепочка рваная получается! А отношение к людям несправедливое!» Вот — уже первая персона в жизни, формирующая человека — Совесть.

Мне на улице сказали, кто я есть. В эвакуации. Все, мол, на фронте, а такие вот пархатые (как я) отсиживаются в тылу. Это было в Башкирии, мне около пяти лет, отец на фронте. Но всё равно мучала совесть, что я в тылу. Мечтал сбежать на передовую и бить фашистов — вернее: колоть штыком, как на открытке, что прислал отец, это делает солдат с красной звездой. Кроме этой открытки и мальчишеского желания у меня ничего не было: ни штыка, ни одежды, ни денег, ни еды. В буквальном смысле замерзали с матерью в брошенной дырявой избе на краю башкирской деревни Дюртюли. Потом об этой деревне я написал книжку с таким же названием — резонанс получился большой, целая отдельная история. Но совесть не угомонилась. Это тогда я сочинил первые свои стихотворные строчки — облегчил душу. Вложили мы, ребятишки, их в посылку с адресом «Бойцу Красной Армии» и отправили на фронт «безымянному герою» вместе с домашними тёплыми носками и варежками из козьей шерсти и кисетом для табака. Жили в деревне по лозунгу «Всё для фронта! Всё для победы!», но больше в посылку вложить было нечего.

Время пошло. Страсть к сочинительству с тех пор и не отпускает.

Совесть не позволяла показывать мне опусы, записанные в общей тетрадке, тем более мечтать их обнародовать...

В кино, в литературе случайности порой настолько надуманны, что испытываешь неловкость, но автору они необходимы, чтобы толкать действие — тут уж, как говорится — на всё мера вкуса... ничего не поделаешь. Но когда эти случайности перекочёвывают непонятным образом в жизнь и поворачивают судьбу человека?

После окончания института я, молодой инженер и молодой жён, уехал на Азовское море отдыхать в посёлок к рыбакам, чтобы подешевле было. Жили на самом берегу в глинобитной хате с земляным полом. Море шумело тут же, во дворе, от волн загораживал рукотворный вал из берегового песка и ракушечника, который надо было подновлять после каждого шторма... связи с миром никакой, кроме колокольчика на столбе вдалеке у правления рыболовецкой артели...

Зато по возвращении в Москву в первый же день ошеломил телефон. Грудной красивый голос, совершенно не знакомый, какой-то «украинский» (что потом подтвердилось), просил именно меня и предлагал заехать в издательство подписать договор на книжку! Явно это была ошибка — я и слыхом не слыхивал про издательство, вообще никакое, ни разу в жизни не был в издательстве! Но голос настаивал мягко и предложил мне послушать несколько строчек по телефону, чтобы подтвердить: мои ли это стихи. Да стихов-то я никуда не носил, не отправлял, не передавал, чего ж тут слушать!? Но прочитанная строфа была моя: «Детский сад надел панамы,/Всем панамы сшили мамы,/Не пройти в июльский зной/С непокрытой головой». Я, разумеется, совершенно растерялся — не могли же стихи в моё отсутствие сами перелететь куда-то, в какое-то издательство! Может, это кто-то то же самое написал, а я вором окажусь! Совесть замучает! Но следующие строчки: «Зебры, наверное, кушают арбузы:/Арбузы полосатые — зебры полосатые...» победили меня, автора. «Это мои! — невольно выкрикнул я. — Мои!»

Обладатель женского замечательного голоса, Элеонора Васильевна Степченко, стала моим первым редактором и осталась им на много, много лет и сделала со мной много, много

книжек в издательстве, переименованном в «Малыш» из «Детского мира», а до того из какого-то с нелепой советской аббревиатурой.

Тайна «перелёта» моих стихов оказалась весьма простой: родственник моей супруги в наше отсутствие заехал в гости в нашу коммуналку, засиделся, решил заночевать, устроился у нас на диване и выловил на полке (надо же так точно попасть) первую попавшуюся обложку — тетрадку с моими стихами... Он в то время дружил с моим первым редактором Элей Степченко — решил поделиться находкой.

Если бы увидел такое в кино или прочёл в книге — сказал бы: «Так не бывает!» и чувствовал бы внутреннее смущение от беззастенчивого вранья...

Ни одна из моих последующих многочисленных книг не вылетала в свет так безболезненно и просто! Как говорит тривиальная пословица: «нарочно не придумаешь!»

Старт был бурным — годы хрущёвской «оттепели». А у меня всё впервые. Следом за первым редактором — первый рецензент: Ирина Сергеевна Орловская. Стихи из моей тетрадки попали к ней — не все ведь вошли в книжку. Цитат хвалебных из первой рецензии приводить не буду, а вот некоторые советы рецензента и первые навыки работы над рукописью сохранил на всю жизнь. И когда книжка вышла, позвонил Ирине Сергеевне, чтобы спросить, где могу ей передать книжку в подарок, или адрес, куда переслать. А она меня зазвала в гости, хоть я и очень смущался — не просто это: идти домой с первой книжечкой к первому рецензенту...

Жила Ирина Сергеевна на Петровке у Столешникова переулка, нелепый двор за сырой тёмной аркой, большая заставленная стеллажами с книгами высоченная комната в захламленной коммуналке. Чайник приплыл из кухни, печенье и варенье по-московски стояло на круглом столе, и разговор... о Тютчеве, о жизни, о её внуках — что они любят читать... Разговор с моим первым критиком так интересен был и так запал в душу — навсегда... Ей было что порассказать, и так красиво у неё это получалось... До сих пор не понимаю, почему она не написала книги «Воспоминания редактора» или «Советы редактора» — названия-то затрёпанные, я их позаимствовал, потому

что по сути они верные очень. Столько рукописей прошло через её сердце, душу — многих она в люди выводила, помогала первые шаги сделать. Много лет работала редактором, а в то время, о котором пишу, была на пенсии и... подрабатывала «внутренними» рецензиями для издательства... Писатели, ею выпестованные, стали знаменитыми, удачливыми, состоятельными, а её судьба, видно, не побаловала... одна в этой коммуналке среди невероятного книжного клада... Она мне несколько раз разрешала взять книжки стихов почитать... тогда многое ещё было под запретом в библиотеках...

Из общения с Ириной Сергеевной я извлёк азы работы над произведением, понимание, что важнее всего увидеть сделанное «чужими» глазами, необходимость иногда пожертвовать даже удачной строчкой для общего успеха, и важность и точность детали — это можно короче сказать строкой Михаила Аркадиевича Светлова: «Но мы умеем рвать черновики»... Вот это умение, необходимое писателю, очевидно, лежит в основе мастерства... Я тогда с помощью Ирины Сергеевны сделал первые шажки в работе над стихами...

Конечно, каждый человек, упомянутый мной, стоит того, чтобы написать о нём более обширно, ведь единственный критерий моего выбора — богатство души собеседника, соавтора, товарища... Я надеюсь, что со временем ещё развернутся небольшие заметки о дорогих мне людях в полновесные размышлизмы...

Редакционная комната редакции «Художественной литературы» в издательстве «Малыш» была заставлена столами и шкафами невероятно. Если приходили два автора одновременно к разным редакторам, то сесть из-за тесноты удавалось не сразу, порой приходилось выходить в коридор и ждать очереди. Но... незаметно эта комнатка превратилась в клуб. Тамара Александровна Носова заведовала этой редакцией и, думаю, вместе с нами, авторами, и ещё одним редактором Ириной Николаевной Васич, удивлялась тому, что происходит: приходят авторы и тут же вслух читают стихи, сказки, и тут же их обсуждают, и тут же придумывают книжки, заглядывают художники и принимают участие в общей беседе... и все пьют чай с печеньем или сушками, или, бывало, и тортом (достать же надо было)... Это была прекрасная школа!..

Ну, всех авторов не назвать, но тут на таких, как теперь бы сказали, «тусовках» я познакомился с Виктором Драгунским, Иосифом Диком, Сергеем Вольфом, Виктором Важдаевым, Игорем Холиным, Николаем Халатовым, Евгением Рейном, Генрихом Сапгиром, Эммой Мошковой, Геннадием Циферовым, Андреем Некрасовым, Леонидом Яхниним и ещё очень многими... И тут же бывали замечательные художники, иллюстраторы детской книги Евгений Монин, Иван Бруни, Владимир Перцов, Юрий Молоканов, Виктор Чижиков, Виктор Пивоваров, Михаил Петров, Борис Малинковский... Ну, разве всех перечислишь?!

Эта атмосфера доброжелательства и заинтересованности в авторе несомненно исходила от главного редактора. Я застал «хвостик» Юрия Павловича Тимофеева в издательстве, но это недолгое общение дорого стоит. Он был по натуре и, очевидно, воспитанию истинный демократ. Ни место, ни положение в литературе, ни авторитет его, как критика, ни известность никак не влияли на его умение уважительно общаться с разными людьми...

Он подписывал в печать мою первую книжку. Она ещё была в работе, когда состоялся организованный им семинар детских писателей в Доме детской книги. В тесном читальном зале на улице Горького недалеко от Белорусского вокзала сидели мы и буквально внимали тому, что говорил наш руководитель... Тогда неожиданно для меня выскочила в качестве примера моя «Зебра», и Юрий Павлович подметил общий грех моих стихов: «Придумывает здорово, а концовок нет!» И «Зебру» выбрал для примера... «беда» такая многих настигала, и вовсе не обидно было, что моё стихотворение стало примером разбора — наоборот! Вот она, школа! Первостепенная, первостатейная... Доказательность и доброжелательность — два её основных рычага... Я не только запомнил урок Тимофеева, я его усвоил, и часто потом отмечали разные критики и редакторы удачные концовки моих стихов, и не только детских...

Стало сворачиваться и скукоживаться всё демократическое, что обещало прорасти в обществе, и Тимофеева «ушли» вскоре после падения Хрущёва... слишком много нового, нетрадиционного, неполитизированного впустил он в детскую литературу за свою бытность главным... до сих пор иногда слышу его голос, когда думаю над написанным: «А что бы сказал Ю.П.?»

Я как-то позвонил ему домой, хотел посоветоваться. Он заведовал отделом критики «Литературки». Только недавно развелся с женой, хорошим поэтом Вероникой Тушновой. Чувствовалось, что ему неуютно, не по себе, а когда пришёл, сразу необъяснимо стало понятно: квартира холостая... сидели мы за журнальным столиком. Юрий Павлович открыл шоколадный набор, откупорил бутылку коньяка... и как-то не решался разливать... чайник засвистел в кухне. Он вернулся с чашками и вдруг говорит: «Ко мне тут приезжала известная писательница В. (имя специально не называю М. С.) из Польши, вот мы так же сидели — очень напоминает, и я никак не решался налить ей рюмку: чувствую, что не хочет она... и говорю тогда, чтобы на себя вину взять: у меня язва, мне нельзя! А правда, у меня язва... Она рассмеелась с облегчением и говорит: «И мне нельзя!» Я тут же подыграл ему: «И мне нельзя!» Ну, кто же пьёт в одиночку?!

Невозможно быть наигранно естественным, как невозможно подделать темперамент! Невозможно! Тут имитация вылезает наружу сразу, как фальшь в детском стихотворении... Уроки Юрия Павловича остались в нас, я уверен, что не единственный, кто подвергся его созидательному обаянию. Но почему так несправедлива судьба к этому справедливому классному редактору и талантливому критику?

Уже в середине 90-х годов на одном из заседаний Приёмной комиссии Союза писателей Москвы, когда обсуждали детские стихи одного из абитуриентов, я пересказал урок Юрия Павловича о концовке в детском стихотворении, и уважаемые писатели, члены нашей комиссии, все постарше меня, — Исай Кузнецов, Евгений Войскунский, Евгений Солонович... и наш председатель замечательный поэт и переводчик, Александр Ревич — вдруг переключились с предмета обсуждения на этот «урок» и воспоминания о Тимофееве, и каждый говорил, что удивительно, как же и почему его забыли, ведь он в судьбе почти всех сидящих за нашим «круглым столом» оставил какой-то хороший добрый след...

Может быть, это и есть продолжение творчества Юрия Павловича в творчестве других писателей, но ведь незаписанные и неизданные его беседы, непереизданные его статьи и эссе пропадут для большинства новых молодых! А ещё Самуил

Яковлевич Маршак говорил без тени юмора: «На тысячу хороших детских писателей — один настоящий редактор».

Это точно о Юрии Павловиче Тимофееве.

Эля Степченко, мой редактор, часто откладывала в сторону мои стихи, опережавшие возраст «Малыша». Она же посоветовала мне отнести их в «Пионер», благо недалеко. Редакция издательства находилась на Бутырском валу, редакция журнала напротив в пяти минутах ходьбы...

Встретил меня писатель Юрий Качаев, один из авторов, как оказалось, нашего общего редактора. Журнал был на подъёме, главный редактор Елена Ильина (родная сестра Самуила Яковлевича Маршака), автор нашумевшей книги «Четвёртая высота», после всех мытарств сталинских застенков вернувшаяся к литературной работе, сумела создать доброжелательную атмосферу в «своём» издании... своём в кавычках, потому что каждое слово процеживалось через сита ЦК... но... много хорошего появилось на страницах журнала... читатели его любили... не часто и мои стихи публиковались там. Дверь главного редактора всегда была открыта настеж, и каждый проходящий невольно видел склонённую над столом голову Елены Яковлевны, а если она случайно встречалась с вами взглядом, улыбка освещала её лицо, и настроение становилось радостным от того, что поздоровались, обменялись улыбкой с этим замечательным человеком.

Мы встречались с Качаевым сначала в редакции, потом подружились... После смерти Ильиной он покинул журнал, ушёл на «вольные хлеба», власть «закручивала гайки». Юра писал прозу для детей, для взрослых... в начале семидесятых у меня дома несколько раз читал новые главы из своего романа «Жёлтые стрелы», основанного на материалах китайских летописей, написанных ещё на старокитайском языке. Раскопал их совсем рядом в Москве, в Ленинке и... прочитал, не прибегая к помощи переводчика...

Роман пересказать невозможно, повествование было посвящено предсказанной в летописи китайской экспансии на Запад... до Центральной Европы!

Понятно, что никакая редакция не могла опубликовать такую рукопись без лита, но качаевская попала из «Детгиза» в... КГБ. Если бы только рукопись!

Похудела книга в три раза до двадцати печатных листов и задержалась, насколько помню, года на четыре. Но главное, на моих глазах ломался человек, ломался безжалостно, неотступно, ежедневно — ибо не мог не думать о ситуации, в какую попал, не переживать заново свои визиты в Большой дом, представлять писательским буйным воображением «светлое завтра». Сократились и книга, и век человеческий того, кто создал её... эффективный способ: внутренний огонь сжигает быстрее, порой, чем застенки. Во всяком случае, знаю несколько человек, которые говорили о годах заключения, как о самых духовно наполненных в их жизни. А жизнь их оказалась долгой и плодотворной! Может быть, они прошли своеобразную закалку?

Судьба тоже своеобразна и неожиданна — никогда не думал писать книжки для детей, вообще быть писателем! Случайность? Возможно. Но случайность не может длиться десятилетия. Вот оглядываюсь и выбираю только то, что касается литературы для детей... почему? Да хотя бы потому, что на мне бирка: «детский писатель». В нашей стране все были с бирками. Но обидно-не обидно, это так. И не собираюсь вспоминать притеснения, предвзятость и прочие гадости коммунистического правления. Нет. Я о другом.

Что же такое традиция? Как она поддерживается, как внедряется в человека? Такие разные мы пришли в начале шестидесятых в детскую литературу. Разными путями, на разные сроки, с разным успехом... Некоторые трагически покинули её, как талантливая Наташа Бромлей... не выдержавшая безапелляционности и грубого вмешательства в рукописи, в жизнь писателя... не только её — вообще, писателя, тем более детского...

Кому-то везло больше, кому-то меньше, но огромное значение имело собственное стремление и умение отобрать необходимое тебе и, грубо говоря, наплевать на остальное. Это возможно? Конечно. На своём примере легче всего объяснять. Что ж, мне так везло, что только добрые сердечные люди передавали меня, как эстафету друг другу, пестовали, помогали, вели от книги к книге?! Каждому ясно, что это не так. Хотя начало моё было фантастически удачным, продолжение без перерыва опровергало его, но... не опровергло! Извините за нескромность — на себе легче всего проследить это. Что?

Умение людей нашего поколения выжить, чтобы честно делать то, что умеешь!

Ушёл из издательства Тимофеев, появился новый главный. Чиновник. Даже не от литературы. И появились новые тенденции, а под них подобрались новые люди. Я тут же угодил в формалисты за стихотворение «Запонки».

У
моего
папы
пропали
запы.

Да нет!
У папёнки
Затерялись
Запонки.

Ну и так далее! А потом сестрёнка призналась, что сварила из них суп и накормила всех зверушек...

Ох, ох,
Ох, ох,
Начался переполох!

За врачом!
За хирургом!

Всё пошло в квартире
Кругом!

Не бегите
Никуда!

Посмотрите все
Сюда!

Вот
Лежат в кастрюле
Папины запули.

Дальше — больше.

Написал я стихи «Новый бант». Долго они валялись в редакции «Мурзилки». Но однажды пришёл к главному редактору Валентин Берестов, редактор моей книжки «Лесные бусы» в из-

дательстве «Советская Россия», пришёл и стал «хвастать»: «Какие я стихи нашёл!» Да и прочёл наизусть и «Новый бант» и «Записную книжку» — печатайте, мол! А главный и говорит: «Вот они у меня в столе! В номер идут». Соврал, конечно, если бы не Валенитин Дмитриевич, валялись бы они ещё долго... А тут пошли в номер. Разворот «Мурзилка» дала! По-моему, миллионов пять тираж! Вся страна читает. Нашёлся один очень «образованный пенсионер», «специалист» в вопросах воспитания, изложил своё возмущение этими стихами и отправил... в ЦК КПСС.

Вызвал меня главный и сказал дословно следующее: «Вот письмо мне прислали из ЦК пенсионера одного, полковника в отставке. Почитай. (И дал письмо в руки.) Мне ответить надо. Дурак он, конечно (пауза и поднятый вверх палец), — а прислушаться надо!»

Я отдалённо представил, что чувствует Юра Качаев... традиция — это не только умение использовать наработанное до тебя, не только следование каким-то канонам, выработанным в искусстве... Очевидно, это ещё и умение держать удар власти, сопротивление её вторжению в твой мир, стремлению заставить петь под её дудку... а заплечных дел мастеров всегда хватало...

Некая «критикесса» (не без имени в литературе) на целый разворот в «Литературной газете» накатала «докладную записку» о формализме в детской литературе... не обошлось и без «Нового банта». Но, очевидно, она не рассчитала или недосчитала чего-то — ошиблась, короче говоря. Как? Да привела стихотворение полностью. Придется и мне это сделать:

С красивым
Новым бантом
По улице хожу!
Красивый
Новый бантик
Всем людям покажу!

Играть и петь
Не буду!
Не буду
Есть и пить!
А буду, буду, буду
По улице ходить!

Ну, хваста такая девчонка! Воображала!

Не знаю, что уж воображала «критикесса», а после этой статьи, стихотворение это во все сборники попало, и музыку на него писали, и по радио передавали и... Повезло мне, что в хорошую компанию вовлекла меня в статье с другими формалистами эта «милая Литературка» во главе с Чаковским. Соседом-формалистом моим в статье оказался классик Борис Заходер. Ну тому ещё больше досталось, конечно, и за детские стихи, и за переводы...

Когда-то против нападков на детскую поэзию выступал Самуил Маршак. Многих спас от сталинских застенков. Многим помог. Самой литературе для маленьких помог. Самуила Яковлевича уже не было в живых. Но существовала традиция. Не перевелись честные писатели, которые впитали её и...

Через неделю, насколько помню, Валентин Берестов¹ выступил со статьёй в защиту литературы для малышей, в защиту от некомпетентных, необъективных, ангажированных властью для расправы «критиков», которые в силу своей бесталанности ни на что больше не годились.

Ну, не нравились «критикессе» некоторые национальности, что поделаешь, бывает, ну подобрала она фамилии соответственно своему вкусу или продиктовали ей в определённом ведомстве, но вероломство и враньё были так ясно видны, что результат от статьи вышел обратным... к счастью...

Увы. Так не всегда бывало.

Пик редакторского кретинизма, замешанного на подозрительности и страхе перед курирующими издательство организациями, такими как Госкомитет по печати и Отдел культуры ЦК КПСС, настиг меня в конце семидесятых в пору самого черного и беспринципного времени в идеологии. Суслов свирепел, чувствуя близкую кончину, очевидно, и сверху до низу всех трясло...

Например, звонила мне заведующая детской редакцией Всесоюзного радио в воскресенье, подчёркивая день недели, и кричала в трубку: «Только что мне звонили из ЦК (партии, конечно), у тебя в песне строчка идеологически невыдержанная!

¹ Смотри размышлизм «Валистов Белистов»

Снять песню приказали!» В детской песне «идеологически невыдержанная строчка»!!! Это было что-то новенькое!

«Слухачи» — специальные люди контролировали эфир круглосуточно! Поэтому и звонок раздался в воскресенье...

Продолжение не замедлило быть тут как тут... в «Малыше». Главный редактор... новый, что сменил Тимофеева рассвирепел от моего стихотворения... конечно, детского — издательство-то «Малыш»...

Всю зиму
белый снег
Белел.
А в марте
взял
И почернел.
Почернел с досады,
Что люди
солнцу рады.

Почему это стихотворение ассоциировалось у него со смертью вождя всех народов, который убрался (извините, это не грубость, а суть того, как ему помогли уйти в другой мир) именно в марте? Не знаю... он, этот главный, видимо сильно горевал, что кончились те времена...

Я знал, что он трус. Проверил. Когда он не подписывал в печать мою повесть «Настоящий гром» о разгроме немцев под Москвой, пообещал ему написать «куда надо» о его политической близорукости и т.д. Надо же с людьми такого сорта говорить на их языке, иначе тебя просто не только не поймут — не услышат!

Повесть этот перепуганный руководитель подписал.

Судьба привела меня к Льву Абрамовичу Кассилю.

В «Литературную Россию» я отнёс стихи «ногами». Отдал в руки поэту К., который в редакции занимался «детской страничкой». Я его хорошо знал. Через некоторое время получил ответ в письме, что должен позвонить Льву Кассилю по такому-то номеру.

Лев Кассиль! «Конduit и Швамбрания»! Я его живого видел! Мальчишкой совсем попал в Колонный зал Дома Союзов на

«Книжкины именины» в весенние каникулы. Счастлив был и... постеснялся подойти взять автограф. Вокруг него много ребят толкалось, а я так и остался в стороне с его книжкой... без автографа... Кстати, много лет спустя, выступал в Колонном зале на «Книжкиных именинах» вместе с Львом Абрамовичем. За одним столом на сцене сидел. И... оставил он мне автограф на книжке о Маяковском, которую он написал и очень любил, я знал это и захватил её с собой...

Звонил я Кассилю в страшном волнении. Приехал к нему домой¹ в бывшую квартиру Леонида Собинова в Камергерском переулке... Разговор шёл о разном и... о моих стихах... Тогда я услышал от Кассиля его коронную сентенцию и усвоил её на всю жизнь: «Я не могу вас научить, как надо писать, но могу показать, что у вас хорошо, а остальное вы сделаете сами так же!» Подправил я несколько строк и, как договорились, снова позвонил Льву Абрамовичу. Тогда он сказал мне: «Всё теперь хорошо! Надо стихи передать в редакцию. Вы как хотите: сами отнести или чтобы я это сделал?» Думаю, что любой бы ответил, как и я. Кассиль отнёс их, и я видел потом на столе поэта К. свою рукопись. На первом листе слева сверху наискосок в углу было написано: «Дать в номер вне очереди! Лев Кассиль»...

В то время Лев Абрамович Кассиль был секретарём Союза писателей, Председателем «Детской секции» Союза писателей, членом редколлегии «Литературной России» (и ещё многих редколлегий), а стихи мои... так и не были опубликованы...

Традиция «не пущать» была нужнее и сильнее любых авторитетов. Если же к пятому инвалидному пункту добавлялась элементарная зависть того бесталанного поэта, который вынужден был печатать не своё творчество, а другого... получалась непроходимая сеть, в которой многие запутались и не просто замолчали — задохлись... насмерть, как уже упомянутая Наташа Бромлей...

Ах, как «не вовремя» уходили из жизни мои старшие друзья Лев Кассиль, Ваню Мурадели... как обрывалась на них традиция защиты идущего за тобой, защиты бескорыстной... Нет, была корысть: те кого, они оградят, кому облегчат возможность

¹ Смотри размышлизм «Магистраль».

творить в условиях постоянной борьбы с властью, будут продолжать традиции, которым они сами приверженны...

Вот теперь самое время сказать. Почему я не называю имена людей из породы церберов уже почившей советской власти... Ну, как же делать им паблисити, зачем? Как можно их помещать на одном листе со светлыми фамилиями людей, сделавших своим творчеством, своими жизнями столько доброго честным жителям России. Я никогда себе этого не позволял и не сделаю.

Мелкое тщеславие не к лицу победителю.

Многим писателям и художникам «Малыш» послужил стартовой площадкой. Элеонора Васильевна говорила мне так: «Вот издашь десяты книжек, и авторитет начнёт работать на тебя. Станет легче...» Увы, она ошиблась. И время ужесточалось, и авторитет, известность часто работали против — вызывали злобу у власть имущих, оттого что им не удавалось замолчать и задушить неугодного... инородца, проще говоря, да ещё со своим мнением...

Это активно подтвердилось при приёме в Союз писателей.

Лев Абрамович Кассиль в буквальном смысле за руку ввёл меня в Дубовую гостиную Центрального дома литераторов (куда и войти-то без писательского удостоверения было невозможно). В этой большой комнате, или вернее — маленьком зале, собиралось раз в месяц много молодых писателей, редакторов и руководителей «Детской секции» Союза писателей. Вечера эти назывались «Наше пополнение». Маститые знакомились с «абитуриентами», будущими коллегами... Кассиль меня представил, предложил читать стихи и послушать, что о них скажут... Собрание работало несколько лет, менялись ведущие... Через некоторое время (у меня уже вышло несколько книжек) Лев Абрамович при очередной нашей встрече сказал мне: «Пора подавать в Союз!» Я стал отнекиваться, что книжек мало и тонкие, но Кассиль был настойчив, напоминал мне несколько раз, а потом вдруг сказал строго: «Дайте мне слово, что соберёте документы, книжки и отнесёте в приёмную комиссию!» Я пообещал. Что-то предчувствовал он? Почему торопил меня? Через полгода его не стало...

Горькое время утрат под мрачной тенью серого кардинала Суслова. Снова потихоньку сажали, часто используя закон о

тунеядстве. Его отменили только в 1986 году, а тогда... опасно было не состоять в Союзе писателей. Наглядный пример Бродского выглядел весьма красноречиво и недвусмысленно! Власть не только предупреждала и запугивала — действовала!

Льва Кассиля сменил на посту председателя «Детской секции» писатель Юрий Яковлевич Яковлев... Каким образом он узнал о моём обещании Кассилю? Неужели Лев Абрамович, занятый делами, помнил о такой мелочи, как моё вступление в Союз? Этого я никогда не узнаю... В коридоре «Детгиза» Яковлев остановил меня и спросил в лоб: «Обещал Кассилю подать в Союз, почему не выполняешь?» Я был ошеломлён и снова начал канючить, что книжек мало, что они тонкие... Но Яковлев был неумолим. Написал рекомендацию и буквально заставил меня...

А тут и «Всесоюзное совещание молодых писателей» подоспело. Съехалось в Москву много пишущего народа. И пошла работа — отбирали таланты по секциям, руководители писали отобранным рекомендации в Союз, приём ускоренный шёл! Власть укрепляла ряды тех, кто должен был в благодарность её воспевать... и я получил рекомендации... хорошие. Очень хорошие. От хороших писателей Михаила Коршунова, Ирины Токмаковой и руководителя семинара Сергея Баруздина. Рекомендации получил. На детской секции проголосовали единогласно «за». А в Союз.... не приняли...

Я знал, почему. Традиция власти «не пущать» не изменилась, и она была сильнее традиции преемственности в литературе, о которой прожужжали уши...

Несколькими годами ранее при СП Москвы была организована «Комиссия по работе с молодыми писателями»¹. Возглавил её Николай Николаевич Панов. Каждому наставнику, маститому писателю прикреплялся молодой «абитуриент». Я попал под начало Ильи Львовича Френкеля².

Со многими замечательными писателями познакомила меня эта комиссия, а с некоторыми очень близко даже подружилась.

¹ Смотри размышлизм «Магистраль».

² Смотри размышлизм «Давай закурим!».

Однажды Николай Николаевич Панов пригласил меня к себе домой и спросил без обиняков, глядя прямо в глаза: «Вы уверены, что пишете лучше всех?» Я, конечно, смешался и стал, как мог объяснять, хотя, что объяснять? Ясно было, ответ ожидался утвердительный. Панов помедлил немного и продолжил: «Пока не будете в этом уверены, ничего не напишите!» «Надо бы и других убедить», — возразил я. «И другие поверят, когда сами поверите!» Таков был ответ.

Комиссия сделала много хорошего. Поддерживала нас, молодых, но там я уже фигурировал совсем не как детский писатель, а на творчество для детей вообще, честно сказать, смотрели снисходительно, немного сверху...

Сколько замечательных писателей, поэтов приняли участие в моей судьбе. В разной мере, конечно. Я писал о них в размышлениях, но для убедительности приведу здесь их имена, не все, разумеется, далеко не все... Булат Окуджава и Владимир Максимов, Григорий Левин, Лев Кассиль, Николай Панов, Лев Славин, Михаил Зенкевич, Илья Френкель, Валентин Берестов, Ирина Токмакова, Лидия Либединская, Наталья Кальма, Николай Панченко, Нина Бялосинская, Вадим Коростылёв, Юрий Тимофеев, Александр Ревич, Исай Кузнецов, Борис Слуцкий, Евгений Винокуров, Юрий Коринец, Юрий Яковлев, Наталья Дурова... Ох, обидятся на меня те, кого не перечислил, упаси Бог, забыл... а если добавить сюда редакторов моих (только истинных), критиков, а ещё и композиторов, с коими я сотрудничал и учился у них... они все формировали меня. Они ставили, может быть, всего лишь точку на портрете ученика, но это была точка Мастера! Вот это формирование и есть традиция! Я её продукт, говоря прагматически!

Я для того и привожу здесь список, не потому что хочу похвалиться или отдать дань вежливости, нет! Меня формировали десятки, если не сотни людей!

Но существовала власть. Её традиция была противоположна той, которая меня формировала, она должна была меня оманкуртить, сломать и заставить петь, как тех, кого печатала на первой полосе «Правды»...

Что ж я, такой нестигаемый? Не сдался? Увы, часто поднимаясь из праха, шёл на компромиссы... тут и не каяться вовсе

надо, а поминки устроить по тому, что было загублено, не написано, от чего пришлось отказаться... Да если бы речь обо мне одном шла! Ведь это поколения талантливейших творцов загублены! Задавлены, убиты, оболганы уже после смерти, похоронены заживо без сожаления... а то и с торжествующей радостью невежественных палачей...

Вот ведь о чём речь. Вот почему свою судьбу выставляю на показ — чтобы поверили, что это так! Нельзя не поверить — не пересказываю о ком-то — из первых рук, что называется!

Четыре раза в Союз писателей провалили! Уже десятки книжек за мной стояли, песни, которые пели дети всей страны, пьесы для детей, которые шли в десятках театров, авторские пластинки со стихами, спектаклями, хорами, премии всесоюзные и всероссийские, международные за всё, что сделал написал, поставил для детей!..

Ошиблась моя дорогая Элеонора Васильевна: авторитет — штука опасная. Он начал против меня работать, вызывая зависть, злобу тех, кого облачила литературной властью более высокая партийная власть... да ещё пятый пункт в анкете раздражал. Ну, что же делать, что я родился во вторник, а «им» хотелось, чтобы в четверг!

Безбожная бессовестная власть лишила и нас веры, так воспитала, а мы, повзрослев, хотели вернуться к ней! Верить хоть в идеалы, но не те, что нам предлагали! Нет! Переубедить писателя? Невозможно! Или он не писатель! Что же делать? Убить! Не удаётся (хотя что им стоило) физически? Задушить творчество — очень эффективный способ! И это была традиция! Да! Я это утверждаю. Тогда в пылу борьбы ещё не понимал, и какие-то иллюзии с толку сбивали. Теперь, оглядываясь, — утверждаю.

Пик в моей судьбе наступил в 1982 году. Меня в очередной раз провалили в СП. «Зарезали» повесть в «Юности», сборник песен в «Советском композиторе», отвергли собственную мою книгу и мои переводы (с еврейского) стихов Аврома Гонтаря в «Детской литературе»... Вообще перестали печатать... Отменили накануне праздничных дней творческий вечер в Большом зале Олимпийской деревни... Я пошёл в ЦК ВЛКСМ (в ЦК партии не прорваться было) и сказал, что найду способ, как защитить своё писательское

и человеческое достоинство от антисемитов, написал Генеральному секретарю Черненко об антисемитизме, травле и т.д.

Друзья, не сумевшие удержать меня, заранее меня отпели или, наверное, решили, что я тронулся умом...

Два года полного молчания. Что делать? Не печатают... Я вспоминал, как в юности задал этот вопрос Илье Эренбургу, и он спокойно ответил: «Ну и что? Вам ведь иголки под ногти не загоняют, как при Сталине!..»

Да. Да. Да. Мудрый Эренбург... он был, несомненно прав...

Теперь понимаю, что и друзья правы были... но Всевышний держал надо мной, наивным и терпеливым, свою длань... не посадили!

А потом, видимо, кто-то отдал приказ «печатать!» Суслов умер что ли? Не знаю...

В пору обструкции только пьесы, шедшие более чем в шестидесяти театрах (!), спасли меня от психушки и голода... Хорошо, что велика Россия, и медленно волна катится по ней от центра до Улан-Удэ, Владивостока, Тюмени, Абакана и Андижана... и там мои пьесы шли... И театру очень накладно снимать пьесу с репертуара, он держит её, если она «кормит», до последнего... название меняет, на выезде по клубам играет, по детским лагерям.

Может быть, запоздало я всё это пишу... о скрещении разных традиций, о борьбе власти с искусством и жизненно важных выводах из этой борьбы... ведь сейчас, мол, не то! Век демократии наступил!..

Неужели мы так наивны после пережитого?

Неужели честный человек сказал мне в «Новом мире» в 2000 году, что журнал уже напечатал роман на еврейскую тему и в ближайшие пять лет к этой теме возвращаться не собирается!? А мои-то рассказы как раз и были «на эту тему»!..

Никуда не делись те редакторы, никуда не ушли от власти те люди, не забылась ими та сладость власти, удовлетворение от возможности давить и душить, не пущать!!!

Поэт-демократ правильно сказал:

«Жаль только — жить в эту пору прекрасную

Уж не придётся — ни мне, ни тебе!»

Да и когда же наступит оно, это прекрасное время!

Время когда литературная традиция не будет пресекаться традицией «не пущать»?!

А теперь представьте себе, что сошлись в поединке монстр, вооруженный палашом и огромным щитом, и рыцарь, но только с душой, без лат и с одной рапирой... Первый — тупой мастодонт с огромной силой, а у второго, благодаря таланту, искусство маневра и ловкость...

Я уверен, что победит рыцарь... Правда, не скоро...

ОБ АВТОРЕ

Михаил Садовский — член Союза писателей г. Москвы и Союза театральных деятелей России, союзов и клубов писателей других стран. Его произведения не раз становились лауреатами всесоюзных, российских и международных премий и конкурсов по литературе и драматургии.

Широко известно его творчество для детей: книги стихов и прозы — «Лесные бусы», «Когда начинается утро», «Митяй», «Настоящий гром», «Дюртиули», «Зима на колесах» и др.; пьесы для театра — «Волшебная свирель», «Старый фонарщик», «Терёшечка», «Звездный мальчик», «Раз сказка, два сказка», «Вот теперь заживём» и др.

В 2006 году повесть «Бяша» стала лауреатом «Конкурса на лучшую книгу о животных для детей», объявленного издательством «ОЛМА-ПРЕСС», Союзом писателей и Международным советом по детской литературе.

Начиная с перестроенного времени в России стали издаваться «взрослые» произведения Михаила Садовского, до того находившиеся под запретом цензуры. Выпущены книги стихов «Завтрашнее солнце» (1992), «Бобе Лее» (1993), «Доверие» (1998), «Унисоны» (2001), роман «Под часами» (2003).

В США в переводе на английский язык вышли книги прозы: сборник рассказов «Stepping into the blue» («Голубые ступени», 2004), повесть и рассказы «Those were the years» («Такие годы», 2006), роман «Before it's too late» («Пока не поздно», 2008).

Любимые многими поколениями детей и активно исполняемые различными хоровыми коллективами песни и хоры на стихи поэта вошли в авторские сборники: «Солнечный рисунок», «Счастливая песня», «Мой зоопарк», «Где отдыхает день», «Музыкальные картины», «Солнечный прибой» и др.

Изданы в форматах LP и CD и занимают достойное место в репертуарах столичных и провинциальных театров музыкальные сказки, мюзиклы и оперы — «Умная песня», «Ежине пироги», «Каменный цветок», «Золушка», «Пираты и призраки», «Сказки дядюшки Римуса», «Последний час до полночи» и др., написанные на стихи и либретто Садовского выдающимися композиторами: В. Мурадели, А. Спадавекия, К. Молчановым, О. Хромушиным, А. Флярковским, В. Соколовым, Р. Бойко, Ю. Чичковым, Г. Гладковым, С. Баневичем, В. Баркаускасом, А. Кулыгиным и многими другими.

В обработке для хора на стихи Михаила Садовского хорошо известны в музыкальных кругах сборники произведений композиторов-классиков — Грига, Шумана, Мак-Доузла, Гайдна, Словенского, Чайковского, Бетховена, Энеску и др.

В 2008 году Челябинское Издательство MPI (Music Production International — www.bookmusic.ru) начало выпуск новой серии «Музыкальная коллекция на стихи поэта М. Садовского», в неё войдут, кроме вышеперечисленного, и новые, ещё не публиковавшиеся ранее произведения поэта, связанные с музыкой.

В настоящее издание, книгу «размышлизмов» «Шкаф, полный времени», вошли эссе, основанные на беседах писателя с соавторами, друзьями — выдающимися людьми страны второй половины XX — начала XXI века.

**Музыкальная коллекция на стихи поэта
Михаила Садовского
в издательстве MPI
(Music Production International)
г. Челябинск
www.bookmusic.ru**

В состав этой серии вошли сборники хоров, песен, кантаты, сюиты, музыкальные сказки, написанные на стихи М. Садовского, а также мюзиклы и оперы, созданные на его либретто, известными и выдающимися композиторами второй половины XX и начала XXI веков — Кирилла Молчанова, Вано Мурадели, Геннадия Гладкова, Олега Хромушина, Бориса Кравченко, Сергея Баневича, Александра Флярковского, Зиновия Компанейца, Михаила Марутаева, ВитAUTаса Баркаускаса, Ростислава Бойко, Владислава Соколова, Леонида Афанасьева, Людмилы Лядовой...

Большую часть серии составят сборники обработок для хора инструментальной и камерной музыки композиторов-классиков за несколько столетий: Гайдна, Бетховена, Шумана, Листа, Энеску, Грига, Мак-Доуэлла, Чайковского, Дворжака, Моноушко... со стихами М. Садовского, специально написанными для этих опусов. Обработки для хора сделаны известными мастерами хорового дела, выдающимися хоровыми дирижёрами Владиславом Соколовым, Александром Хазановым, Георгием Струве, Хосе Фелипе, Эдуардом Леоновым.

В составе серии сборники для самых маленьких исполнителей и слушателей и для высокопрофессиональных хоровых коллективов, для школьных хоров, для клубной самодеятельности, для однородных и смешанных хоров, для исполнения а капелла и с сопровождением...

Многие из этих произведений получили известность и одобрение исполнителей и слушателей не только в России, отмечены грамотами и лауреатскими дипломами на различных конкурсах внутри страны и за её пределами...



МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАРТИНЫ
для детского хора без сопровождения
композитора В. МУРАДЕЛИ

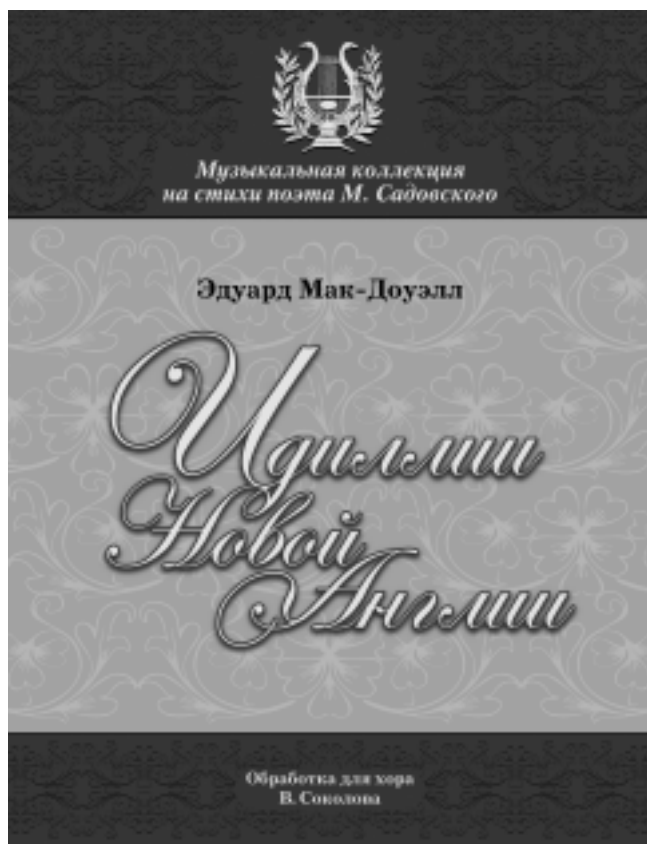
«МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НА СТИХИ ПОЭТА М. САДОВСКОГО»

Вышли из печати книги-сборники:

- | | |
|---------------------|---|
| КРАЙ МОЙ | – избранные лирические пьесы
ЭДВАРДА ГРИГА (переложение для
смешанного хора без сопровождения
Э. ЛЕОНОВА) |
| МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАРТИНЫ | – для детского хора без сопровождения
композитора В. МУРАДЕЛИ |
| МЕЛОДИИ ДУНАЯ | – обработки для смешанного хора без
сопровождения Э. ЛЕОНОВА композиторов-
классиков, живших по реке Дунай:
ГАЙДНА, БЕТХОВЕНА, СЛОВЕНСКОГО,
ЛИСТА, ПРОКОФЬЕВА и др. |
| СОЛНЕЧНЫЕ ТАНЦЫ | – обработка для смешанного хора без
сопровождения Э. ЛЕОНОВА «Румынской
рапсодии №1» ДЖОРДЖЕ ЭНЕСКУ |

В ближайшее время выйдут из печати:

- | | |
|----------------------|--|
| ТУМАН И СОЛНЦЕ | – обработки для детского хора без
сопровождения произведений
композиторов-классиков
В. СОКОЛОВА, Г. СТРУВЕ, А. ХАЗАНОВА |
| РОДНАЯ ЗЕМЛЯ | – произведения для смешанного хора
без сопровождения композитора
В. СОКОЛОВА |
| ИДИЛЛИИ НОВОЙ АНГЛИИ | – композитора Э. МАК-ДОУЭЛЛА
обработка для смешанного хора
В. СОКОЛОВА |



ИДИЛЛИИ НОВОЙ АНГЛИИ
композитора Э. МАК-ДОУЭЛЛА
обработка для смешанного хора В. СОКОЛОВА

ГДЕ ОТДЫХАЕТ ДЕНЬ

– произведения для детского хора без
сопровождения композитора
В. СОКОЛОВА

ДЕТЯМ МОЕЙ РОДИНЫ

– произведения для детского хора
композитора В. СОКОЛОВА

В серии МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА

Вышли из печати:

ЗАЙКА – ВЫДУМЩИК

– композитор Г. ГЛАДКОВ

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ УТРО

– композитор И. ШАХОВ

УМНАЯ ПЕСНЯ

– композитор С. СТЕМПНЕВСКИЙ

Готовятся к печати

КУВШИННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК

– композитор С. СОСНИН

ЧТО ЛУЧШЕ

– композитор И. ЯКУШЕНКО

ЕЖИНЫЕ ПИРОГИ

– композитор Б. КРАВЧЕНКО

**ВСЕ ЭТИ ИЗДАНИЯ
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В НОТНЫХ МАГАЗИНАХ
ИЛИ ПО ИНТЕРНЕТУ НА САЙТЕ
www.bookmusic.ru**



ЗАЙКА – ВЫДУМЩИК
композитор Г. ГЛАДКОВ

Михаил Садовский

ШКАФ, ПОЛНЫЙ ВРЕМЕНИ

Редактор Л. Садовская
Дизайн и макет обложки М. Компанеец
Технический редактор Г. Филина
Корректор О. Недорезова
Верстка Д. Желнов

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии им. Скворцова-Степанова ФГУП Издательство «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.
Генеральный директор Э.А. Галумов
127994, ГСП-4, г. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.
Контактные телефоны: 694-39-23, 694-36-36 факс: 694-30-20.
E-mail: izd.izv@ru.net
Заказ №